
Константин
Большаков
Забытая
книга


ЗАБЫТАЯ
КНИГА

КОНСТАНТИН БОЛЬШАКОВ

БЕГСТВО ПЛЕННЫХ,

ИЛИ ИСТОРИЯ СТРАДАНИЙ И ГИБЕЛИ ПОРУЧИКА ТЕНГИНСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА

ПОЭМА СОБЫТИЙ

Москва

1916

СОЛНЦЕ НА ИЗЛЕТЕ

Москва

1916

КОНСТАНТИН
БОЛЬШАКОВ

БЕГСТВО ПЛЕННЫХ,

или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова

Роман

СТИХОТВОРЕНИЯ



Москва
«Художественная литература»
1991

ББК 84Р7
Б79

Вступительная статья,
подготовка текста

Н. А. Богомолова

Послесловие

А. С. Немзера

Оформление художника

А. Семенова

Б $\frac{4702010206-031}{028(01)-91}$ 10-91

ISBN 5-280-01585-7

ПРЕДИСЛОВИЕ

Литературные судьбы переменчивы: прославленный при жизни писатель постепенно погружается во мрак неизвестности и, наоборот, никому не ведомый, «забытый в летописях слав», вдруг становится первостепенной фигурой. Всякий историк литературы без труда назовет имена Бенедиктова или Вонлярлярского, а с другой стороны — Тютчева или Булгакова. Но даже на этом фоне жизнь и творчество Константина Большакова выглядят редкостно неординарными.

Говоря о Маяковском, Пастернак вспоминал: «Часто его сопровождал поэт, с честью выходивший из испытанья, каким обыкновенно являлось соседство Маяковского. Из множества людей, которых я видел рядом с ним, Большаков был единственным, кого я совмещал с ним без всякой натяжки. Обоих можно было слушать в любой последовательности, не насилуя слуха» [1]. А сам Большаков через год откликнулся на эти и другие посвященные ему теплые строки обиженной фразой: «Когда в позапрошлом году появилась «Охранная грамота» Пастернака, многие совершенно серьезно недоумевали, почему это мне там посвящены такие строки» [2].

Редко кому из русских писателей выпало на веку сделать быструю карьеру, за несколько лет став заметным поэтом, потом выпасть из литературы, снова вернуться в нее уже в совершенно другом качестве, стать известным прозаиком, заслужившим право даже на собрание сочинений, и вновь оказаться вычеркнутым из истории литературы уже, казалось бы, навсегда. И этот путь при ближайшем рассмотрении оказывается чрезвы-

---

[1] Пастернак Борис. Воздушные пути. Проза разных лет. М., 1982, с. 269.

[2] Большаков Конст. О соре, который, вопреки поговорке, всегда нужно выносить из избы.— Лит. газета, 1932, 17 августа.

чайно поучительным, преломляющим в себе не только частные превратности судьбы, но и сложные изгибы истории русской литературы десятых — двадцатых — тридцатых годов нашего века, тесно переплетавшиеся с грозными историческими обстоятельствами.

* * *

Если ограничиться канцелярским языком, то биографию Константина Аристарховича Большакова надо было бы начать так: «Родился в Москве, 14 (26) мая 1895 г. Отец — Аристарх Иванович Большаков (1838—1917), статский советник, управляющий Старо-Екатерининской больницей, судебно-медицинский эксперт, окончивший естественный факультет Московского университета. Мать — Наталья Францевна, урожденная Гризен (1863—1942)...» [1]. Но лучше, видимо, предоставить слово самому писателю, вспоминавшему о своем детстве: «Зеленые пустыри с редкими домиками, зарастающие травой мостовые, тишина по целым суткам ничем не тревожимых улиц навсегда останутся в памяти как истоки моего будущего писательства. Про центр, Тверскую, Кузнецкий тогда говорили: «в городе», «поехать в город». «Город» никак не трогал детского воображения. Нелепые переулочки, смешные, каких теперь уже не встретишь, вывески, безмятежный покой незастроенных пустырей с пасущимися на них коровами, сонный покой и пустынная тишина нашей 3-й Мещанской, наоборот, открывали ему бесконечный простор и по-особому были любы. Жюль Верн, Майн Рид, Эмар помогали заселить его воображение событиями, людьми, опасностями и чудесами. Это было самой любимой и волнующей игрой. Пробовал как-то рассказывать взрослым,— не одобрили, не находил сочувствия и среди сверстников. Это детство только с большим трудом влезало в гимназическую курточку, слушалось переменных звонков, отказывалось делить свой маленький трудовой день по смене уроков и заданного. Самым большим наслаждением, почти всем содержанием жизни было — читать» [2].

---

[1] Приношу сердечную благодарность Н. И. Харджиеву, сообщившему мне ряд сведений о Большакове со слов его сестры и из собственных рассказов писателя. В случаях расхождений в утверждениях между информацией Н. И. Харджиева и новейшей биографической статьей Ю. М. Гельперина (Русские писатели 1800—1917. Том I. М., 1989) предпочтение отдавалось первой.

[2] Писатели. Автобиографии и портреты..., с. 60—61. Следует отметить, что в ряде библиографий и статей Большакову приписывается книга стихов и прозы «Мозаика» (М., 1911; рецензия Н. Гумилева.— Аполлон, 1911, № 6), вряд ли ему принадлежащая.

Действительно, обитателю нынешней Москвы трудно представить себе такую жизнь, более перекликающуюся с тихой и уютной провинциальной, чем с шумной и поражающей воображение молодых поэтов обстановкой большого города. В 1903 году (Большакову восемь лет) тот поэт, которого он впоследствии назовет «дорогим учителем» [1], в знаменитом «Коне блед» опишет современный ему город:

Улица была — как буря. Толпы проходили,
Словно их преследовал неотвратимый Рок.
Мчались омнибусы, кебы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток.
Вывески, вертясь, сверкали переменным оком
С неба, с страшной высоты тридцатых этажей;
В гордый гимн сливались с рокотом колес и скоком
Выкрики газетчиков и щелканье бичей.
Лили свет безжалостный прикованные луны,
Луны, сотворенные владыками естеств.
В этом свете, в этом гуле — души были юны,
Души опьяневших, пьяным городом существ.

Здесь, конечно, гораздо больше фантазии, чем воспроизведения реальности тогдашней Москвы, но сам характер этого поэтического воображения, дорисовывавшего то, чего так не хватало поэту в окружающем его мире Цветного бульвара или Первой Мещанской для Брюсова, как Третьей Мещанской для Большакова, очень характерен. Поиски современности вели в бурлящий и бушующий город, рисовавшийся одновременно и сонмищем всех пороков, и символом грядущего конца света, и притягательным магнитом для миллионов людей, среди которых поэту и надлежало искать своего вдохновения.

В уже цитированной автобиографии Большаков писал: «Стихи начал писать с 14-ти или 15-летнего возраста. Примерно около этого же времени — встреча с В. Я. Брюсовым. На наивно-обязательный вопрос: «Стоит ли мне писать»,— получил пространное наставление, как и над чем нужно работать, чего добиваться, к чему стремиться. Этими предначертаниями руководился, очевидно, мало» [2].

В романе «Маршал сто пятого дня», романе с сильными элементами автобиографичности, Большаков описал встречу

---

[1] Дарственная надпись В. Я. Брюсову на авантитуле именного указателя № 1 «Поэмы событий».— ГБЛ, ф. 386, книги, № 968.

[2] Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. Изд. 2-е. М., 1928, с. 60.

своего героя с Брюсовым так: «Указания подкреплялись примерами из многих биографий. Преподано было фетовское наставление: поэзию, как творог, нужно оставлять на время под прессом, чтобы из нее отжалась вся вода. Уже поднявшись с кресла, только не протянув еще руки, Брюсов преподает последний заключительный совет:

— Вы знаете иностранные языки? Тогда переводите. Это лучшая школа. Старайтесь передать фактуру и внутренний строй оригинала. Если вам удастся это, можно сказать, что вы владеете стихом».

В этом предложении молодому поэту переводы явно выполняли функцию тех упражнений в технике стиха, которые Брюсов столь охотно рекомендовал другим поэтам. В начале десятых годов Брюсов, по всей видимости, очень решительно предостерегал многих приходивших к нему на поклон молодых поэтов от увлечения вновь нарождающимися модными течениями и старался заразить столь близкой ему самому жаждой упражнений в поэтической технике. Однако слишком велико было даже для его преданных учеников искушение попробовать себя в новых литературных формах, не стеснять своего дарования корсетом заранее предуготованных размеров, строф, композиционных законов. Ведь даже ближайшая к нему поэтесса Надежда Львова осенью 1913 года, незадолго до самоубийства, писала: «Стала футуристкой» [1], да и сам Брюсов был вовсе не прочь попробовать свои силы в имитации эгофутуристического стиля. Конечно, для него это была лишь очередная попытка, очередная стилизация, но стилизация весьма значимая.

Вместе со многими адептами покинул Брюсова и Большаков. В 1913 г., окончив 7-ю московскую гимназию, он поступил на юридический факультет Московского университета, а уже не позже сентября этого года им была издана поэма «Le futur», иллюстрированная гравюрами Н. Гончаровой и М. Ларионова. Книга была тотчас конфискована (автор, несколько колеблясь, писал то «до выхода в свет», то «немедленно по выходе»), но, как чаще всего бывало в подобных случаях, какое-то количество экземпляров все же уцелело и дошло до читателей поэзии и до ценителей первых футуристических книжных опытов.

Но о футуризме более всего свидетельствовало название

[1] Из письма к Б. А. Садовскому.— ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 89. Цит. по: Лавров А. В. «Новые стихи Нелли» — литературная мистификация Валерия Брюсова.— Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник, 1985. М., 1987, с. 78.

книги, ее оформление и сама литографированность текста, а не содержание этой небольшой брошюры. Можно сказать даже больше: в этой юношеской поэме Большакова, написанной в мае 1912 г., своеобразно перепевается все тот же брюсовский «Конь блед», на воспоминания о котором наложилось чрезвычайно примитивизированное ницшеанство, мечта о внезапном возникновении нового поколения «сверхчеловеков» на месте «усталых тел» окружающих обывателей. Уже первая строка «Вступления» вполне могла бы встретиться где-нибудь в брюсовских стихах: «Мы живем на грани вероятий». Только там она была бы вправлена в безупречно выдержанный контекст, а в поэме Большакова попала в ряд поэтически неровных строчек, среди которых терялись немногие удачные.

Значительно совершеннее оказался сборник стихов Большакова «Сердце в перчатке» (название заимствовано у популярного в начале века французского поэта Жюля Лафорга), вышедший в том же 1913 году в издательстве «Мезонин поэзии». В этой небольшой футуристически ориентированной группе главенствовал совсем молодой, двадцатилетний Вадим Шершеневич, будущий «бард имажинистов», а тогда судорожно искавший свою поэтическую индивидуальность стихотворец. Возникший на перепутье между эго- и кубофутуризмом, «Мезонин» пытался соединить в собственной поэзии достижения традиционного творчества (потому, между прочим, в его изданиях сотрудничали и Брюсов, и Львова, и даже вполне дилетантски сочинявшая стишки Анна Ивановна Ходасевич) с темами и отдельными приемами футуристов. У восемнадцатилетнего К. Большакова это высказывалось с поразительной непосредственностью. Вот, например, стихотворение, большая часть которого вполне вписывается в систему нарочитой антиэстетичности молодого Маяковского, если не Давида Бурлюка, а конец спокойно перетекает в «футуристический дендизм», заимствованный даже не у Игоря Северянина, а скорее всего у кого-то из его бесчисленных подражателей:

Трубами фабрик из угольной копоти
На моих ресницах грусть черного бархата
Взоры из злобы медленно штопает,
В серое небо сердито харкая.

Пьянеющий пар, прорывая двери пропрелые,
Сжал бело-серые стальные бицепсы.
Ювелиры часы кропотливые делают.
Тысячеговорной фабрики говоры высыпьтесь.

Мигая, сконфузилось у ворот электричество,
Усталостью с серым днем прококетничав.
Целые сутки аудиенция у ее величества,
Великолепнейшей из великолепных Медичей.

А вот еще один чрезвычайно характерный пример (это стихотворение какое-то время было просто визитной карточкой Большакова в литературных салонах и на вечерах):

Эсмера́ми, вердо́ми труве́рит весна,
Лисиле́я полей элило́й алиёлит.
Визиза́ми виза́ми снует тишина,
Поцелуясь в тишённые ве́реллоэ трели,

Аксиме́ю, окса́ми зиза́м изо сна,
Аксиме́ю окса́ми засим изомелит.
Пенясь, ласки веле́ми вела́м велена́,
Лилале́т алило́вые ве́леми мели.
Эсмера́ми, вердо́ми труве́рит весна.
Алие́лы! Бескрылатость надкрылий пропели.
Эсмера́ми, вердо́ми труве́рит весна.

«Заумность» этого стихотворения, конечно, восходит к известным кубофутуристическим теориям «слова как такового», к только что появившемуся в «Пощечине общественному вкусу» хлебниковскому «Бобэоби — пелись губы...», к разного рода попыткам А. Крученых. Но благозвучность напевных словообразований, изысканное «труверит», трижды повторенное в этих одиннадцати строках, оригинальная рефренная строфа,— все это до чрезвычайности напоминает какое-нибудь стихотворение Северянина, выдержанное в духе его призыва: «На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс в вирелэ!»

Постепенно, однако, Большаков все более и более сдвигается «влево», его творчество эволюционирует в направлении поэтики Маяковского, но соединяя эту эволюцию с очень сильным влиянием М. Кузмина, основанным и на общности эротических предпочтений (впрочем, у Большакова оказавшейся непрочной). В 1914—1916 гг. Большаков регулярно сотрудничает в различных альманахах кубофутуристов — «Дохлая луна», «Весеннее контрагентство муз», «Московские мастера», а также в изданиях группы «Центрифуга» («Пета», «Второй сборник Центрифуги»). Не случайно в 1920 году, несколько сдвигая события, Брюсов писал в рецензии на рукопись так и не вышедшей книги стихов Большакова «Ангел всех скорбящих»: «В эпоху зарождения нашего футуризма, лет 10 тому назад, К. Большаков был отмечен критикой, как один из наиболее талантливых представителей этого движения» [1]. Сам Большаков в автобиографии не без оснований вспоминал: «Через год-два

[1] Литературное наследство, т. 85. М., 1976, с. 244.

юношеское тщеславие могло удовлетворяться рецензиями и заметками, называвшими одним из мэтров новой школы, гордиться старательным подражанием таких же или еще более молодых поэтов» [1]. Итоги этой популярности были подведены в 1916 году двумя стихотворными книгами, перепечатываемыми в нашем сборнике: «Поэма событий» (вышла не позже февраля 1916) и «Солнце на излете» (один из инскриптов датирован летом этого же года) [2]. В этих стихах, конечно, можно видеть и некоторую эклектичность, ориентацию на поэтику одновременно Маяковского и Северянина, Шершеневича и современных французских поэтов, но все-таки главенствующим оказывалось впечатление, выраженное в формулах Б. Пастернака: «Истинный лирик», «несомненный лирик» [3].

В группе «Центрифуга» соратниками Большакова были такие истинные поэты, как Б. Пастернак и Н. Асеев, но и на их фоне по-прежнему очень молодой поэт (напомню, что в 1916 году ему был всего 21 год) не терялся, не давал повода говорить о своей неоригинальности. Если сборник «Сердце в перчатке» еще очень легко даже самим своим названием вписывался в определенный поэтический ряд («Пудреное сердце» Вс. Курдюмова, «Романтическая пудра» и «Экстравагантные флаконы» В. Шершеневича), то «Поэма событий» и «Солнце на излете» демонстрировали уже уверенный голос поэта, обладающего собственным вйдением мира, интонацией, системой образов не заимствованных, а лишь отчасти перекликающихся с образностью других поэтов, ему близких.

К моменту появления этих двух книг Большаков уже находился в некотором отдалении от литературы. «Война не всколыхнула литературного болота. Эстетический снобизм тогдашних литературных кружков опротивел до тошноты. Порой еще дразнили вместе с Маяковским, Третьяковым и др. почтенные собрания, но эпатировать вкус литературных буржуа представлялось уже бессмысленным и надоевшим. «Тыл» день ото дня делался омерзительнее. Бросил университет и поступил в военное училище» [4]. После Николаевского кавалерийского училища Большаков стал корнетом и оказался в действующей армии. К сожалению, не удалось установить, была ли история Глеба Елистова, героя «Маршала сто пятого дня», списана с судьбы самого Большакова. Если да, то она заслуживала бы

---

[1] Писатели. Автобиографии и портреты..., с. 61.

[2] Зафиксированная в библиографии к статье Ю. М. Гальперина книга «Королева Мод» была подготовлена Большаковым к печати, но в свет не вышла.

[3] См.: Встречи с прошлым. [Вып. 4.] М., 1892, с. 149.

[4] Писатели. Автобиографии и портреты..., с. 61.

самого пристального внимания: литературный персонаж был отчислен из училища, отправлен на фронт и там уже поспешно произведен.

Впоследствии, в разных вариантах своих автобиографий, Большаков представлял пребывание в армии как полное отрешение от литературы, аналогичное тому «уходу», который для любого литератора начала века, особенно для такого начитанного во французской поэзии, как Большаков, неизбежно ассоциировался с судьбой Артюра Рембо и менее отчетливо — с судьбами целого ряда русских поэтов начала века: Александра Добролюбова, Леонида Семенова, Владимира Нарбута, Алексея Гастева и некоторых других, своей судьбой овеществлявших представление о жизни поэта как о точном соответствии его творческой судьбы. За поэзию надо было расплачиваться жизнью, демонстрировать справедливость известной фразы Ницше о том, что хороши бывают только те стихи, которые написаны кровью. Воинская служба, участие в войне, сделались основой для сотворения мифа о жизненном и творческом преображении после периода долгого молчания: «В 1915 году бросил университет и поступил в военное училище. С этого приблизительно момента обрывается работа и «бытие» в литературе, сменяясь почти непрерывной семилетней военной службой. За царской армией непосредственно следовала Красная, демобилизация постигла меня, двадцатишестилетнего начальника штаба приморской крепости «Севастополь», только в 1922 году» [1].

Конечно, как и всякий миф, судьба Большакова была в более сложных отношениях с реальностью, чем автобиографическая формула. Поэзия его, как и все вообще литературное существование, если и прекратились, то вовсе не сразу. Еще в 1916 году он очень активно печатается, Мейерхольд пытается сделать его актером, в 1918 году он регулярно сотрудничает в московской газете «Жизнь», печатается в нижегородском сборнике «Без муз», да и в последующие годы не оставляет поэзии, о чем, между прочим, свидетельствует и представленный в Литературный отдел Наркомпроса сборник, доброжелательно отрецензированный Брюсовым. Но можно полагать, что в жизни Большакова действительно произошли серьезные перемены, связанные с событиями не столько мировой войны, сколько Октябрьской революции и войны гражданской. О первом, по всей вероятности, можно посчитать истинным свидетельство стихотворения «Октябрь», написанного 9 декабря 1917 г.:

---

[1] ГЛМ, ф. 349, оп. 1, ед. хр. 130, л. 1.

Значит... В рокоте выстрелов утро,
Миром с газет вспорхнула пятница,
Значит, правда... В щетине, без пудры
В зеркале не узнать лица,
Не узнать себя, из годов который
В памяти рвется черную мглу.
Коротко звякнули, расстегиваясь, шпоры,
Скорчились ремешки на полу.
В каждом на миг слинявшем погоне
Тяжесть проклятий не ранит плеч...
Кинуться в душный ящик вагона,
Мчаться в вагоне неведомых встреч.
Мчаться... Колесам петь и вертеться,
Рельс разбивая размеренный стук.
Это ведь сердце, не я, а сердце
Брошено в клетку из мук [1].

За этими строками отчетливо чувствуется то главное, что предстояло в те дни решить для себя каждому, носившему армейскую форму: с кем быть, куда пойти. В стихотворении Большакова драматизм выбора предстает в виде лишь чуть-чуть сглаженном бесцветной концовкой (которую я не цитировал). Разрыв с прошлым, ожидание никому еще не ведомого будущего, расставание с привычной уже средой не могло не сказаться на представлениях поэта о месте, которое ему предстоит занимать в жизни. И наверняка эти представления были необычайно обострены гибелью брата Николая, талантливого художника, попавшего в 1919 году в руки махновцев. Это, конечно, только предположения, опирающиеся на немногие известные ныне тексты и факты, но, думается, не будет особой ошибкой сказать, что переживания Большакова во многом соответствовали тем, через которые пришлось примерно в те же годы пройти, скажем, М. Булгакову [2], при всей разнице обстоятельств жизни двух писателей и тех итоговых выводов, к которым они пришли.

Возвращение в литературу было непростым: «Расставшись с литературой поэтом, возвращался к ней прозаиком, возвращался довольно тяжким и не слишком интересным путем — через работу в газете, однодневку-статью, через подкармливавшую, но не обогащавшую ничем и никак «халтуру» [3].

Школу газетной работы прошли очень многие писатели первой половины двадцатых годов, и почти все они вспоминают

---

[1] Без муз. Нижний Новгород, 1918, с. 4.

[2] Наиболее подробный и исторически обоснованный анализ жизненного поведения Булгакова в эти годы проделан в книге М. Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова» (М., 1988).

[3] ГЛМ, ф. 349, оп. 1, ед. хр. 130, л. 2.

о ней как о тяжком испытании, которое нужно было преодолеть, чтобы войти в литературу настоящую. Бесконечная скоропись, нарочитая примитивизация языка, рассчитанного на понимание самых необразованных людей, решительная идеологизация всего газетного дела, с необратимой стремительностью нараставшая в эти годы, не могли не наложить отпечатка на саму структуру художественной прозы, к которой уже с 1923 года обращается Большаков. Потому и все его творчество, пользовавшееся достаточной популярностью в двадцатые годы, чрезвычайно неровно, в чем, кажется, он и сам отдавал себе отчет. Лучшее, видимо, его произведение — роман «Маршал сто пятого дня», первая книга которого была издана в 1936 году, вторая пропала после ареста, а третья так и не была написана. Но и созданный в 1928 году роман о Лермонтове, предлагаемый читательскому вниманию, был в свое время весьма популярен, о чем свидетельствуют четыре прижизненных издания и подготовленный к переизданию пятый вариант. На обложке исправленного и предназначенного для сдачи в типографию экземпляра написано: «В набор»,— и стоит дата: 3 августа 1936 года. А через полтора месяца, 17 сентября, Большаков был арестован и, по всей видимости, расстрелян 21 апреля 1938 года, хотя по официальным данным, зафиксированным картотекой Союза писателей СССР, датой смерти отмечено 28 января 1940 года.

О лермонтовском романе автор писал: «Сам восхищаюсь им не очень — так себе роман» [1]. Действительно, современный читатель может быть отчасти разочарован этим повествованием и будет искать ответа, почему именно этим романом следовало начинать знакомство с незаурядным прозаиком двадцатых — тридцатых годов. Однако я думаю, что выбор издательства не только может, но и должен быть оправдан целым рядом обстоятельств, делающих роман Большакова примечательным памятником не только истории советской литературы, но и своего времени, отразившим очень многие тенденции психологии людей эпохи — самого конца двадцатых и первой половины тридцатых годов, поскольку в неоднократно переделывавшемся тексте романа отчетливо заметны следы почти десятилетней работы.

О соотношении правды и вымысла в романе, о том окружении, в котором оказалась биографическая проза Большакова, читатель узнает из послесловия. Но не менее важно и то, что создание романа было вызвано к жизни процессами, протекавшими в поэзии начала века и двадцатых годов, причем

[1] ГЛМ, ф. 349, оп. 1. ед. хр. 130, л. 2.

именно той поэзии, с которой Большаков был теснейшим образом связан.

Об этом заявлял и сам автор: «...та лирическая стихия, которая вынесла на самый гребень поэзии, подступавшей и подступившей к сегодня, стихия, которая поставила и удержала в авангарде предреволюционной поэтической мысли, эта стихия не покинула и моей прозы»[1]. Видимо, именно это сопротивление внутренней лирической стихии позволило Большакову преодолеть искушение легкой газетной халтуры и сделаться серьезным прозаиком. Но сама специфика поэтической природы романа нуждается в конкретизации.

В самом начале двадцатых годов — видимо, в 1922-м, поэтесса Варвара Монина, не входившая ни в какие литературные группы и тем самым лицо незаинтересованное, составила сборник «Посвящается Лермонтову», который так и остался неизданным, но его машинопись сохранилась. Сборник этот, конечно, далеко не полон, но обращает на себя внимание то, что среди поэтов, обращавшихся к впечатлениям от личности и поэзии Лермонтова, очень много принадлежавших к группе «Центрифуга»: И. Аксенов, Н. Асеев, С. Бобров, Б. Пастернак, а также близкий к «центрифугистам» Михаил Тейтельбаум, писавший под псевдонимом М. Тэ. Имени Большакова среди этих поэтов нет, но почти все его окружение так или иначе включало Лермонтова в пантеон близких себе поэтов.

Конечно, присутствие самого Лермонтова, тем и мотивов его поэзии в этих стихах чаще всего не достигает такой интенсивности, как, скажем, в «Грифельной оде» О. Мандельштама или поздних стихах Георгия Иванова, где «Выхожу один я на дорогу...» становится постоянной внутренней темой, откликается во всей структуре стихотворений, но тем не менее оно в высшей степени симптоматично. И симптоматично, что именно умеренные футуристы сделали имя и образ Лермонтова своим знаменем, постоянным элементом своего стиха: для них было принципиально важно опираться не на внешне уравновешенную, гармонизированную поэзию пушкинской поры и всей «школы гармонической точности» (определение Л. Гинзбург), а на другой исток новейшей русской поэзии — открыто дисгармоничную лирику Лермонтова, в которой искались основания для утверждения собственной дисгармонии.

Если для кубофутуристов и продолжателей их традиций Лермонтов и Пушкин были не слишком-то различаемыми

[1] Литературная газета, 1932, 17 августа.

фигурами, полемически воспринимаемыми как два идентичных знака классической традиции (конечно, речь идет не об индивидуальном восприятии поэзии Лермонтова, скажем, Маяковским или Хлебниковым, а о литературной позиции целого течения), то для «центрифугистов» его имя могло стать опорой в собственном творчестве, могло помочь собственному самоутверждению. В предисловии к своему сборнику В. Монина зафиксировала примечательный факт: «Последние года замечательны тем, что не только специалисты по литературе и не только стихотворно-невежественная юбилейная масса, но впервые в таком количестве поэты отозвались исключительным пристрастием к имени: Лермонтов. Впервые, может быть, охватив XX веком весь его дух. Вот, например, что было сообщено Борисом Пастернаком перед чтением его неизд⟨анной⟩ кн⟨иги⟩ стихотв⟨орений⟩ «Сестра моя жизнь» — (в Доме Печати, март ⟨19⟩21 г.): «Из всех живущих я счел возможным только Лермонтову посвятить мою книгу, хотя и с ним в последнее время встречался редко»[1].

Если для Маяковского Пушкин из «Юбилейного» и Лермонтов из «Тамары и Демона» в равной степени служат лишь объектами литературной игры, то для Пастернака и других поэтов «Центрифуги» он приобретает статус вечного современника, на опыт которого можно и нужно опираться при построении собственной поэтики, собственной картины мира. Уже в 1958 году Пастернак так раскрывал смысл своего посвящения книги «Сестра моя — жизнь»: «...то, что мы ошибочно принимаем за лермонтовский романтизм, в действительности, как мне кажется, есть не что иное, как стихийное, необузданное предвосхищение всего нашего субъективно-биографического реализма и предвестие поэзии и прозы наших дней. Я посвятил «Сестру мою жизнь» не памяти Лермонтова, а самому поэту, как если бы он еще жил среди нас,— его духу, до сих пор оказывающему глубокое влияние на нашу литературу»[2].

Конечно, позднее пастернаковское понимание лермонтовского влияния на литературу, и в частности на его собственную книгу, оказывается гораздо глубже, чем оно нередко выявлялось в стихах современников, но устремление было одним и тем же. То, что талант Пастернака делал глубинной подпочвой своей собственной поэзии, у других могло становиться лишь какой-то внешней привязкой, отдельными образами или вполне примитивно вписанными в стих реалиями лермонтовской биографии, свободно узнаваемыми цитатами из его стихов; но общее для всего этого круга поэтов желание представить

[1] ГЛМ, ф. 118, Рнв 3713, л. 5—6.

[2] Пастернак Борис. Стихотворения и поэмы. М., 1965, с. 632.

Лермонтова своим современником, на которого можно опереться, чьим именем можно освятить свои собственные стихи,— совершенно явно. Именно такого рода единственная известная мне отсылка к Лермонтову в стихах Большакова, которые он включил в оставшуюся неизданной книгу (и их сочувственно процитировал Брюсов), а потом ввел в текст «Маршала сто пятого дня»:

И голос, что казался нежнейшим,
Впитал прокисший запах казарм.
Здесь и рассказ о выигранной казначейше
Не кажется старым.

Но за этой единичной отсылкой стоит одна из сквозных тем последнего романа: Николаевское училище, где Большаков, как и его герой, был юнкером, возникло из той самой Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, которую в свое время окончил Лермонтов. Судьбы героя романа и его автора оказались теснейшим образом переплетенными, сделались той подосновой для лирической стихии романа, которая отчетливо чувствуется в нем.

Сам Большаков определял свою задачу в «Бегстве пленных...» так: «Я ставил для себя проблему написания психологического, не биографического, романа на материале абсолютных исторических фактов. В пути к разрешению одной, и конечной, задачи, которую я ставлю себе, этот эксперимент играл немалую роль» [1]. Действительно, роман его ориентирован прежде всего на воссоздание психологии героя, а не на обрисовку биографической канвы. Но само представление о лермонтовской психологии было у Большакова заранее предопределено целым рядом обстоятельств, среди которых не последнюю роль играло особое, личностное внимание к юнкерским годам поэта.

Следуя популярной в двадцатые годы теории «двух планов», чрезвычайно активно в применении к Пушкину разрабатывавшейся В. Вересаевым, Большаков и образ Лермонтова строит на пересечении житейского, низкого, даже грязного — и поэтического, почти надмирно возвышенного. И здесь могучую поддержку он нашел в известной мистификации кн. П. П. Вяземского — записках Оммер де Гелль. Первые издания романа включали большую главу, основанную специально на этих записках. При подготовке последнего варианта Большаков, уверившись в фальсифицированности записок, эту главу исключил, но сам подход к психологии своего героя, естественно, изменить уже не мог. Лермонтов так и остался беспрестанным

[1] Литературная газета, 1932, 17 августа.

покорителем женских сердец, которого действительно невозможно было вытерпеть, не вызвав на дуэль. Он вздорен, груб, неуживчив, так что даже ближайшие друзья с трудом переносят его общество. Эта сторона его натуры изображена вполне отчетливо и составляет львиную долю психологического облика поэта. К сожалению, творческое начало в большаковском Лермонтове выражено далеко не с такой отчетливостью. Совмещения двух планов так и не наступило.

Тогда в чем же можно видеть лирическую природу романа, связанную с собственной поэзией его автора? Думается, что это преимущественно относится к описаниям природы, занимающим в повествовании важное место, и к многочисленным женским портретам, разбросанным по страницам «Бегства пленных...». Здесь голос автора приобретает свободу, становится раскованным и уверенным. Если при разговоре о поэте Большакова как бы все время стесняет возможность приписать ему то, что не зафиксировано мемуарами, страшит даже сама мысль о том, чтобы проникнуть за документ и пойти тыняновским путем, то в остальных частях романа он обретает чувство внутренней правоты и неразрывно с ним связанную силу художественной воли.

Но если в части биографической, исторической и психологической роман Большакова вряд ли можно признать большим достижением, то как свидетельство современника об эпохе двадцатых—тридцатых годов в нашей стране он, мне думается, представляет совершенно определенную ценность, только необходимо ее вычленить из массива исторического повествования.

Любой исторический роман, рассказ или повесть непременно откликаются на запросы своей современности, несут на себе отпечаток той эпохи, в которую они создавались. Однако приметы времени чаще всего видятся в каких-то элементах, лежащих на поверхности. У Большакова их вполне хватает: и герценовское определение Николая I, и жестко идеологизированные размышления Лермонтова о создании «Песни про купца Калашникова», и вообще все стремление увидеть лермонтовскую эпоху глазами человека двадцатого века, несущего в себе опыт революции и гражданской войны, где поэт предстает символом праведности той стороны, на которой сражается автор его биографии. Такой подход был сформулирован в ярко талантливых стихах Э. Багрицкого о Пушкине:

Я мстил за Пушкина под Перекопом,
Я Пушкина через Урал пронес,
Я с Пушкиным шатался по окопам,
Покрытый вшами, голоден и бос.

А в 1921 году применительно к Лермонтову высказал практически то же самое центрифугист Иван Аксенов, знаток елизаветинцев, Шекспира, современных французских драматургов и поэтов, а одновременно командир Красной Армии:

А и славную справили тризну
В тысяча девятьсот восемнадцатом году у пушистого Машука
По нем...

Большаков же самым удивительным образом рассказал об аналогичном подходе к жизни и творчеству Лермонтова в неизданной биографии поэта, которая писалась, по всей видимости, незадолго до ареста. Биография эта не представляет собой ни художественной, ни документальной ценности, но есть в ней один эпизод, достойный подробного цитирования.

Большаков вспоминает, как во время эксгумации останков Гоголя он разговорился с одним из воспитателей детской трудовой колонии, располагавшейся в Даниловом монастыре, и тот рассказал ему историю, случившуюся с ним несколько лет назад: «В бывшем подмосковном имении дворян Мартыновых, селе Знаменском, ныне помещается трудколония. Барский дом, отдавший свою музейную мебель краевому музею в г. Воскресенске, вместе с людскими служит помещением для школы и общежития. Службы так и остаются службами. Лелеется усадебный фруктовый сад и возделывается огород. Только фамильный мартыновский склеп не использован ни для какой общественно-полезной цели.

Педагог-рассказчик как-то на очередном занятии говорил своим воспитанникам о Лермонтове. Он изложил его печальную судьбу, рассказал о муках и терзаниях его краткой жизни, о казни, определенной ему своим собственным классом и царем. Потом учитель читал еще лермонтовские стихи. И ребята, бывшие беспризорники, затаив дыхание, слушали здесь, в бывшем мартыновском доме, в бывшей мартыновской усадьбе то, что успел пропеть приконченный на 27-м году жизни здешним и давним помещиком поэт. Потом ребята разошлись, ушел к себе и учитель. А на следующее утро на самой старой и высокой березе против дома висел мешок. Петля обхватывала один из его концов, он был выпачкан в земле, этот мешок, в котором, казалось, был заключен скрюченный и не прихваченный веревкою труп. Ветер качал березу, раскачивал повешенный на ней мешок.

И оказалось: ночью трое очень хороших и очень прилежных ребят, тайком забрались в фамильный мартыновский склеп. Они разрыли одну только могилу — Николая Соломоновича

Мартынова, рожденного в 1815 году и умершего в 1875-м, они не тронули больше ни одной могилы. Они ожидали обнаружить в гробу хоть как-нибудь сохранившийся человеческий труп. В гробу лежали ржавые полуистлевшие кости и труха. Тогда они все собрали в мешок и повесили на самой старой и высокой березе перед домом» [1].

Не правда ли, рассказ этот жуток не только своей беспощадно обнаженной правдивостью, но и отношением к нему как рассказчика, так и автора биографии. Отношение это безусловно одобрительное, кощунство над прахом воспринимается как нечто совершенно естественное и заслуживающее не просто оправдания, но и нравственной похвалы. Так время уродовало духовный мир человека, перестававшего осознавать несомненно греховное в таком качестве и начинавшего ему приписывать даже некий ореол свершенной справедливости.

Но представляется, что гораздо интереснее попробовать отыскать в романе другие отголоски времени, которые, может быть, не осознавались и самим автором, а оказались наложены духом эпохи, подсознательными ощущениями, заставлявшими выискивать в прошлом то, что соответствует реальности нынешнего дня, но что невозможно описать прямо. После книги А. Белинкова общим местом стало такое отношение к книгам Ю. Тынянова конца двадцатых и начала тридцатых годов; говоря о попытке Ахматовой перевести «Макбета», Р. Тименчик справедливо заключает: «Можно полагать, что практического стимула эта затея лишилась в связи с обнародованием в 1934 году двух новых переводов трагедии — Сергея Соловьева и Анны Радловой. Переизбыток публикаций шекспировской драмы именно в этом году — одна из очередных дьявольских гримас эпохи, и, может быть, не случайна ассоциация Ахматовой в разговоре о «Макбете» спустя тридцать лет: «убийство Кирова» [2].

Скорее всего такие эффекты возникали непроизвольно, но именно непроизвольностью они и значимы, потому что свидетельствуют о состоянии страны и человека в страшные годы России не с точки зрения некой идеологической концепции, могущей оказаться неверной и объясняющей далеко не все, а на уровне сознания отдельного, частного человека, искренне желающего быть верным революционным преобразованиям, которые он стремится отыскивать вокруг себя, но оказывающегося чаще всего против собственной воли свидетелем

---

[1] ГЛМ, ф. 245, оф 7378/I, л. 77—78.

[2] Литературное обозрение, 1989, № 5, с. 18. Слова Ахматовой заимствованы автором из воспоминаний В. Рецептера.

порабощения личности огромной государственной машиной.

В «Бегстве пленных...» к такому разряду относится история Батурина, слишком напоминающего многочисленных литературных растратчиков из прозы двадцатых годов, но напоминающего только поначалу: рассказ о его каторжных бедах как будто переносит нас даже не в годы, когда роман писался, а в золотые рудники Колымы, описанные Варламом Шаламовым, и мельком обозначенный кавказец Багир предвещает тысячи ссыльных и лагерников из «наказанных народов». Да и унтер-офицер Иван Потапов, пошедший из армии на каторгу своей волей, напоминает нам о том, как Иван Денисович Шухов мог пожалеть конвойного, ведущего в мороз колонну зэков.

Вряд ли можно посчитать тему ссыльной и каторжной России, звучащую у Большакова вполне отчетливо, случайной. Слишком близки были Соловки для советского интеллигента, за плечами которого было офицерское звание в старой армии.

И не менее — а может быть, и более — важна тема сквозного полицейского надзора, пронизывающего все поры общества, которое окружает Лермонтова. Реальный исторический персонаж, Евгений Петрович Самсонов (его «Воспоминания» были опубликованы в 1884 году в «Русском архиве», а Большаков и автор послесловия к первому изданию романа М. А. Цявловский решительно утверждали, что автор пользовался и его неизданным дневником), превращается в символ, делаясь из обыкновенного офицера жандармом и едва ли не средоточием плетущегося вокруг Лермонтова заговора, в центре которого стоит сам император. Уже в наше время, в шестидесятые—семидесятые годы метод исторических аллюзий станет общеизвестным и весьма популярным, но у истоков его, по всей видимости, стоят именно произведения, подобные «Бегству пленных...», где аллюзий в собственном смысле слова нет, но слишком очевидно события современности сопоставляются с эпохой, описанной в романе.

Возможность увидеть сквозь далекую историю события гораздо более близкие, вступить в мир, где писательское слово становится неодномерным, а как бы расширяющимся, двоящимся и троящимся, где художественное время оказывается способным преодолеть заранее заданную тенденцию автора, где автор, его герой и история сложно соотносятся, заставляя читателя активно воспринимать сказанное,— вот что, на мой взгляд, делает необходимой не только реабилитацию имени Константина Большакова, но и переиздание его стихов и прозы.

В заключение следует сказать, что текст романа «Бегство пленных...» печатается по экземпляру четвертого издания книги (М., 1932), подготовленному автором для пятого издания и хранящемуся ныне в Рукописном отделе Государственного литературного музея. Цензурные купюры в тексте «Поэмы событий» восстановлены по экземпляру, подаренному автором М. А. Кузмину (ГБЛ, ф. 438, карт. 1, ед. хр. 41).

Н. А. Богомолов

БЕГСТВО ПЛЕННЫХ,

или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова

Памяти брата Николая

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Высочайший смотр войск лагерного сбора гвардии в 1835 году происходил шестого и седьмого июля. Восьмого был произведен примерный против мнимого неприятеля маневр, а девятого вечером курьеры от Главной императорской квартиры уже развозили по штабам копии высочайшего приказа.

В этом году монаршие милости, очевидно в возмещение прошлогоднего неудовольствия, достались почти исключительно кавалерии.

Дежуривший по штабу Петровской бригады, временно исполнявший должность адъютанта,— высшее начальство поспешило отбыть вслед за Главной квартирой,— поручик Самсонов прочел перечень этих монарших милостей с довольно кислой гримасой.

Преображенскому полку, мундир которого он носил, со дня выхода из школы и интересы которого не могли быть ему безразличны потому, что им командовал родной его дядя и благодетель Николай Александрович Исленьев, его Преображенскому полку никакого внимания в приказе выказано не было.

> ...Первой легкой гвардейской кавалерийской дивизии...
> Лейб-гвардии гусарскому полку...—

читал Самсонов, и его лицо принимало все более и более брезгливое выражение,—

> ...за твердое знание службы, исправное состояние людей их взводов и точное понимание маневра объявляется высочайшее благоволение флигель-адъютанту поручику графу Браницкому, корнетам: князю Витгенштейну, князю Вяземскому Александру, князю Вяземскому Николаю и Лермонтову...

— Лермонтов?!

У Самсонова даже брови приподнялись удивленно, как будто он прочел в приказе явную бессмыслицу.

Присутствие такой малозначительной фамилии в перечне столь блестящих имен показалось ему лично оскорбительным.

С ленивым зевком он выронил из рук печатный листок.

— Сними копии,— приказал писарю и, зевая и потягиваясь, вышел из помещения.

По природе своей человек аккуратный и исполнительный, Самсонов тем не менее во многом допускал для себя послабления, которых не потерпел бы для других. Откровенное попустительство дядюшки за все время службы в полку и главным образом за время последней польской кампании, о которой он иначе и не вспоминал, как о самом приятном времяпрепровождении, внушило ему глубокое убеждение, что для него, Самсонова, существуют иные, чем для прочих, мерки и правила.

Только почувствовав мимолетное разочарование и как бы досаду по поводу вкравшейся в царский приказ незначительной фамилии корнета Лермонтова, он тотчас же заставил себя вспомнить, что за дни смотра и маневра он уже целую неделю не был в городе. Не скучать и не бездельничать на таком дежурстве решительно невозможно, а главное — это неизбежно помешает, как уже мешало целых восемь дней, сосредоточиться и углубиться, с тем, чтобы потом побеседовать с собою в дневнике. Дневнику он придавал исключительно большое значение, считая, что только благодаря ему он может разбираться в сложности жизни и тем самым вести себя по пути усовершенствования.

Поэтому, сказавшись у дежурного по бригаде больным, он немедленно вслед за этим приказал закладывать коляску, и не прошло и получаса, как он отбыл в город.

Перед заставой лакей крикнул со сна неестественно высоким голосом:

— Его благородие, лейб-гвардии Преображенского полка поручик Самсонов!

Караульный — преображенец же,— сорвав с головы фуражку, вытянулся во фронт.

— Бомвысь! — брызнуло, как сплеснутая вода.

Цепь у шлагбаума, гремя, опустилась. На фоне белесо-зеленого неба качнулась и с глухим звяканьем взмыла вверх длинная полосатая жердь.

Кучер подался вперед на козлах. Тройка добрых исленьевских орловцев рванулась и понесла. Звонко, словно скалывая камень, застучали копыта. В белом, чуть замутившемся свете дома летели навстречу призраками.

Этим летом в городском исленьевском доме шел ремонт. Там оставалась только прислуга. Семья дяди еще в мае уехала в воронежскую деревню, и поэтому Евгений Петрович приказал, не останавливаясь, везти себя на дачу, на Каменный остров, где обычно теперь имели пребывание в свободное от службы время и дядя, и он.

Не было и двенадцати, когда разгоряченные и взмыленные кони, сочно фыркая и звеня колокольцами, остановились у подъезда одноэтажного, прятавшегося за правильно подстриженной зеленью дома. Свет, мелькавший за стеклами галереи, удивил и встревожил Евгения Петровича.

«Кто же это? Неужели дядя успел вернуться из Петергофа? Нет, невозможно, решительно невозможно».

Он поспешно выскочил из коляски и взбежал на крыльцо.

Еще на ступеньках к нему кинулся камердинер, Владимир, обычно разбитной и веселый, сейчас растерянный и напуганный. За ним в раскрытых дверях толпилась и вся остальная прислуга.

— Слава богу, Евгений Петрович, что хоть вы приехали. Несчастие у нас случилось.

Самсонов испытующе посмотрел на окружавших его людей.

— Что такое?

— Да как же... Сегодня, Евгений Петрович, весь дом обокрали. Пожалуйте, сами увидите, мы без вас ничего и трогать не решались.

Не зная, как и на чем он сорвет досаду, Самсонов молча, вслед за болтавшим без умолку Владимиром, вошел в дом.

— Вот, извольте посмотреть,— торопился тот, не понимая, отчего это Евгений Петрович не говорит ни слова.— На веранду дверь утром оказалась открытой, и горшки цветочные — мы их на ночь к дверям приставляем — прочь отставлены. А это вот — так они здесь и валялись,— должно быть, для заглушения своих шагов вор надевал-с.

Евгений Петрович рассеянно взглянул на грубые шерстяные носки, валявшиеся возле двери. Он даже пере-

дернулся, как от внезапного холода, от неприятной и совершенно нелепой мысли:

«Зачем я уехал из лагеря? Там было бы теперь спокойнее».

— Не иначе как кто-нибудь из своих,— вертелся около него Владимир.— Вон и сторож ничего не слыхал, и собака не лаяла.

— Чего ж вы-то до сих пор так сидели? — прорывая накопившееся раздражение, закричал Самсонов.— Полиции почему знать не дали? Николая Александровича, меня почему не известили?

— Как же, как же, Евгений Петрович,— теряясь еще больше, пролепетал Владимир,— с утра и к вам и к Николаю Александровичу люди в Красное посланы. И в полицию сообщено-с. Розыск делали. Следы-то до самого забора идут явственно, а за забором как сгинули.

— Дяде — какая неприятность,— брезгливо поморщившись и вполголоса проговорил Самсонов.— Скоты! И этого охранить не сумели. Позовите мне сторожа.

Пока ходили за сторожем, Евгений Петрович успел осмотреть обокраденные комнаты.

В гостиной на столе в беспорядке были разбросаны бронзовые и фарфоровые статуэтки, из вскрытой шкатулки были высыпаны на пол письма, и сама она валялась с поломанной крышкой. Серебряный карточный прибор, подсвечники и ковчежец исчезли. Но здесь, видимо, вор был недолго. Кроме стола, все находилось на своих местах и в полном порядке.

Зато в кабинете глазам Евгения Петровича представился полный разгром. Огромное красного дерева бюро было разбито, расковырены и выдвинуты все ящики. Тут же на ковре валялось и орудие этого разгрома — большое столярное долото. Запертый на ключ портфель и копилка с серебром исчезли. На спинке кресла остался прилепленный сальный огарок, салом был закапан и стол.

— Заспались! Стол ломали, а они...— грозно хмуря брови, проговорил Самсонов.— Сами старались!

Толпившаяся вокруг него прислуга в один голос подтвердила, что «посторонний так не мог», настойчиво просила произвести общий обыск. Самсонов, махнув рукой, приказал им замолчать. Недавнее раздражение успело уже погаснуть, уступив место безразличной и сонливой брезгливости. Ему уже нужно было делать грозный вид, заставлять себя кричать на старика сторожа, повалившегося ему в ноги.

— Виноват, батюшка барин, задремал малость.

Приказав на всякий случай запереть его в чулане, Евгений Петрович с чувством исполненной и отошедшей от него обязанности прошел в свою комнату.

Холодная вода на этот раз не освежила, только стряхнула сонливость. Он подошел к бюро, отпер ящик, достал дневник.

Поверх поднимавшихся до самого окна курчавых шапок кустарника смотрел Евгений Петрович на мутное, напоминавшее снятое молоко, небо. В глазах пошла рябь. Молочная гладь покрылась прозрачной и быстрой зыбью. Он тряхнул головой, освобождаясь от этого миража. Взял перо и раскрыл дневник.

Писал долго.

Небо за окном разгорелось и залилось желтым блеском. Шумно чирикали, наполняя утро деловитой суетой, птицы. Евгений Петрович бросил перо, отодвинул тетрадь.

В конце страницы было написано:

> ...Сегодня по ничтожному, случайному поводу родившаяся мысль долго не могла оставить меня. Как странна и прихотлива судьба человеческая. Рассеянно скользящий, но зоркий взгляд сильных мира сего на мгновение остановился на тебе. Находчивый доброжелатель успел шепнуть твое имя, и твоя карьера, твоя судьба отныне и разом меняют свое направление, устремляя тебя к успехам и славе.

II

Николай Александрович Исленьев жил на широкую ногу.

Дом на Большой Морской царившими в нем порядками и заведенным обиходом подражал самым лучшим и богатым домам Петербурга. Помимо дома, помимо дачи на Каменном острове, в зимнее время предназначавшейся для пикников и малых охот, еще постоянно снимались от владельцев две или три квартиры по месту летних и осенних стоянок батальонов Преображенского полка. Все это обслуживалось постоянным и огромным штатом крепостной прислуги. Но в силу сугубой требовательности, выработавшейся в Николае Александровиче девятилетним командованием первым полком русской гвардии, эта прислуга казалась ему совершенно

неудовлетворительной. Национальной патриотизм, который доходил у него до того, что в доме никак не терпелась французкая кухня, и которым, в хорошую минуту, Николай Александрович любил похвастаться, не позволял ему взять вольнонаемного дворецкого-иностранца, как это тогда стало модным в столице; воспитать же такого управителя, достаточно ревнивого и строгого, а главное понимающего все его требования, из своих же людей он решительно не надеялся.

Поэтому в прошлом, 34-м году, смотря в полку выходивших в отставку солдат, он предложил одному из них, старшему унтер-офицеру Батурину, по какому-то внезапному вдохновению,— впрочем, он все делал таким образом — поступить к нему на эту должность.

Батурин выходил в бессрочную с неопороченной славой толкового и умного служаки. Но, вероятно, не это заставило Николая Александровича остановить на нем свой выбор.

Жгучий брюнет, с курчавыми бакенбардами и плотными кольцами коротко подстриженных волос, моложавый для своих сорока восьми лет, он чем-то — брезгливой ли складкой редко улыбающихся губ или пристальным, прямым и холодным взглядом — невольно вызывал в памяти представление о портрете одной высокой особы. Вот это-то, вместе с бравой осанкой преображенца, и решило в мыслях Николая Александровича его судьбу.

Он предложил ему солидное жалованье при полном господском содержании, и Батурин, одетый с иголочки, с солдатским Георгием — за Лейпциг — в петлице, вступил в управление многочисленным штатом исленьевской прислуги.

Батурину, пользовавшемуся у барина безграничным доверием, были поручены все хлопоты и расчеты с мастеровыми по ремонту городского дома. На даче он почти не бывал, появляясь там только для докладов барину. У Евгения же Петровича, всегда в своих привязанностях и симпатиях неизменно следовавшего дяде, еще вечером мелькнула мысль поручить дальнейшее расследование этого неприятного происшествия именно Батурину.

Но проснулся Евгений Петрович поздно, в одиннадцатом часу. Вероятно, от долгого писания накануне он чувствовал головную боль, хотелось курить. Если позвать казачка, придется проститься с такими приятными,

так дружно заселившими это утро мечтаниями. Он лежал, заложив на подушку под голову руку, следя, мечтательно и не отрываясь, за игрою солнечного света на потолке. Оттого ли, что оставшееся от молодого сна томление неизбежно вызывало представление о какой-то, никогда не бывшей необыкновенной женщине, и вокруг этого образа, тревожно замирая, толпились мечты, или, наоборот, это томление только оттого и явилось, что он мечтал о женщине,— но состояние, которое переживал Евгений Петрович, было приятным и волнующим, и было бы очень досадно, если бы что-либо прервало его. Он даже вздохнул, изнемогая от этого радостного томления.

Тотчас же за дверью послышался осторожный кашель.

— Прикажете умываться, Евгений Петрович? — нерешительно осведомились оттуда.

Мгновение было желание раскричаться и излить в брани свою досаду на сунувшегося без времени с умыванием Владимира, но Евгений Петрович сдержался.

Дневник, научивший его мыслить в манере, решительно не походившей на дядину, содержал в себе и такую недавно сделанную запись:

> Первейшая и главная обязанность каждого честного управителя — знать прежде всего всю правду в кругу дел, порученных его ведению. Слепая доверенность подчиненным равна тягчайшему преступлению против отечества и государя, и оправдания такому легкомыслию найти невозможно.

Спуская с кровати ноги, он уже думал, что его вчерашнее небрежение к происшествию есть тоже преступление с его стороны по отношению к дяде и благодетелю, добро которого разграблено, а кроме того, здесь налицо и уголовное деяние,— значит, он, Самсонов, пренебрегал здесь и своей прямой обязанностью верноподданного и военного.

— Есть что-нибудь новое? — сурово покосился он на подававшего ему платье Владимира.

— Никак нет-с. Все в прежнем положении.

— Скажи, чтоб послали сейчас же за квартальным,— не меняя тона, распорядился Евгений Петрович и, обдумывая дальнейшие необходимые мероприятия, приступил к туалету.

Полицейский офицер явился раньше, чем он успел

окончить завтрак. Почтительно изгибаясь он сообщил Евгению Петровичу в самых заискивающих выражениях, что пока никаких следов ни преступника, ни пропавших вещей полицией не обнаружено.

— Я вас попрошу сделать повальный обыск у прислуги,— прихлебывая кофе и не слушая его, сказал Евгений Петрович.— Нужно или снять подозрение с этих добрых людей, если они неповинны, или... или приняться за них как следует.

— Слушаюсь,— изгибаясь всем корпусом, изрек полицейский.— Разрешите идти?

— Пожалуйста.

Самсонов небрежно кивнул головой.

Позавтракав,— к этому времени уже успели окончить обыск, ничего и ни у кого из дворовых не обнаруживший,— он приказал закладывать коляску.

«Эти мерзавцы, конечно, только из ненависти не поторопились известить обо всем Батурина,— подумал он, вспомнив, как ненавидела дворня взыскательного и строгого Батурина.— А он единственный, кто мог бы помочь мне сейчас».

В город с собой он захватил, помимо Владимира, еще двух дворовых.

По мнению Евгения Петровича, украденные вещи так или иначе должны будут очутиться на толкучем рынке. По ним дворовые смогут обнаружить вора.

На Морской в доме дяди он застал только работавших там мастеровых да дворника.

Батурин, оказывается, эту ночь даже не ночевал дома. Впрочем, по словам дворника, он и вообще последнее время появлялся здесь редко.

Евгений Петрович, несколько раздосадованный этой неудачей, остался ждать посланных на рынок дворовых.

Мысли упорно отказывались принять свое обычное, всегда такое успокоительное и занимательное для Евгения Петровича течение, путались, перескакивали с одного предмета на другой. Было скучно, и занять себя было решительно нечем.

Через час примерно, без звонка, со своим ключом, по черному ходу вернулся Батурин. Он не предполагал застать здесь из господ, потому что в столовую, где сидел Евгений Петрович, вошел, не снимая цилиндра и легонько посвистывая.

Увидев молодого барина, он нисколько не смутился,

с чувством никогда не покидавшего его достоинства снял шляпу и молча поклонился.

— Где ты пропадаешь, Батурин? — поднимая на него глаза, спросил Самсонов.

— А вот-с, изволите ли видеть,— не спеша, все с тем же несмущающимся видом, отвечал тот,— знакомого одного в отъезд провожал, так что у него и переночевал.

— А что, Николай Александрович сегодня сюда не собирались? — спросил он через минуту, переходя к окну и пробуя только сегодня повешенные занавеси.

— Не знаю,— рассеянно отмахнулся Самсонов.— Что у нас на даче произошло, ты разве не слыхал?

— А что-с?

Самсонов вкратце рассказал о покраже и посмотрел на дворецкого.

Не сразу, все с тем же невозмутимым видом, очевидно, только хорошо взвесив и расценив все сказанное, Батурин проговорил:

— Сейчас, конечно, сказать ничего невозможно. Однако, как и вы, я полагаю, Евгений Петрович, что не иначе как кто-нибудь из своих.

Сказав, перешел он к другому окну, стал пробовать занавеси и на этом.

— Так-с,— проговорил он, окончив осмотр.— Вам я ни за чем не потребуюсь?

— Нет, пока мне ты не нужен,— удивясь его равнодушию, ответил Самсонов.— Я вот людей на толкучку послал, посмотреть, не попадется ли там чего-нибудь.

— Это дело,— словно неохотно отозвался Батурин.— Так я пойду, Евгений Петрович, а то наверху маляры сегодня работают.

С этими словами он вышел.

Посланные на базар вернулись не скоро. Владимир, запыхавшийся, с взволнованным видом приблизился к барину.

— Ну что, Владимир, ничего не нашли?

— Ничего-с, но имеем сильное подозрение.

— На кого?

— На Михаила Ивановича.

— Никак вы с ума сошли! Из ненависти к Батурину вы готовы бог знает что на него придумать. С чего ж вы его подозревать вздумали?

— Вот, извольте видеть, нам дворник сказал: здесь он почти не ночует.— Владимир говорил полушепотом, словно боялся, что его могут подслушать.— Значит,

как вы нам приказали, мы живым манером и отправились на толчок. Только туда приходим, как вдруг Михаил Иванович сам своей персоной к нам и идет навстречу. «Вы,— говорит,— что тут делаете?» А мы отвечаем, что так, мол, прогуливаемся да кстати пришли посмотреть, не попадутся ли посходнее манишки, вот Алексею нужны. А он нам и говорит: «Врете вы все, не манишки вы пришли сюда искать, а у вас покража была. Вы думаете, не знаю? Сколько раз вам, дуракам, говорил. Были б поосторожнее, и воровства бы не случилось».

— Когда это было? — удивленно перебил Самсонов.

— Да час назад, пожалуй, не меньше. Мы потом еще по толкучке прохаживались, как вы приказали, только ничего не обнаружили...

— Странно, странно,— задумчиво и вполголоса произнес Евгений Петрович.— Зачем же ему понадобилось делать передо мною вид, что ему ничего не известно?

— И то странно, Евгений Петрович,— живо подхватил Владимир,— ему-то откуда вызналось, что у нас покража? Мы ведь никому не сказывали. Да и откуда такая великая милость: «Чай пить ко мне,— говорит,— приходите». Никогда допрежь этого не бывало.

— Ну, что ж теперь-то думаете делать? — нетерпеливо спросил Самсонов.

— А вот вы уж нам дозвольте. Он у любовницы своей эти ночи ночевал. Нам это от дворника известно. Мы ее адрес знаем. Дозвольте у ней обыск сделать.

Минуту он колебался. Безупречная репутация Батурина исключала возможность какого бы то ни было подозрения, однако то, что рассказывали дворовые, если и не было прямой против него уликой, то, во всяком случае, оставить его свободным от подозрений уже не могло.

— Ну, хорошо,— сказал после краткого раздумья Самсонов.— Я вам не только позволю обыскать квартиру его любовницы, но дам вам в помощь полицейского, которого сейчас вытребую. Однако смотрите, если что не по-вашему будет, Батурин вас поедом съест за оскорбление. А от меня в таком случае защиты не ждите.

— Ну что ж, такова, видно, судьба наша, только дозвольте уж обыск-то сделать, Евгений Петрович.

— Ладно, ступайте.

«Как сильно в подлых людях чувство мести»,— устало подумал Самсонов после их ухода.

Над головой в верхних комнатах раздавались чьи-то спокойные тяжелые шаги.

Часы редкими падающими ударами пробили два раза.

III

На этот раз Владимир появился уже без всякой осторожности.

— Нашли, нашли! — задыхаясь, кричал он еще на пороге.

— Где нашли? Что?

— Все, Евгений Петрович, все, как есть все. У его любовницы было спрятано на чердаке да на печке. Она было нас и впускать не хотела да квартальный приказал, отворила. Ну уж и кричала, и срамила нас, и Михаилом Ивановичем стращала! Но мы все же во всех уголках перешарили,— нет ничего. Ну, думаем, плохо наше дело...

— Да постой, расскажи толком. Как же это так? Неужели Батурин? — все еще не веря этой новости, перебил его Самсонов.

— Вор, он самый и есть, грабитель, Евгений Петрович. Дрянь, думаем, дело совсем выходит, а делать нечего, уходить нужно, да спасибо Алексею. «Дай,— говорит,— последним делом на печке покопаюсь». А печка-то всего на четверть от потолка. Влез он на стул, да руку туда запустил, однако рукой до конца не достает. «Дай,— говорит,— какую ни на есть палочку». Стал он палочкой-то ковырять, что-то и отозвалось. Он пуще, да и вытащил копилку, что в кабинете на столе стояла, только разломанная она, да без денег. Ну уж я более ничего и дожидаться не стал. Оставил их там с квартальным, а сам скорее к вашей милости.

— Не может быть! — воскликнул пораженный Самсонов.

— Вот вам крест, Евгений Петрович!

И Владимир, выпучив на угол глаза, стал быстро креститься.

— Да постой ты,— раздраженно отмахнулся от него Евгений Петрович.— Как же это? Не может быть... Батурин, фаворит дяди, всем обеспеченный и облагодетель-

ствованный... Батурин, двадцать пять лет беспорочно прослуживший в полку...

В маленькой проходной буфетной, соединявшей столовую с залом, раздались неторопливые и спокойные шаги.

Евгений Петрович кинулся к двери.

Батурин, невозмутимый, как всегда, и серьезный, вошел в столовую.

— А вчера ты где ночевал? — чувствуя, что бешенство душит его, закричал Самсонов.

Легкая усмешка пробежала по лицу Батурина. И эта-то усмешка вместе с презрительным спокойствием больше всего бесила Евгения Петровича.

— Я ужо вам докладывал,— спокойно проговорил Батурин.— Знакомого провожал. И ту, то есть позапрошлую, ночь ночевал там же.

— Лжешь. В ту ночь ты был и воровал у нас на даче.

— Это неправда-с,— невозмутимо и не отводя взгляда, сказал Батурин.— Кто это вам сказал?

— А вот...

У Евгения Петровича не хватало слов. Спокойствие Батурина доводило его бешенство до последних пределов. Но в дневнике и раздраженности и несдержанности тоже были посвящены страницы, и он только крикнул глухим, срывающимся голосом:

— Запираться нечего. Все украденные вещи найдены у твоей любовницы.

У Батурина только усмешка еще шире раздвинула губы.

— Покажите мне их, коли найдены, где же они?

В этот самый момент под окном затарахтели извозчичьи дрожки. Владимир рванулся к окну.

— Приехали, Евгений Петрович, квартальный с людьми нашими. И все покраденное при них.

Батурин даже не пошевельнулся.

— Ну что, и теперь запираться будешь? — грозно обратился к нему Евгений Петрович.

— Нет,— отвечал тот, не отводя своего насмешливого и пристального взгляда.— Теперь уж запираться нечего. Украл так украл.

— Да что ты, каменный, что ли? — бросился к нему Самсонов.— Совесть, совесть куда ты дел, мерзавец? Своего же благодетеля обокрасть решился? Командира, с которым служил? Да знаешь ли ты, что теперь пойдешь на каторгу? И службу, и крест, и доброе имя не пожалел?!

— Что тут долго разговаривать,— усмехнулся развязно Батурин.— Коли попался, так уж, значит, так тому и быть. Отправляйте куда следует.

Евгений Петрович не мог уже больше сдержать себя.

— Долой с него все господское платье! — затопал он ногами, и шпоры, как бубенчики, залились несмолкающим веселым звоном.— Надеть на него какой-нибудь армяк, да отвести в часть. Слышите?

Дворовые, до сих пор стоявшие молча, как будто только того и ждали.

— Вот, Михаил Иванович, каких камердинеров себе заслужили,— издевались они, срывая с него сюртук и жилет.

Батурин с презрительной и недоброй усмешкой оглянулся кругом, пошевелил губами, как будто собирался что-то сказать, но так ничего и не сказал. Покорно позволил снять с себя платье, покорно дал связать руки и так же, как и всегда, только, может, высокомернее и презрительнее, поклонившись, со связанными руками, «на веревочке», позволил увести себя из комнаты.

Вся эта история расстроила и утомила Евгения Петровича.

Голова болела еще сильнее, чем утром. В комнате пахло краской и клеем. Ремонт еще не был закончен и только одна эта столовая успела приобрести свой обыкновенный вид.

Евгений Петрович приказал шире открыть окна и перенести сюда кушетку. Не раздеваясь, он прилег на ней.

Проснулся он поздно, когда за занавесями уже мерцали светлые майские сумерки. Дневной сон не освежил, только, как после долгой дороги, тяжестью налил тело.

По бодрым шагам, сопровождавшимся звоном шпор, и резкому, слегка хрипловатому (сорван командой) голосу, доносившемуся из дальних комнат, Самсонов догадался, что приехал дядя. Застегивая сюртук, он пошел ему навстречу.

— Ах, mon cher! [1] — закричал еще издали, увидев его, Николай Александрович.— Ты проснулся? А то я не хотел тебя тревожить, потише стараюсь. Ну как находишь? По-моему, неплохо. А?

Он широким жестом прошелся рукой по еще непросохшим шпалерам законченной только сегодня гостиной.

---

[1] Мой дорогой (*фр.*).

— А как вам нравится история с вашим протеже? Вы слышали? — целуя подставленную щеку, спросил племянник.

— Да, да. Черт знает какая пакость. И это, представь себе, чуть ли не самый образцовый мой унтер. Каков реприманд для твоего дядюшки! Теперь ведь государю всякую грязь докладывают. Вот недавно, можешь себе представить, какая произошла история. Князя Владимира Александровича Долгорукого знаешь? Ну, флигель-адъютант, полковник. Прямо подумать невозможно... Ну, да я тебе расскажу, а сейчас должен прямо сказать: я тобою недоволен. К чему ты поспешил вмешать в это дело полицию?

— А как же можно было поступить иначе?

— Как? Очень просто. Домашним способом на конюшню отправить, а потом — иди, милый, на все четыре стороны. Поверь, что никакого бы шума не было. А теперь, представь, каково будет мое положение, если это дойдет до государя?

И Николай Александрович брезгливо поморщился.

Племянник, совсем не сочувствуя, покачал головой.

— Ну, ну,— заспешил опять Исленьев,— что сделано, то сделано. А впрочем, все это пустое, не стоит и разговоров. Ты как думаешь, что бы поужинать?

— Как хотите, дядя,— кисло поморщился Самсонов.— Хотя я тоже сегодня с этой историей даже не обедал.

— Ну и отлично, авось буфета-то здесь не разграбили, что-нибудь да найдется,— распушил в улыбке усы Исленьев.

За столом, прихлебывая подогретое бургонское и чувствуя, как возвращается к нему его обычное,— дома всегда благодушное,— настроение, Николай Александрович вспомнил:

— Да, я хотел рассказать тебе про Долгорукого. Черт знает в какую отвратительную историю влопался бедный князь. И главное, ни сном ни духом не виноват.

Евгений Петрович довольно рассеянно прослушал историю.

За окнами такая же красная, как разлитое по стаканам вино, догорала заря. Ветер, ослабевший, словно изнемогая, проникал сквозь щели тяжелых занавесей, и тогда приятная прохлада касалась лица.

Евгений Петрович приподнял, поднес к глазам стакан, прищурившись, долго смотрел на наполнявшую его

рубиновую влагу, потом, осторожно опуская стакан на стол, с глубоким и тихим вздохом сказал:

— А я думаю, что все-таки вы, дядя, не правы. Государю должно быть известно, да и каждый из нас,— в доме ли у себя, в своем ли ведомстве,— должен знать решительно все. В этом корень благодетельной и мудрой власти. Батурин — это, конечно, мелочь. Я не по поводу этого, а смотреть так в принципе не должно.

— Парламент?! Нижняя палата?! Или нет, отдельный корпус жандармов, так, что ли? — расхохотался Исленьев.— Ах, вы, молодые, молодые...

И остановился.

Закончил через минуту с грустной усмешкой:

— Вот смотрю я на вас, нынешнюю молодежь, и грустно становится. И либералы-то вы какие-то непонятные. Если уж либеральничаете, то прямо по казенному образцу. За такой либерализм каждому бы следовало чин действительного статского и место в Сенате. Нет, из вашего поколения декабристам не выйти! — закончил он со вздохом.

IV

История, в которую, по словам Исленьева, так глупо попал «ни сном ни духом не виноватый» Долгорукий, имела место в Петербурге, возле Московской заставы, вечером первого июля, а третьего, то есть ровно через день, князь был дежурным флигель-адъютантом в Петергофе, где имел тогда свое летнее пребывание двор.

Солнце только чуть приподнялось над золоченою крышей большого дворца. В нижнем парке шумели каскады, влажные тени вытягивались на усыпанных гравием дорожках. Над морем висел густой туман, солнечный свет словно растворялся в нем, и туман, мутно серебрясь, казалось, закрывал какое-то другое солнце, которое светило с финского берега.

В эти часы в обоих парках, кроме птичьего неумолчного щебетанья да шума каскадов, невозможно было услышать ни одного звука. Каждый день в пять часов из парка удалялась вся посторонняя публика, запирались ворота, и так, запертый и охраняемый жандармским караулом, он оставался до двух часов следующего дня,

после какового времени ни разу не случалось, чтобы кто-либо из членов императорской фамилии совершал прогулку.

Говорили, что государь уже несколько дней был в дурном настроении. Предстояли маневры в Красном Селе, но никаких распоряжений к выезду туда Главной квартиры еще не последовало. Уже одно это могло служить недобрым признаком.

В таких случаях дежурный флигель-адъютант, попавшись не вовремя на глаза императору, легко мог сделаться причиной самого неумеренного гнева, а вместе с тем могло случиться и так, что ему придется выслушать строгий нагоняй, если не будет сопровождать императора на обычной утренней прогулке.

Князь Долгорукий занял позицию на приличном расстоянии от дворца, возле каменной балюстрады над «Самсоном» [1]. Отсюда можно было в один момент перебежать площадку, если это потребуется, и так же легко и незаметно скрыться внизу, если Николай быстро, прямым шагом, не глядя по сторонам, зашагает от подъезда.

В заливе на императорской яхте пробили склянки, и репетир у князя в кармане тихонько, словно порывался и не мог позвонить, прошипел шесть раз.

На «главном выходе» с тяжелым дребезжаньем распахнулись двери. Звук коротко отозвался и пропал в утренней тишине. От скрипа шагов на камне князь вздрогнул.

Николай поспешно сошел со ступеней, не сделав и двух шагов по площадке, остановился, полной грудью вдыхая свежий воздух. На нем был старый, без эполет, поношенный сюртук Семеновского полка и такая же фуражка, с поднятой сзади тульей. От тени, которую бросал козырек, лицо казалось не живым, с переливающейся под кожей кровью, а гладко прописанным красками — так равномерны были переходы оттенков и неподвижны черты. И только глаза, большие и темные, от одного взгляда которых у редкого не сжималось трепетно сердце, горели пронзительным огнем.

Император прямой, как всегда, но неторопливой на этот раз походкой зашагал к балюстраде.

— А, Долгорукий! Здравствуй! Молодец! Утро настолько прелестно, что было бы грешно его проспать.

---

[1] Фонтан в Петергофском парке.

И Николай быстро стал спускаться по лестнице вниз.

— Вот послушай,— заговорил он так, как будто меньше всего ему нужно было, чтобы его слушали.

Впрочем, Долгорукий особенно внимательно и не вслушивался. Император не интересовался мнением своего собеседника.

У домика Петра Великого Николай остановился.

— Я люблю отсюда смотреть на море,— сказал он, опускаясь на один из лежавших здесь валунов.— Ты знаешь, вот именно за это я ставлю Петергоф выше Версаля. Там все искусственно. А здесь — ну, ну хотя бы этот пейзаж. Нет, у моего великого предка решительно на все был широкий взгляд.

Вдруг он пристальным и острым взором взметнул к лицу Долгорукого.

— A propos! [1] Я и забыл,— проговорил Николай с усмешкой, не предвещавшей ничего хорошего.— Хорош ты, мальчик: оказывается, ты у меня людей давишь?

Застывшее в строгой почтительности лицо Долгорукого мгновенно преобразилось в изумленное.

— Как это, ваше величество? Я не понимаю.

— Что ты прикидываешься невинным? — уже повышая голос, крикнул Николай.— Ведь ты был третьего дня в Петербурге?

— Был, ваше величество.

Брови у императора шевельнулись и сошлись, проложив на лбу складки. Мгновенный, от которого вздрогнул угол рта, живчик сбежал по щеке.

«Первый в империи дворянин,— шевельнула усмешку знакомая и всегда раздражавшая мысль.— А струсил. И врет, врет. Холуй, хоть и Долгорукий».

— Князь Долгорукий,— закричал Николай, разгневанный и страшный,— вы забываете, что я не люблю вранья!

— Я не осмелился бы докладывать неправду вашему величеству.

— Что ж вам угодно? Чтобы я приказал произвести формальное следствие?

Глаза сощурились, смотрели презрительно и торжествующе.

— Как милости прошу, государь, в полной надежде,

---

[1] Кстати (*фр.*).

что оно оправдает меня в глазах вашего величества! — воскликнул Долгорукий.

— Хорошо,— отрывисто бросил Николай.— Хорошо. Но берегитесь, князь Долгорукий, не было бы вам худо.

И, отвернувшись, быстро отошел прочь.

— Немецкое отрепье! Бригадир! — задыхаясь от стыда и возмущения, пробормотал Долгорукий.— Меня, как школьника! Во лжи! Уличать вздумал, чухонский ублюдок!

Он сердито дернул, словно хотел оторвать, золотой аксельбант, но, сейчас же поправив его и усмехнувшись, в обход, чтобы не встретиться еще раз с царем, пошел к дворцу.

Слишком ли был раздражен на Долгорукого государь (хотя до сих пор он выказывал ему самое искреннее благоволение), или сам оскорбленный Долгорукий всеми доступными средствами толкал это дело, но собранная высочайшим повелением комиссия уже к девятому, когда император вернулся с маневров в Петергоф, представила ему свое заключение.

> По тщательному и всестороннему рассмотрению помянутого обстоятельства,—

доносила она:

> оказалось, что означенная женщина действительно была задавлена экипажем флигель-адъютанта князя Долгорукого.

— Знаете ли вы, князь Долгорукий,— даже привстав с кресел, закричал Николай,— что за такую вашу ложь вензеля могут слететь с ваших эполет? Да и сами эполеты могут последовать за вензелями.

Долгорукий покраснел до кончиков ушей, но глаз не отвел и ответил твердо:

— Ничего в этом деле не понимаю. Но только смею уверить ваше величество, как честный и благородный человек,— на предпоследнем слове князь сделал ударение,— что ничего подобного со мною не было.

У Николая сощурились глаза. Иронией он скрывал торжество, прорывавшееся в голосе:

— Так что же, второе следствие, что ли, прикажете назначить?

— Как будет угодно вашему величеству. Повторяю

и клянусь честью, что ничего подобного со мной не случалось.

По высочайшему повеленью было назначено второе следствие...

Вот эту-то вызвавшую при дворе много разговоров историю и рассказал своему племяннику Исленьев.

— А знаешь, mon cher, кто председатель в этой комиссии?

Самсонов смотрел равнодушно.

— Кто?

— Леонтий Васильевич Дубельт. Начальник штаба корпуса жандармов, правая рука самого Бенкендорфа, и сам, можно сказать, полу-Бенкендорф. В чем тут дело,— никто не понимает.

Но и это сообщение не вызвало в Евгении Петровиче никакого особого интереса.

V

Николай Павлович, в противоположность своему покойному брату, близких друзей не имел.

Единственный, кому он писал: «A vous pour la vie, votre tendrement affectionné...» «...A vous pour la vie de coeur et d'âme...» «Croyez à la tendre amitié... [1]» — Александр Христофорович Бенкендорф в своих ответных посланиях больше чем на выражение верноподданнической преданности и не осмелился бы. Да и сами письма Бенкендорфа скорее походили на почтительные донесения, чем на дружескую переписку. Впрочем, иных, вероятно, Николай Павлович и не потерпел бы.

Когда ему доложили, чуть ли не в первую неделю царствования, что Аракчеев откровенно хвастает и показывает всем письма покойного государя, писанные ему из Таганрога, Николай резко и твердо дважды повторил:

— Дурак! Какой дурак!

Потом еще раз быстро пробежал окончание скопированного письма:

> Неужели тебе не придет на мысль то крайнее беспокойство, в котором я должен находиться о тебе в такую важную минуту твоей жизни? —

---

[1] Ваш на всю жизнь, нежно вам преданный... Ваш на всю жизнь сердцем и душой... Верьте нежной дружбе... (*фр.*)

(— письмо написано было по получении известий об убийстве Минкиной [1] —)

> Грешно тебе забыть друга, любящего тебя столь искренно и так давно, и еще грешнее сомневаться в его участии о твоей печали! Убедительно тебя прошу, любезный друг: если сам не в силах, но прикажи меня подробно извещать на свой счет, я в сильном беспокойствии. Навек искренно любящий тебя Александр.

Брезгливая гримаса покривила лицо Николая Павловича.

— А этому дураку, шуту и ханже дайте понять, что видеть его я не желаю,— сказал он, отодвигая от себя бумажку.

Очевидно, первый «дурак» относился не к Аракчееву.

Но Аракчеев был единственный, кого постигла царская немилость раньше, чем окончилось следствие по делу декабристов.

Александровские генерал-адъютанты только переменили вензеля на эполетах — сохранили свои посты, но уже всем было ясно, что у нового царя готовятся свои люди.

В Польше, с открытием военных действий, русские дела шли не в пример плохо. Одно время даже вся гвардия под начальством государева брата оказалась отрезанной от остальной действующей армии. К главнокомандующему, герою последней турецкой войны, военному сподвижнику прошлого царствования, был прислан генерал-адъютант граф Орлов — медленно, но неуклонно всходившая звезда нового небосклона.

На следующий день по армии разнесся слух, что главнокомандующий заболел холерой (в войсках ее тогда еще не было), а еще через день,— что он умер. Солдаты говорили, что Орлов приезжал к Дибичу с приказанием умереть.

На следующее утро после возвращения Орлова в Петербург камердинер застал государя спящим, стоя на коленях, с головой, прислоненной к краю железной койки.

— Вот как я вчера замолился,— проговорил он вино-

---

[1] Любовница Аракчеева; была зарезана своими дворовыми, доведенными до отчаяния ее зверствами.

вато и сконфуженно, когда тот решился его разбудить.

В одной жандармской четвертушке, которые попадали к нему на стол с доклада Бенкендорфа, доносилось, что какой-то семеновский подпоручик по окончании развода имел дерзость высказать, что государь не только плохой ездок, но он даже боится горячей лошади.

У Бенкендорфа даже судорога пробежала по лицу, когда он увидел, какую мучительную и жалкую гримасу старался подавить его монарх. Николай, торопливо, прорывая карандашом бумагу, писал в углу: «У б р а т ь п о д а л ь ш е».

Это слово два раза подчеркнул. Подумал,— карандаш оставался на бумаге,— прибавил: «Д о л о ж и т ь п о д р о б н о: к т о? о т к у д а? с к е м и г д е б ы в а е т? к а к и х м ы с л е й в о о б щ е?»

Последнее опять подчеркнул два раза.

Бенкендорф, стараясь не смотреть в глаза императору, принял из рук бумажку.

Дерзкий подпоручик был убран очень далеко. На главную конюшню без огласки было дано строгое предписание раз навсегда подавать государю под верх только самых смирных и хорошо выезженных лошадей. За тем же, когда лошади бывали не от двора, осторожно, из-под руки, взялся следить сам Бенкендорф, не решаясь никому доверить государевой тайны.

Николай считал себя незыблемым и чуть ли не единственным авторитетом во всех вопросах кавалерийской службы. Карьера одного кавалерийского генерала разом сломилась на возражениях на царские комментарии к книге Рошеймона. Формирование отдельного драгунского корпуса из полков состава, почти равного пехотным, несмотря на все возражения даже приближенных и доверенных, унесло горы золота, стоило жизни тысячам людей и кончилось ничем. Всем возражавшим и доказывавшим бессмысленность этой затеи следовал неизменный ответ:

— Ты не понимаешь. Это будет совсем новый род оружия.

Лицо у царя тогда принимало выражение самодовольного превосходства.

Но не только в вопросах кавалерийской службы Николай считал себя непогрешимым.

Розыск по делу декабристов в первые же месяцы царствования разрушил и перекроил привычное миросо-

зерцание бригадного генерала. Шесть месяцев грызло сомнение:

Самодержец он или нет?

Его или не его империя?

Через шесть месяцев эти сомнения казались пустым ночным страхом. Никто лучше его не мог знать, что нужно делать.

Верховная следственная комиссия работала медленно. С первого же дня он понял: того, что нужно ему, что мучает и не отпускает ни на минуту, она не откроет никогда.

Этих он уже не боялся. Они в руках. Из петропавловских казематов их не освободит никакой мятеж. А вот другие! Каждый день привозили все новых и новых. Но разве всю Россию перевезешь?

На заполированных шагом, как паркет, плацах маршировали, развертывались и свертывались батальоны, по изрытым полям скакали лихие эскадроны. Ими командуют, их учат. В каждом городе, в каждом городишке. От зеленых, синих, пестрых мундиров, если только попробовать их себе представить, рябило в глазах. А неслужащие дворяне? А вольные баловни, потомки бабкиных фаворитов, которых не сумели ущемить ни отец, ни брат? А строптивый дух вольнодумного и нечестивого века? А чужеземная зараза, которую занесли походы?

Это ли открыть верховной комиссии?

Он взялся за дело сам.

С одними был грозен и строг, с другими — ласков и милостив. Одним грозил, взывал к чести и долгу, других запугивал, с третьими — как товарищ, как друг, как единомышленник — взывал к самому лучшему, к самым нежнейшим, самым заветным чувствам и мыслям. И одни падали на колени, противно и жалко каялись и выдавали других, предательством старались заслужить себе прощенье! Другие, как на исповеди, раскрывали душу и верили каждому слову; третьи, жалко, подло трепеща, унижались и молили.

От зеленых, синих, пестрых мундиров перестало рябить в глазах. Партикулярные, шептавшиеся по углам, перестали занимать воображение.

Он успокоился.

На заре тринадцатого июля, не позднее четырех часов, должны были покончить с теми пятью, главными.

На двенадцатое в Петергофе был назначен ночной праздник.

Расцвеченная фейерверками, переливавшаяся разноцветными струями фонтанов ночь расползлась, выцвела, словно ее, как ветхую ткань, протравило туманом. Теперь, когда от сердца отлегла такая тяжесть, необыкновенно приятно и сладко было целовать в беседке чьи-то покорно отдававшиеся ему губы. Но вдруг царь выпрямился, оттолкнул свою даму и отошел в угол. Ему показалось, что он слышит шаги жены. Но это только показалось. Он усмехнулся и снова выступил из тени. Приложенный к уху репетир глухо прошипел четыре.

«Первое сословие» больше не страшило. От прапорщика до генерала, от владевшего чуть ли не губернией магната до мелкопоместного дворянчика,— все они были в руках. Он знал самое главное. Ключ к их сокровенным помыслам найден. И отец, наверное, не кричал бы по ночам от дикого страха, и брат не искал бы покоя и защиты в дружбе Аракчеева или у кликушествующих богомолиц, если бы и они знали это.

Брата, старшего, покойного Александра он втайне всегда ненавидел.

Из Таганрога в Варшаву и из Варшавы в Петербург скакали фельдъегери, разыскивая, кому бы вручить пакет, адресованный «его императорскому величеству в собственные руки». Чего это там в Варшаве выдумал Константин? Ломается, дразнит его и всех вместе или на самом деле не хочет царствовать? Он метался в тоске — будет или не будет на троне: «Воля божия и приговор братний надо мной свершается. 14-го числа я буду государь или мертв. Что во мне происходит, описать нельзя; вы, верно, надо мной сжалитесь,— да, мы все несчастные,— но нет несчастливее меня!..» Брата он ненавидел тогда больше, чем когда-либо. Но уже тогда устанавливал своеобразный культ умершего деспота.

Отца,— отца он просто никогда не считал своим отцом. Но существовали слова: «династия», «божьей милостью», «священное начало монархии», действовал изданный этим,— не его,— отцом «закон о престолонаследии»,— он требовал, чтобы его называли Николай Павлович, он молился о «почивающем в бозе родителе нашем».

Эту «остриженную и взлысистую медузу», тогда еще без усов, видел мальчик Герцен въезжавшей в Москву для коронования.

Он ехал верхом возле кареты, в которой сидели вдовствующая императрица и молодая. Он был красив, но красота его обдавала холодом. Нет лица, которое бы так беспощадно обличало характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад; нижняя челюсть, развитая за счет черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, нежели чувственности. Но главное — глаза без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние глаза... ...В Ватикане есть новая галерея, в которой, кажется, Пий VII собрал огромное количество статуй, бюстов, статуэток, вырытых в Риме и его окрестностях. Вся история римского падения выражена тут бровями, лбами, зубами; от дочерей Августа до Поппеи матроны успели превратиться в лореток, и тип лоретки побеждает и остается. Мужской тип, перейдя, так сказать, самого себя в Антиное и Гермафродите, двоится: с одной стороны, плотское и нравственное падение, загрязненные черты развратом и обжорством, кровью и всем на свете,— безо лба, исхудавшие, как у гетеры Гелиогабала или с опущенными щеками, как у Гальбы; последний тип чудесно воспроизвелся в неаполитанском короле; но есть и другой, это — тип военачальников, в которых вымерло все гражданское, все человеческое, и осталась одна страсть — повелевать; ум узок, сердца совсем нет; это — монахи властолюбия, в их чертах видна сила и суровая воля. Таковы гвардейские и армейские императоры, которых крамольные легионеры ставили на часы к империи. В их-то числе я нашел много голов, похожих на Николая, когда он был без усов...»

VI

Его не ставили на часы крамольные легионеры. Он встал сам. Охранять Империю — от всего.

«Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге, после Павла, прочно замкнулась четырнадцатым декабря. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем (то есть солдатской лямкой) и голубым (по цвету мундира) Бенкендорфом».

За литературу он взялся сейчас же после расправы над декабристами, раньше, чем успел даже откороноваться. Первою жертвою был Полежаев. Герцен не мог поверить, что, ссылая Полежаева в солдатскую каторгу, вычеркивая навсегда из жизни, Николай поцеловал его в лоб: так невероятен казался ему этот рассказ о поцелуе. Полежаев клялся, что это правда. Николай подошел к нему, положил руку на плечо и сказал: «От тебя зависит твоя судьба; если я забуду, ты можешь писать»,— поцеловал в лоб. Полежаев пробовал писать — ответа не было. За попытку лично подать просьбу, за побег из полка его заковали, бросили в тюрьму, приговорили прогнать сквозь строй. Полежаев в тюрьме пытался покончить с собою. Николай отменил наказание, но от белого ремня не освободил. Освободила смерть. Он умер в солдатской больнице от жесточайшей чахотки. Белый ремень он носил двенадцать лет.

С Полежаевым разговор был краток, резолюция: Полежаев был еще только начинавшим примечаться поэтом и Полежаев был даже не дворянин — студент, приписанный к мещанскому сословию «незаконный сын».

Сложнее, труднее было с Пушкиным. О сосланном Пушкине ему намекали не раз еще до коронации. Он улыбался всезнающей надменной улыбкой.

— Я примирю его с собой.

На пятый день после коронации состоялось «высочайшая резолюция» о привозе поэта в Москву «под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта».

Через месяц после беседы с поэтом в Москве, как-то на интимном вечере в Аничковом, обмолвился с самодовольной улыбкой:

— Пушкин будет моим хорошим подданным. Теперешние его стихи — залог тому. Надо уметь разгадать человеческое сердце.

Указ об учреждении Третьего отделения собственной его величества канцелярии был дан тоже вслед за коронацией.

Преданный Бенкендорф, без слов умевший понимать волю своего монарха, все же попросил письменного указа, как ему действовать.

Тогда Николай Павлович, мечтательно и кротко смотря ему в глаза, взял со стола носовой платок, протянул его со словами:

— На. Им ты утрешь слезы.

И улыбнулся грустно.

Улыбнулся и Бенкендорф.

Бенкендорф вообще говорил мало. Речь его, особенно к подчиненным, походила на побывавшее в воде письмо. Одни слова размокли и исчезли бесследно, другие без всякой связи с предыдущими еще проступали на бумаге. Поцыкивая и жуя губами, он ронял их с паузами, из которых каждая длилась не менее минуты. Для того чтобы разгадать, что он хотел сказать, требовалось тоже искусство.

С царским платком в руках, время от времени останавливаясь на нем взглядом и как бы черпая из него эти разорванные клочки мысли, Бенкендорф говорил некоему полковнику Дубельту:

— ...Утереть слезы... Это хорошо... Рыцарски и благочестиво... Чтобы точно исполнялись законы, пресекать злоупотребления, следить... и следить... из-под руки... чище идея, крепче само существо. Папы тоже... Ad maiorem dei gloriam [1]... испанец Игнатий Лойола, испанец... В вас ведь, Леонтий Васильевич, тоже испанская кровь?

Бенкендорф пожевал губами, походил по комнате. Потом, останавливаясь против Дубельта, коротко сказал:

— Нужны люди, Леонтий Васильевич. Вам нужны. Себе я уже нашел. Например — Вас.

VII

В императоры Николая Павловича не готовили.

Старшие братья, Александр и Константин, жили, как будто раз навсегда позабыв, что они, то есть Николай и младший — Михаил, существуют на свете.

Просвещенные иностранные преподаватели, которыми покойная бабка окружала тех, никак не потревожили ни детства, ни юности будущего самодержца. Зато свои, в густых эполетах, воспитатели сумели не только преподать, но и привить превыше всего на свете любовь к фрунту, муштре, мудрости пришитых по мерке пуговиц и журавлиного, тоже на аршин меренного, шага.

Только в 1816, когда Николаю шел уже двадцатый год, старший брат как-то случайно вспомнил, что в образовании младших как будто чего-то и не хватает, и наспех отправил их в заграничное путешествие. Ни пристрастий, ни направления ума обоих великих князей оно не изменило.

---

[1] К большей славе бога (*лат.*).

Николай был твердо убежден, что он неплохой бригадный генерал. Его не любили солдаты, ненавидело офицерство, но его бригада по фрунту и порядку почиталась образцовой для всей гвардии; она занимала его больше, чем все новости и интересы придворного и политического дня вместе взятые, у воображения не хватало силы представить что-либо иное, кроме муштры и шагистики, и если было положение, был человек, которому он мог завидовать, так это только второй брат, Константин.

Бригада, дивизия, гвардейский корпус, пожалуй даже наместничество в Польше,— куда уже ни шло — и наместничество, если в командовании будет вся гвардия, а сам, хоть и в Варшаве, но наверное будешь первым, а не вторым, и даже не вторым, а бог знает каким в этом осточертевшем Петербурге.

Но честолюбию бригадного генерала было поставлено слишком большое испытание.

Морозный декабрьский день леденел на окнах. Туман спрятал от глаз даже ближайшие дома. Дольше всего виднелся шпиль Петропавловского собора, но и его стерла молочная, со всех сторон ползущая муть. Казалось, остался и существует один только дворец: все остальное — город, завтрашний день, Россию — поглотил и скрыл туман.

Во дворце метались люди. Растерянные и испуганные генералы подбегали к нему, заплетающимся языком просили распоряжений, приказа. Он не слышал, не слушал, не понимал.

Будто сердце стало железным и стучало таким оглушительным звоном, звенело в ушах:

— Ваше величество...

— Ваше величество...

— Ваше величество...

— Ваше величество...

Только одно это обращение и улавливал слух. То, о чем говорилось, то, что хотят от него, то, что нужно ему сейчас сделать,— пропадало, улетало из сознания, оставляя в сердце леденящий страх и нетерпение.

«Скорей бы, скорей бы!»

Государь, Grand souverain [1]. Император. Ваше величество,— словно звоном заткнуло уши.

---

[1] Великий государь (*фр.*).

— Если уж такова твоя воля, господи...

Он со вздохом поднялся с кресла.

«Перекреститься бы. Вот так, широко, чтобы все видели, как на церковном параде. Да разве эта сволочь поймет! И твердости, и твердости обычной нет в движениях».

От бессилья, от досады скрипнули зубы.

Он и Россию хотел бы получить, как с инспекторского смотра, когда никто не решится заявить претензий. А тут...

«...Не хотят?! Его?! Бунт».

Сжал кулаки, но только пустым, нестрашным гневом сверкнули глаза.

Смятенные, растерянные генералы все еще толпились в зале. В окне редел туман, выводя, как в волшебном фонаре, бледные, расплывающиеся очертания зданий. И все еще подбегали, словно торопил он их, словно этого только он и ждал,— спешили сообщить.

— Ваше величество, в Измайловском...

— Гренадеры...

— Московский... все четыре батальона...

— Гвардейский экипаж присоединился к мятежникам.

— С ним много людей из сорок второго флотского.

Нетерпеливо, словно все давно уже ему было известно, отмахнулся. К окну, в туман, наметивший контуры зданий, устремил тревожный, мятущийся взгляд.

«Кто, кто поможет? На кого положиться? Кто вдохнет мужество? Что сделать-то? В резервную колонну! Да разве послушают...»

А только, только ведь это и нужно. Тогда и без инспекторского смотра принял бы. После, приказом по отдельным частям:

— Составить акты принятия.

«Скорей бы! Скорей бы кончилось! Господи!»

Кто-то осторожно, боясь, должно быть, что и в этом не может быть правды, шепнул:

— Ваше величество, на преображенцев можно положиться. Первый взвод вашей роты присягнул вчера в карауле.

Он посмотрел в глаза говорившему. По глазам увидел, что подсказывает, а сам не верит, что послушается, решится.

Кто-то еще, торопясь, доложил:

— Граф Орлов ожидает распоряжения.

Тупая, неистовая злоба подступала к сердцу.

Уже два полка, они говорят, за него; они настаивают, они хотят от него слов, дела.

Перед глазами вдруг так ясно, как будто он все утро думал только о том, проступила картина, сохранившаяся в памяти от детства.

Вот здесь же, в этом дворце, на покрытом парчою помосте стоял гроб.

Его, четырехлетнего малютку, под мышки подняли проститься с покойником. Из золота, из кружев, из цветов, словно оно утонуло в них, показалось на секунду синее, курносое лицо. Кончик языка высовывался изо рта, распухший и тоже посинелый.

А брат?

Он с отвращением вспомнил сейчас всегда противное, не мужское и не бабье, какое-то без пола и возраста лицо. Всегда с улыбкой, приветливой и ласковой, а его от этой улыбки тошнило,— казалось, что брат прячет за нею смертельное отчаяние и ужас.

— Je reconnais en vous mon sang! Vous êtes mon digne fils [1],— как говорили, обращался к этому кастрату в отдаленные времена отец.

«Неужели и во мне эта паршивая, неизвестно кем влитая кровь? — с отвращением и тоской подумал Николай Павлович.— Вон у бабки не сорвалось. Решилась».

— Ваше величество,— терзая его, шепнул кто-то, наклоняясь к самому уху.— Решайтесь. Немыслимо и погибельно дальнейшее промедление.

Если б он мог решиться!

Еще раз, зная наверное, что не встретит ни одного взгляда, который помог бы, вдохнул в сердце мужество, глазами обвел зал. И вдруг...

Михаил Павлович приблизился к нему, положил на плечо руку.

— Mon frère,— проговорил он тихо и твердо.— L'ennui prolongé est abrutissant et mortel [2].

Николай с минуту смотрел на брата, как на чудо.

Этому можно верить. Этот не предаст, не оставит. Брат. Не такой, как те, курносые, белобрысые,— Миша, друг и товарищ детства, всем — от лица до голоса и жеста — похожий на него.

---

[1] Я узнаю в вас мою кровь! Вы мой достойный сын (*фр.*).

[2] Брат мой, продолжительная тоска неразумна и смертельна (*фр.*).

Он решился.

На улице туман разредился совсем. Падал крупными и редкими хлопьями снег. Караул выбежал в ружье. Заметил только, что саперы, не поглядел, как это делал всегда, по форме ли одет офицер и как быстро построились. Он даже не узнал своего голоса, так неуверенно и хрипло заговорил с ними:

— ...Вам доверяю... сына... берегите наследника...

Караул рявкнул...

— Рады стараться, ваше императорское...

Нет, нет, не разобрал: величество или высочество, только от этой отчетливой быстроты что-то сдавило глотку, дернулся угол рта. Снежинки мелькали, плясали в воздухе. Казалось, их раскидывала трескучая барабанная дробь. Из белого блесточного покрова навстречу ему вырывалась какая-то часть. Кто-то подвел коня. Машинально взял стремя и разобрал повод. В глазах мелькали снежинки. Рота, спешившая ему навстречу, шла беспорядочным шагом. Капитан, бежавший впереди ее — узнать бы фамилию: плох, ох, как плох, но, видно, предан,— на ходу подал команду. Кажется, его не послушались.

И тогда Николай, опять не узнавая своего голоса, наклоняясь с коня и пропуская один за другим мелькавшие перед ним ряды запорошенных снегом киверов, закричал:

— Преображенцы, хотите меня государем?

Иначе как спросить? Разве солдат спрашивают? В первый раз — и пусть будет в последний.

— Желаем, желаем,— нестройно и вразбивку послышалось в ответ.

Казалось, это вернуло мужество бежавшему впереди капитану. Он гаркнул:

— Смирно-о-о!

Команду приняли. Подтянулись ряды. Как чугунный, запечатал по мерзлой земле шаг.

— Государю императору...

От раскатистого, громкого «ура» Николай Павлович вздрогнул, как будто в него полетели комья снега.

Вслед за бодро шагавшей «государевой», отныне его ротой, бросив повод, проехал он шагом на площадь Сената.

Поздно вечером из дворца были видны костры на Неве. Это рубили проруби и в них свозили трупы. У костров на улице грелись патрули. Во дворце всю

ночь горел свет. Император всю ночь допрашивал арестованных, которых доставляли прямо сюда...

Не так-то просто было пройти через эти первые месяцы.

Незнакомое и странное смотрело на Николая Павловича лицо, когда он подходил к зеркалу, но это лицо ему нравилось. Тогда его выражение не было постоянным, только через шесть месяцев, когда было покончено с декабристами, оно приняло на себя маску грозной и невозмутимой величественности. В гневе у Николая темнели глаза, тяжелым и страшным становился взгляд — само лицо, его античные, словно выписанные на музейном холсте черты искажались редко.

То там, то здесь в империи вспыхивали костры мятежей: бунтовались помещичьи и казенные крестьяне, солдаты в военных поселениях, работный люд на казенных рудниках и заводах. Какие-то безумцы дерзали осуждать его право. Кавказ упорно противоборствовал русским завоевателям. Раскольники не признавали его царем, на ектении в их молельнях возглашалось здравие императору Александру. В первый же год царствования были пойманы и уличены три солдата, сеявшие в народе слух, что «император-де не настоящий, посадили генералы на престол беглого солдата, а законный государь, Александр Павлович, жив и скрывается в надежном месте, только объявиться ему сейчас невозможно, потому что хотел он дать народу волю, за то его царства и лишили».

Николай только морщился, когда ему докладывали о том, другом или о третьем. Темнели и делались страшными глаза.

На Кавказ один за другим уходили из империи корпуса, на Поволжье чиновники разрушали и опечатывали раскольничьи скиты, насмерть забивали шпицрутенами дерзавших усомниться в его царском происхождении. Но спокойнее от этого не делалось.

Этих, окружавших его, с трепетной готовностью кидавшихся исполнять каждое его приказание, он не боялся. Что ж, если что и таят? Пусть. Труднее было проникнуть в сердечные глубины Рылеева с братьей, а вот проникнул, раскрыл, победил. Страшило другое. У тех вот как выведать — многомиллионных, загадочных, непонятных. Они кричали ему «ура», бежали за экипажем, когда он появлялся на улице, и они же кидали в него поленьями и кирпичами с лесов Исаакиевского

собора четырнадцатого декабря. В двадцать девятом году, когда короновался короной польской, ему тоже кричали «виват» и толпами запрудили улицы. Через полтора года те же варшавские ремесленники, вместе с мужичьем, вырезывали его гарнизоны, ломали, выбрасывали из присутственных мест его портреты, кричали:

— Hanba! Na latarnie! Niechaj ginie! [1]

— Государя любит простой народ,— говорили при дворе.— Он умеет, как никто, разгадать душу простолюдина.

Но сам-то Николай Павлович знал и знал хорошо, что это-то как раз ему и закрыто. Он мог усмирить одним жестом холерный бунт, окриком повернуть в панике разбегающуюся толпу, но смотреть один на один в глаза простому солдату он не решился бы дольше одного короткого мгновения. Годы и жизнь открыли ему, какой промежуток времени может действовать, обдавать трепетным страхом его тяжелый взгляд.

Тех он презирал, этих ненавидел и боялся.

Докладывая о бунте в Новгородском округе военных поселений, Бенкендорф очень осторожно, только намеком коснулся имевшегося у него жандармского донесения. В нем говорилось, что находящийся с бунтовщиками вместе некий кантонист народной молвой считается за побочного сына покойного императора Александра, и те так его и прозывают «царёныш». Причина этой молвы якобы такова, что мать сего кантониста, поселянка Новогородского же округа, быв некогда в случае у графа Аракчеева, удостоилась обратить на себя внимание покойного государя. Все это Бенкендорф изложил весьма и весьма осторожно, а изложив, даже перестал шевелить губами, зажав меж них, на всякий случай, кончик языка. Он ждал вспышки обычного в таких случаях гнева, молниеносного, уничтожающего взгляда. Но царь только усмехнулся многозначительно и весело. Потом поморщился.

— Вранье.

Среди дел предыдущего царствования ему как-то попалась переписка по поводу неудачного сватовства его сестры, великой княжны Елены Павловны, за императора французов. О настроении московского общества в отношении к сему факту почт-директор Ключарев доносил тогдашнему министру полиции:

---

[1] Долой! На фонарь! Пусть сгинет! (*пол.*)

Расположение мысли о нашей великой княжне, ежели б жребий пал быть ей невестой императора Наполеона,— имею долг неуклонно представить вам со всею искренностью, что ни один голос, в краткое время, как я сказал, существования сего слуха не был приятным. Причина — недоверенность, далеко распространенная к намеревающемуся вступить в новый брак. Даже говорили, что Жозефина неплодна, а может быть, он сам таков, а потому, как прежде случалось, например, с Генрихом VIII и царем Иваном Васильевичем и прочими, последует развод за разводом по причине одинаковой. Что касается до первого в государстве сословия, оно может рассуждать глубже политически, хотя и тут, думаю, не найдется много так мыслящих, а впрочем, по уважительному моему замечанию, причтут действия необходимости и угождению. Я не пропущу, если возобновятся слухи относительно нашей великой княжны, возможное узнать и уведомить в подробности вас. А теперь все замолкло, и, кажется, очень в покойном ожидании.

Можно приметить, что разводом дамы очень недовольны.

Улыбка ироническая и веселая заиграла на губах, когда Николай Павлович прочел это донесение.

— «А может, он и сам таков». Да, может,— а король римский, а граф Валевский [1], благоденствующий поныне у меня в Варшаве? Ведь похож-то как! Медаль его чеканки.

Губы кривились все больше и больше.

— Вот этот белобрысый кастрат, так это верно. Э-э, не стоило выведывать и у Нарышкиной...

С брезгливой гримасой Николай Павлович отодвинул от себя папку. Больше уже не требовались во дворец дела, касавшиеся матримониальной дипломатии братнего царствования. Давнишняя и презрительная ненависть к нему самому нашла наконец свое выражение.

При встрече траурной процессии с его телом Николай Павлович жестом остановил катафалк, спешился, на глазах тысячной толпы опустился на колени прямо

---

[1] Побочный сын Наполеона I, проживавший в 30-х годах в Варшаве.

в снег. Чувство какого-то гадливого отвращения к самому себе, к этой лицемерной, ничтожной позе охватило его. Он чувствовал, как от подбородка до висков лицо заливает краска возмущения и стыда. Приложил к глазам платок. В толпе пронесся почтительный шепот. Безветренный морозный день сделал его таким явственным, как будто ему на ухо докладывали об удивлении и восхищении его порывом. Он не знал, что нужно делать дальше. Коленями сквозь лосины чувствовал ледяную жесткость январского снега. Ноги ломило. Отвернулся, смотря в ту сторону, где на сизом небе редкой рассыпанной стаей летели черные галки и мутно серебрились пустые поля, поднялся с колен, не оборачиваясь, прошел к ординарцу, державшему лошадь. Обернуться было противно и стыдно.

Пять лет спустя, в бане, в старом Зимнем дворце, парил его древний, как эта жаркая сырость, банщик.

— А ну-ка, старик, поддай.

Пар густым непроходимым облаком наполнял всю баню. Бледными радужными искрами просвечивали в нем огоньки свечей. Пот, горячий, как кипяток, катился по телу, а император все требовал и требовал «поддать».

— Ох, ваше величество, и можешь же ты париться! — кряхтя над неизвестно какой по счету шайкой, вымолвил банщик.

— А что?

— Да как же, третьего царя послал господь парить, а этого видеть еще не приходилось. Пар любишь: русский человек.

Николай тревожно насторожился.

— Это к чему болтаешь?

— Мыть ваше величество — сердце радуется,— не спеша и с задышкой заговорил старик.— Эно, тело какое! Пару не боишься, значит, и страстью своею вполне владеть можешь. Богатырь... эх, да что говорить: настоящих людей наделаешь...

Старик чего-то не договаривал, но и от сказанного, больше чем от жаркого пара, чем от этих так любовно и нежаще скользивших в мыльной пене по его телу рук, морящая сладкая истома, как дурман, подступила к голове.

В 1837 году Николай писал в одном письме Бенкендорфу:

«Aujourd' hui tout le train habituel: fort bonne parade de la garde à cheval, diner, et ce soir il y aura bal à

Monplaisir. En voilà vraiment assez pour mes 41 ans et pardessus tout cela, une pluie battante [1]».

Он мог бы еще похвастаться, что в это же время, невзирая на свои сорок лет, как двадцатилетний поручик, не перестает волочиться и изнывает от влюбленности, не оставляя в покое ни одной хорошенькой женщины. Желанием император дорожил больше, чем его осуществлением. Влюбляясь, изменяя жене, с искусством, которому позавидовала бы любая ветреница, он переживал волшебное, ни с чем не сравнимое чувство. Как будто слетали с плеч годы, не тяготили сердце никакие тайные мысли и подозрения. Льстило и толкало к каждому новому увлечению еще и другое. Он знал — и в этом крылось тоже ни с чем не сравнимое наслаждение,— что к нему тянутся, ему отдаются восторженно и ревниво не только потому, что он император всероссийский, а и потому, что красив, строен, умеет внушить и любовь и восторг к себе.

Любуясь собой и перебирая в памяти ощущения, которые оставались от той или другой встречи, он в разнице поступков и приемов как будто разгадывал причину всегда удивлявшего несходства со старшими братьями.

Раз в Петергофе во время утренней прогулки вслух вырвалась фраза:

— Если бы я мог проникнуть в тайну собственного рождения, я бы основал новую династию.

В парке он был совершенно один, но после этого три дня испытующе и подозрительно присматривался к лицам придворных. Казалось, что все же кто-то подслушал его, и в эти дни больше, чем всегда, придирался к тем из них, которые имели несчастье кичиться отменной чистотой своего рода. В своих симпатиях всегда тяготел к фамилиям неславным и неизвестным. Мучительное подозрение о темной неизвестности собственного происхождения не оставляло его никогда. Постоянно страшило, что окружающие смогут прочесть это в сердце. И вот, скрывая от всех, стараясь скрыть и от собственных глаз, как страшную, позорную слабость, в конце концов убедил, заставил поверить и себя, что он и Россия, он и держава — синонимы, нераздельное общее, видел в

[1] Сегодня все идет обычным чередом: очень хороший парад конной гвардии, обед и вечером бал в Монплезире. Правда, это достаточно для моего 41-го года и ко всему этому — проливной дождь *(фр.)*.

себе живое воплощение грозной и величественной идеи монарха в этот пустой и развращенный век.

На докладах нетерпеливым жестом отстранял, если ему пытались выложить на стол карту той или иной части его владений.

— Не нужно. Знаю и так. Это у меня в голове.

Не отдернул руки, когда законный монарх, молодой австрийский император, припал к ней с благодарным поцелуем. Незаконного, Луи-Наполеона, во всю жизнь ни разу не назвал «mon frère», как это принято в переписке между монархами.

В 1849 году, в Варшаве, вскоре после венгерского похода, вернувшего Австрии восставшую половину империи, бурно и долго распекал по какому-то поводу одного из своих генералов. Тот выскочил из кабинета весь красный и возмущенный. Обида вырвала из сердца пророческую фразу:

— Все кончено. С такими понятиями, с такою уверенностью в собственной непогрешимости можно вести свою державу только к гибели.

И он ее привел, завещав, умирая, сыну совершенно бессмысленное:

— Пусть не любят, только б боялись. Не дай постичь им, забраться к тебе в сердце. Тогда России не быть.

VII

— Блазонировать, то есть описать герб словами! Но для этого нужно хоть немного быть знакомой с геральдической терминологией. В сущности, я бы мог доказать тебе, что у Романовых, хотя наш grand souverain и считает себя первым дворянином, герба, в строго геральдическом смысле, нет. То, что они считают своим гербом, совершенно грубая и плебейская подделка. Мифический рыцарь Гланда Камбила, буде такой и существовал (я не знаю, откуда они его выкопали), какое же он имеет отношение ну хотя бы к теперешнему императору? Ведь уже в Павле не было ни капли романовской крови. Мы, Долгорукие, Наташа, может быть, единственные вообще в империи, кто может похвастаться совершенной чистотой своего герба. А это существенно, очень существенно, Наташа...

Князь вдруг замолк.

В комнату неслышно вошел лакей, приблизился к чайному столику, безмолвно спросил глазами — можно ли убирать, и так же неслышно удалился.

— Довольно странные приемы у твоих людей появляться, когда их не кличут,— улыбнувшись, заметила сестра.

— Что поделаешь,— такова вся дворцовая прислуга: развязна, упряма, самостоятельна. Своих я всех отослал от себя. После этой истории, право, начинаешь бояться, когда тебе прислуживают твои крепостные. Эх, время, время! Флигель-адъютанту грозят разжалованием за вранье его пьяного кучера.

И князь притворно вздохнул.

— Но я все-таки ничего не понимаю,— быстро заговорила Наташа.— Почему ты не попросишь отставки? Ведь это же оскорбление. Это непереносимо, а ты сидишь, как арестованный, как будто и в самом деле в чем виноват...

— Меня никто не задерживает,— устало перебил ее Долгорукий.— Я сам не хочу выезжать. Чего доброго, еще подумают, что я подкупаю следствие.

— Как это все глупо и противно! — воскликнула она.— И только подумать, что десять лет назад люди дерзали мечтать о какой-то свободе, а теперь — кроме смирения тебе нечем и ответить на оскорбление.

Князь, чуть-чуть поморщившись, рассеянно перевел глаза от ее лица к окну.

В густой зелени парка проблескивало вечернее солнце. Золотая крыша дворца казалась озером расплавленного и сверкающего металла, окруженного пышной зеленью. Где-то за пределами этого блеска и этой зелени хрипло и нескладно начинала и срывалась все на одной и той же ноте труба.

Князь отвернулся от окна.

— Местопребывание двора, русский Версаль! — проговорил он брезгливо.— Упражнения музыкантской команды услаждают слух русского императора. Очевидно, с таким расчетом и казарму построили, в двух шагах от дворца... А что? А что? — вдруг, прерывая себя, заговорил он другим, раздраженным и резким тоном.— Ты хочешь, чтоб я его на дуэль вызвал, что ли? Проситься в отставку, делать историю,— нет, уволь, пожалуйста, я еще молод и не имею ни малейшего желания ломать карьеру. Вон Мамонова объявили сумасшедшим и учредили опеку. Так могут поступить и с любым. А впрочем,

все это глупо, тошно и отвратительно: и декабристы, и Николай, и вся моя история.

— А что же не глупо?

Протяжный и низкий звук, которым непрестанно тревожилась тишина за окном, вдруг сорвался высокой, пронзительной нотой. Князь, морщась, словно от зубной боли, заткнул пальцами уши.

— Не знаю, не знаю, Натали,— проговорил он через минуту и, иронически улыбаясь, взял с откидного столика книжку.— Может, вот это. Месть.

— Что это такое? — рассеянно полюбопытствовала Наташа.

— Тут есть поэмка какого-то Лермонтова. Должно быть, это тот самый лейб-гусар, который так преуспел с прошлого года в свете. Это августовская книжка «Библиотеки для чтения».

— Покажи,— она взяла из рук книжку.— Где это?

— На восемьдесят первой странице. Называется «Гаджи Абрек». Это, пожалуй, плохо, что слишком здесь много крови, но вот что здесь обходятся без модной роковой любви, да еще одна мысль — это мне нравится. Хочешь, я тебе прочту?

— Пожалуй,— улыбнулась Натали и протянула книжку.

Князь аккуратно разогнул и разгладил страницы, слегка задыхаясь и нараспев прочел:

— Любовь!.. Но знаешь ли, какое
Блаженство на земле второе
Тому, кто все похоронил,
Чему он верил, что любил!
Блаженство то верней любови
И только хочет слез да крови!..
В нем утешенье для людей,
Когда умрет другое счастье;
В нем преступлений сладострастье,—
В нем ад и рай души моей.
Оно при нас всегда, бессменно;
То мучит, то ласкает нас...
Нет, за единый мщенья час,
Клянусь, я не взял бы вселенной!

— И дальше, дальше. Послушай, Натали. Это совсем уж не плохо.

Князь заметно оживился.

— Ну вот:

. . . . Давно
Тому назад имел я брата;
И он — так было суждено —
Погиб от пули Бей-Булата.

Погиб без славы, не в бою,—
Как зверь лесной,— врага не зная.
Но месть и ненависть свою
Он завещал мне умирая.
И я убийцу отыскал:
И занесен был мой кинжал,
Но я подумал: «Это ль мщенье?
Что смерть! Ужель одно мгновенье
Заплатит мне за столько лет
Печали, грусти, мук?.. О, нет,
Он что-нибудь да в мире любит.
Найду любви его предмет,
И мой удар его погубит!»

— Нет, это действительно хорошо: и тонко, и глубоко. «Найду любви его предмет, и мой удар его погубит». А? Ну, что ты скажешь, Натали?

— Я бы не хотела стать предметом каких бы то ни было чувств такого страшного юноши,— ответила она с улыбкой.

Помолчав, добавила рассеянно:

— Впрочем, кажется, этот мальчик, если только это тот самый Лермонтов, уже как будто начинает показывать себя. Ты помнишь эту историю с Catherine Souchkoff? Об ней прошлую зиму много говорили.

Брат как будто не слышал.

— Очевидно, есть и чувство и воля,— выговорил он с глубоким вздохом и как бы про себя.— Но это тоже несчастье. У нас люди, наделенные этим, кончают или плохо, или никак.

— Не думаю,— поспешно вставила Натали.— Историей с Сушковой этот мальчик если еще не завоевал, то, во всяком случае, показал, что сумеет завоевать себе положение.

Князь, видимо, не слышал и этого. Не отрываясь от своих мыслей, задумчиво проговорил:

— Кем же, кем же нужно быть в этой стране, чтобы не сорваться с вершины жизни?

Натали поднялась с кресла, подошла к нему и, опустив на плечо руку, рассеянно заглянула в раскрытую книжку. По губам скользнула веселая усмешка.

— «...По мне текут холодным ядом слова твои». Это я здесь читаю, Владимир,— смеясь, пояснила она.— Но мне пора. Я и так слишком долго разделяла твое заключение.

— Уже? Ну, благодарю, что не забываешь. Постой, я прикажу, чтоб подавали.

Почти в тот же момент, как он дернул сонетку, у дверей выросла фигура лакея.

«Что, они подслушивают, что ли?» — досадное метнулось в голове, но сейчас же оно забылось, оттесненное отъездом Натали, непрерывающейся и горькой чередой мыслей.

VIII

И неясное, многим почему-то казавшееся загадочным и таинственным дело о задавленной первого июля у Московской заставы женщине, и совершенно очевидное, ввиду полного сознания самого преступника, дело о покраже на даче гвардии генерал-майора Исленьева тянулись с одинаковой медлительностью и одинаково долго.

Высочайшее повеление о создании второй следственной комиссии по делу, в сущности, совершенно ничтожному и пустяковому привело даже мало чему удивляющегося Дубельта в смущение.

— В чем тут секрет? — в сотый раз задавал он себе один и тот же вопрос, просматривая листы тощего «дела», в котором, в сущности, и искать было нечего.

Ездящий в кучерах у князя Долгорукого крепостной его человек Трифон, иного прозвания не имеющий, с трех расспросов показывал слово в слово одно и то же.

Первого июля, въезжая с князем в Московскую заставу, сшиб он лошадьми женщину неизвестного звания, а так как был выпивши, то на крик полицейского не остановился, ударил по лошадям и умчался.

Чего ж тут искать?

> Вследствие высочайшего вашего императорского величества повеления,—

гласила имевшаяся в деле копия всеподданнейшего доклада,—

> составленною комиссией было рассмотрено дело о задавленной первого июля сего года, близ Московской заставы, женщине, и ныне, по окончании своих занятий, означенная комиссия имеет счастье донести вашему императорскому величеству, что по тщательному и всестороннему рассмотрению помянутого обстоятельства оказалось, что означенная женщина действительно была задавлена экипажем флигель-адьютанта, князя Долгорукого.

Дубельт попробовал было осторожно выведать причину такового необычайного внимания государя к этому пустому происшествию у своего шефа.

Тот, по обыкновению, только пожевал губами, промычал что-то совершенно невразумительное и только, по крайней мере через четверть часа, когда уже выслушал о многом другом, раскачался сказать:

— М-м-м... Леонтий Васильевич... Никакой интриги здесь нет-с... Да. Только, только... государю благоугодно знать самую сущую правду. Ибо флигель-адъютант его величества солгать не может, а раб его упорствует в своем показании. Это надо выяснить. Нам не найти правды — стыдно-с.

«Ничуть не яснее. Только вот разве самый кончик.— Долгорукого хотят очернить, государь противится. Кучер — ясно — подкуплен».

Секретные донесения, которые имелись у Дубельта, ничего противного правительству или лично государю за князем Долгоруким не устанавливали, личных врагов у него тоже как будто не было, и тогда, окончательно решив, что дело это весьма трудное и щекотливое, Дубельт со всем рвением и в точном соответствии с указанием своего шефа приступил к нему.

Как и следовало ожидать, в Петербурге оказался еще один князь Долгорукий, того же первого июля через ту же Московскую заставу въехавший в столицу. Вызванный в Третье отделение застенчивый, болезненного вида юноша даже и не думал отпираться. Отпущенный из Царскосельского лицея на каникулы, он ехал в экипаже своего дяди графа Шереметьева, который его и воспитывает, в Петербург. Проезжая Московскую заставу, кучер его по неосторожности сшиб какую-то женщину, но, очевидно боясь ответственности, не остановился, а, наоборот, погнал лошадей. Сам же он молчал до сих пор об этом происшествии единственно только потому, что его никто об этом и не спрашивал.

Молодой князь был любезно отпущен с легким упреком — как же это вы так до сих пор молчали, а у нас тут целая история вышла! — а кучер Шереметьева взят в арестантскую, но уже при Третьем отделении.

Заседание комиссии Дубельт открыл кратким, но многозначительным вступлением:

— Господа, вам небезызвестна вся важность возложенной на вас обязанности. Из одного того факта, что по происшествию, в сущности весьма ничтожному,

по высочайшему повелению ныне открывается вторая следственная комиссия, вы уразуметь можете, настолько его величеству угодно знать сущую правду по этому делу...

Серьезные и строго вытянувшиеся лица господ членов должны были показать их полную готовность к выяснению этой «правды».

— Так-с,— оглядел присутствующих Дубельт и приказал ввести обвиняемого.

Первым был приведен кучер Долгорукого.

Он с отчаянием бросался на колени перед столом, за которым сидели строго взиравшие на него господа, бил себя кулаками в грудь и слово в слово, в четвертый раз повторил давно известную историю о том, как ехали они с князем, как был он выпивши, а потому, опрокинув лошадьми какую-то женщину, не сдержал, а погнал их еще того пуще.

— Хорошо,— прервал его Дубельт и с тихой усмешкой приказал ввести второго обвиняемого.

Этот вошел с испуганно обалделым видом, как вкопанный остановился перед столом.

— Как тебя зовут и у кого ты служишь? — строго обратился к нему Дубельт.

— Дворовый человек его сиятельства графа Шереметьева, а зовут Фонькой,— потупясь, словно стыдясь такого признания, ответил спрашиваемый.

— Хорошо, хорошо.

Торжествующая улыбка все больше кривила рот Дубельта. Едва касаясь одной рукой о другую, он потер их и, самодовольно улыбаясь, стал спрашивать дальше:

— А скажи-ка, любезный, не ездил ли ты когда в Царское Село и не возил ли кого оттуда? Этим летом, конечно. И когда это было в последний раз?

— Кажись, в июле,— все так же испуганно смотря на генерала, сказал шереметьевский кучер.— В июле, должно быть, и будет последний раз, как ездил. За князем Долгоруковым, племянником нашего графа, ездил. В тот же день и назад обернулись.

— Так, так. Вез князя Долгорукого. Хорошо. А не помнишь ли ты, не случилось ли с вами чего, как въезжали в заставу?

Дубельт пристальным, неотрывающимся взглядом смотрел в бледное, растерянное лицо шереметьевского кучера. Минуту в комнате царило гробовое молчание. Вдруг тот, широко взмахнув руками, словно он собирался

улететь, рухнул на колени. Крик, сиплый и глухой, казалось, застрял у него в горле.

— Виноват, ваше превосходительство, бабу какую-то я смял тогда лошадьми.

Дубельт торжествующим взглядом — ну, вот, видите, как выходит, когда я берусь за дело! — обвел присутствующих. Потом с улыбкой взглянул по очереди на каждого из кучеров, сказал:

— Как же это так, ребята? Женщина задавлена одна, а вас, охотников до нее, двое.

За столом переглядывались удивленно господа члены комиссии, преступники недоуменно и тупо смотрели один на другого. Долгоруковский Трифон не выдержал первый, с шумным вздохом рванулся с места, шагнул к столу. Казалось, вздох оторвал целую полосу времени.

— Дозвольте, ваше превосходительство, я вам теперь расскажу, отчего я женщину-то задавил,— выговорил он неожиданно твердо и громко.

— Ну, рассказывай.

— Армяк дозвольте только наперед скинуть.

— Это еще зачем?

— А вот затем, ваше превосходительство, что я вам рубцы эти показать должен.

И, не дожидаясь разрешения, широким и проворным жестом стянул с плеч армяк, засучил рукава рубахи.

— Вот, господа генералы, как мне в полиции руки веревками крутили да силком учить заставили ту сказку. Э, да что говорить про веревки! — Он и рукой и головой тряхнул так, как будто для него уж ничто больше не существует на свете.— Нашему брату это дело привычное. А вот, они мне вольную обещали, да тысячу рублей награды, если на суде выдержу,— так за это и чужого греха взять на душу не побоишься. И пытку стерпел, и на допросах словом не обмолвился, да вот... эх, вижу, все не под меня подстроили... а волюшка кабы...

Дубельт вдруг забеспокоился. Лицо стало сухим и деловитым. Он резко застучал карандашом по столу, требуя, чтобы Трифон молчал, потом, приказав увезти обоих арестантов, с короткой усмешкой бросил сидевшему рядом с ним жандармскому капитану:

— О таковой преданности господину своему нелишне будет поставить в известность князя Долгорукого.

И, поймав неукоснительно понимающий взгляд капитана, заговорил, обращаясь к членам комиссии:

— Ясно, господа, не правда ли? Санкт-петербург-

ская столичная полиция, не сумев задержать виновного, справляется по караульной книге на заставе: кто проехал? Князь Долгорукий. Отлично. Значит, экипажем сего князя и задавлена бедная женщина. А раз так, то нечего и исследовать. Счастье, господа, счастье без преувеличения для общества и всех верноподданных, что волею нашего правдолюбивого монарха учреждено ныне Третье отделение собственной его величества канцелярии. Таковое небрежение к своим прямым обязанностям и откровенное попустительство лености подчиненных могло, как вы видели, отразиться на безупречном имени достойного и приближенного к государю человека. Этого в просвещенном государстве быть не должно и, я вас заверяю, не будет.

IX

В Гостином дворе опечатывали книжные лавки.

Мелкий, как пыль, октябрьский дождь матовым блеском оседал на жандармских касках. Сальный огарок задувало ветром, и мокрый сургуч ни за что не хотел разгораться. Жандарм неуклюже возился возле двери, стараясь приклеить печать. На подводе, ничем не накрытые и сваленные в беспорядке, мокли пачки книг. С почтительного расстояния наблюдавшая за всем этим небольшая кучка гостинодворских молодцов и просто случайных прохожих обсуждала и то и другое:

— Как раз — грамотный: в книжках разобрался, а печати никак не приладит.

— Разбирались другие. Их дело — схватить да доставить.

— Кого?

— Да хушь книжку. Вон на дождике вперед помочат, а потом сечь будут и в Сибирь пошлют, раз ты не так написана.

— Это как есть. Только книжки, говорят, все не наши: немецкие.

— И то правда. Там напечатают, а у нас припечатают.

— Ишь дело какое,— купцу, чай, убытки от этого большие.

— А поделом: не торгуй, чем не надо.

Жандарм, возившийся у дверей, наконец приложил печать. Его начальник внимательно осмотрел ее и, кутаясь в шинель, взгромоздился на дрожки. Загромыхала по камням подвода.

— Ну, слава тебе, господи: управились. С богом, везти вам — не растрясти,— напутствовали из толпы.

— А вот, братцы, что говорят,— неизвестно к кому обращаясь, сказал какой-то парнишка, когда подвода и жандармы на дрожках отъехали на приличное расстояние.— Будто теперь переодетые жандармы в самом разном народе вертятся и все, что подслушивают, куда надо доносят. Может так быть, по-вашему?

Расходиться явно никому не хотелось. Пять или шесть человек потеснее сбились в кружок возле парнишки. Высокий, худой старик в чуйке и картузе авторитетно отрезал:

— Брехня.

Ему сейчас же наставительно возразили:

— Нет, отец, вовсе это не брехня. Теперь у них вот как положено. Берется какой-нибудь человек, ну, хотя бы ты, к примеру, и строго-настрого ему приказывают, чтоб об этом даже попу на исповеди слова не промолвил бы. А велят тебе тереться среди людей своего звания и разные разговоры подслушивать, а что подслушал — сейчас же доложи, и за это тебе деньги платят. А ты как был, так и останешься при своем месте и никому, кроме тебя да их, неизвестно, в какую службу ты у них определился.

В толпе поддержали:

— Так, так. Вот и то говорят, что теперь слово сказать опасно — заберут.

— Ну, это не всякое. Лишнего только не болтай, а так разговаривать можно.

— Да, можно. Вон, намедни, солдат какой-то из тех, кому теперь в отставку срок вышел, стал хвастать, как их в службе обидели, так что ж ты думаешь: сидит теперь под арестом, а в кабаке-то никого постороннего не было. Да еще теперь, говорят, такое ему будет, что и выдумать страшно.

— А ты почем знаешь?

— Мне это, как его, крестный мой сказывал. Он в сторожах в этом самом отделении, что у Цепного моста помещается, служит.

— Ну, тогда, может, и правда.

Это и на самом деле было правдой.

Вечером того же дня в Михайловском манеже был обычный царский смотр бессрочно отпускаемых от гвардейских полков.

Царь прибыл только в восьмом часу.

Густой, как запекающаяся кровь, отблеск смоляных

факелов переливался неверным светом и отступал перед мохнатыми темными сумерками.

Царь, как вошел, порывистым широким шагом устремился вдоль фронта, поздоровался, уже пройдя половину, негромко, отрывисто и сердито. На минуту остановился выслушать ответ, ногой по песку отсчитал такт, и только после этого продолжил обход. На левом фланге круто повернул обратно, отошел от неподвижно застывших с устремленными на него глазами людей.

— Ребята,— раздался в мертвой тишине его грудной и низкий голос,— ребята, солдат русского царя не может быть негодяем. Моя гвардия таких среди себя не потерпит. Так или нет, ребята?

— Точно так, ваше императорское величество,— гулко и слитно, по слогам, как будто кто-то дирижировал из-за спины царя, пронеслось под сводами.

— А вот нашелся один,— продолжал Николай, все повышая и повышая голос.— Он был среди вас, он и сейчас с вами...

Голос все возрастал и твердел. Отдельные ноты, словно они стали металлом, не таяли, выбрировали и гудели где-то высоко под самыми сводами манежа.

— Ребята, я вам отдаю его на суд. Вы лучше меня присудите ему наказание.

Вдруг голос оборвался. Низким и гулким клокотаньем припал к земле.

— Кто вздумал болтать, что я незаконно держу по второму сроку? — выговорил Николай.— Кто?! Три шага вперед! Марш!!!

Один миг царю казалось, что вся неподвижной стеной замеревшая масса дрогнет, сжимающее кольцо поползет на него. Но нет, только один, высокий павловец с посеребренными бакенбардами прямым печатающим шагом, не дрогнув, вышел из фронта.

— Ты?

Император приблизился к нему медленно, большими, надолго пристававшими к земле шагами. Свита почтительно и осторожно старалась отстать.

— Ты?

Рука поднялась ударить, но не выдержал взгляда, быстро отвел глаза, ими успел поймать на груди серебряный равноконечный крестик, рванулся, сорвал его, бросил наземь.

— Говорил, что против закона? Говорил?

— Так точно, говорил,— раздельно и четко прозвучал ответ.

Император вскинул голову, глазами обводя фронт, опять певуче и звонко прогремел:

— Вы судите. Что присудите, так и будет.

Николай выждал паузу. Потом опять, еще повысив голос, спросил:

— Что делать с ним? Говорите. Вас спрашиваю.

Ответа ждать не стал, рванулся к одиноко стоявшему перед фронтом солдату, потрясая кулаком, прохрипел:

— Против закона?! Закона не узнал за тридцать лет?! Я выучу! В службу! Опять! Без срока, на выслугу!

Павловец стоял неподвижно.

— Не в гвардию! — кричал царь.— Паршивую овцу из стада вон! В гарнизон! В Сибирь! Правильно это, ребята?!

— Точно так, ваше императорское величество,— не сразу и глухо, как будто придавленное чем-то тяжелым, раздалось под сводами.

X

Малообременительная должность и снисходительное баловство дядюшки окончательно развратили Евгения Петровича. Но, сказываясь по три дня в неделю больным, а то и вовсе не появляясь на службе всю неделю, он тем не менее отнюдь не приписывал этого лени или распущенности.

Адъютантство в бригаде даже к роте не облегчало и не укорачивало пути. А для полка, для строевой карьеры, кроме служебной ревнительности, требовалось еще и другое. С надеждами на это другое приходилось расстаться: у Исленьева подрастали дети, к ним должны будут перейти не только дядюшкины богатства, но и все влияние, весь вес его имени; на долю небогатого и незнатного родственника останутся только жалкие крохи. Да и при самой большой выдержке и терпении, оставаясь в строю, денег и положения дождаться можно будет только тогда, когда уже голова будет седой. Нужно думать об иной карьере, выбирать службу, которая не потребует, а сама будет давать доходы, нужно искать места, где и одной старательной ревнительностью можно будет завоевать себе положение.

Но к трезвым и рассудительным размышлениям о

будущем примешивались нелепые, путавшие все мечтания.

До сих пор в той беспечной жизни, которую вел благодаря дяде Евгений Петрович чуть ли не со школы, недоставало чего-то самого главного, самого важного.

Как от сна, во рту оставался густой и неприятный привкус в его воспоминаниях о пережитом. Он попробовал перебрать в памяти свои прошлые увлечения,— ему делалось противно и скучно. Все они — дворовые ли девушки, польские ли панны, не устоявшие перед молодым и красивым представителем победоносного русского оружия, провинциальные ли скучающие красавицы, от тех же самых качеств терявшие голову, цыганки из Новой Деревни и подарившая своей мимолетной благосклонностью одна светская дама — все они, одинаково хранимые памятью рассудка и не хранимые памятью сердца, представлялись теперь почти ненавистными.

Писал он в дневнике:

> Можно ли верить женщинам, с такой легкостью, в результате ничтожных усилий, достающимся тебе? Я оказался бы в собственных глазах презренным, если бы одной из них открыл все тайники своих чувствований, позволил бы безудержно излиться кипящему во мне. Завтра так же легко, как ко мне, придет она к другому, и то, что ревниво хранил от всего мира, станет предметом насмешки и унижения от нового любовника.

С мечтами о той, которой будет открыта самолюбивой подозрительностью сохраненная от ее предшественниц страсть, засыпал Самсонов. Смутная тоска о неизведанном и возможном наслаждении приходила вместе с пробуждением. Ревнивую зависть и страдание будил один только вид счастливой супружеской пары, и, каждый раз невольно или намеренно делаясь соучастником обмана любящего и счастливого мужа, он ощущал в себе горькую и злобную радость. Тоска о невозможной,— он не верил, что таковая возможна — тоска о невозможной, безраздельной любовной преданности отравляла мечты, портила характер.

— Евгений Петрович, а Евгений Петрович!

За дверью настойчиво и вместе с тем осторожно, уже не в первый раз, окликнули его по имени.

Он не отозвался.

— Евгений Петрович, а Евгений Петрович, вы наказывали вас разбудить в восьмом, а сейчас девятый.

— Чего ж ты раньше думал?! — сразу раздражаясь, крикнул Самсонов.

— Да я, поди, более часу около вас стою, никак не добужусь только,— сказал Владимир, входя в спальню.— Шторки поднять прикажете?

За окнами висела плотная завеса густого тумана, на стеклах причудливым узором разметался мороз. Серые жидкие тени, которые поползли в комнату, сделали ее неуютной и холодной.

Поеживаясь, Евгений Петрович медлил скинуть с себя одеяло.

Владимир стоял у постели с халатом и носками в руках. Ухмыляясь и с напускным равнодушием проговорил:

— Михаил Ивановича-то нашего, дворецкого знаменитого, сегодня в Сибирь отправляют. Сбили наконец партию. Наши ребята смотреть бегали. Смешно-с, Евгений Петрович.

— Что смешно-то? — освобождая из-под одеяла ноги и протягивая их Владимиру, спросил Самсонов.

Владимир с проворством стал облекать барские ноги в носки.

— Полюбовница-то его, Михаила Иваныча то есть,— заговорил он уже другим, развязным тоном.— Чай помните, тогда же все у ней покраденное нашлось. И красивая же баба, скажу я вам, Евгений Петрович, смотреть прямо невозможно, а вот, подите, на каторгу за ним идет. Какая приверженность!

Самсонов только криво усмехнулся, опуская ноги в подставленные туфли.

Что-то похожее на зависть к этому уличенному, ошельмованному, ссылаемому в Сибирь солдату кольнуло сердце.

— Сама? По своей охоте? — спросил он, и голос самому показался глухим и непохожим на всегдашний.

— Сама, сама, Евгений Петрович. Дарьей ее зовут, а по отцу Антоновна. Видная баба, то ли из мещан, то ли солдатка: белье она на чиновников стирала, а денежки у ней, говорят, водились. Ну, да в Сибири их живо порастрясет. А нашему-то Михаилу Ивановичу хоть бы что: все таким же волком на людей смотрит, хоть и полголовы обрил...

— Давай скорей умываться. Проспал по твоей милости,— нетерпеливо и сердито перебил его Самсонов.

Сегодня он обещал дяде получить из Главного штаба необходимую тому справку. В час он уговаривался встретиться с Полем Мезенцевым, товарищем еще по школе. Мезенцев превратностями судьбы в прапорщичьем чине сослан был в армейское захолустье и сейчас только на несколько дней, и то случайно, вырвался в Петербург. Кто его знает,— может, еще подумает, что им брезгают, если пропустить свидание. Евгений Петрович поморщился и деловито и торопливо стал одеваться.

Через час исленьевские кровные рысаки с места подхватили и помчали его по Большой Морской. Меньше чем через три минуты, чуть слышно звякая цепляющимися за полость шпорами, он выскочил из саней и, бросив кучеру:

— Жди,— вошел в подъезд Главного штаба.

В Главном штабе, после долгих блужданий по бесконечным, похожим на лабиринт коридорам, после десятка не по адресу и без пользы вопросов и обращений, ему наконец удалось добиться, что лучше всего переговорить об его деле с делопроизводителем какого-то там отделения Владимиром Петровичем Бурнашевым.

Евгений Петрович, расположившийся говорить с хамоватым чиновником, нелюбезным уже по одному тому, что ему выпадает случай пренеглижировать обращающегося к нему гвардейца, был крайне удивлен, увидав, с какою предупредительностью вскочил из-за стола навстречу ему румяный молодой человек.

— Пожалуйста, пожалуйста. Прошу вас, присядьте. Через пятнадцать минут будет вам справочка. Никак больше задержать не посмеем,— суетливо сыпал он словами и почему-то ужасно краснел при этом.

Евгений Петрович с небрежным кивком опустился на указанный ему стул. Он успел разглядеть у Бурнашева маленькие, но довольно живые глазки, густые, круто и пышно вьющиеся, как это бывает только у природных поповичей, волосы и крохотный, по-смешному вздернутый носик. Все это вместе с довольно нескладно сидевшим мундиром, потными, которые он беспрерывно потирал, руками и слащавыми манерами вызывало к этому человеку брезгливое чувство. Он рассеянно слушал, как без умолку болтал Бурнашев.

— Вы племянничек-с почтеннейшего Николая Александровича? Как же, как же-с, очень наслышан. Я, извините, сам человек не светский,— у Самсонова пробе-

жала по лицу едва заметная усмешка,— но к людям и событиям, в свете случающимся, питаю живейший интерес. Как же, помилуйте, средоточие ума и культуры. Там определяется русло ее течения...

Он называл по имени и отчеству людей, с которыми Евгений Петрович никак не мог допустить, чтобы он был знаком, хотя бы и некоротко, и все они оказывались у него «почтеннейшими», «милейшими», «добрейшими», «уважаемыми». Как будто он хвастался перед Самсоновым емкостью своей памяти, сумевшей сохранить не только имена, но даже какие-то сведения об особенностях характера и привычках их носителей.

— Я, изволите ли видеть, слегка пописываю,— меж тем вкрадчиво докладывал о себе Бурнашев.— Что прикажете делать, непреодолимое влечение к изящной словесности. Но сам-то я, боже сохрани, отнюдь не дерзаю,— так журнальные заметочки, статейку какую-нибудь в крайнем случае, но только, не больше. Я даже свое маранье в «Северной пчеле» помещал. Там псевдоним у меня был весьма забавный: Пче-ло-вод. Тонко и верно. Стихи, стихи я главным образом обожаю. Вот-с, недавно еще какой у нас поэт обнаружился! Огромнейшее дарование. Многие даже с Александром Сергеевичем сравнивать решаются. Но только, я думаю, это слишком. Талант безусловный, но все же до Александра Сергеевича, конечно, далеко. В «Библиотеке для чтения» поэмки такой, «Гаджи Абрек», читать не изволили? Некоего корнета, по фамилии Лермонтов, называют ее сочинителем. Большое будущее у человека, скажу я вам, если это так.

Лермонтов? — Что-то неприятное почудилось Евгению Петровичу в самом звуке этого имени, но что — он так и не мог вспомнить.

— Скажите,— не очень любезно оборвал он Бурнашева,— вам так хорошо известны все подробности, касающиеся любой приметной особы. Может, вам было бы проще дать желаемую мною справку на память, нежели искать ее в архивах?

Против ожидания, Бурнашев не оскорбился нисколько, наоборот, он только ужасно смутился и покраснел еще больше.

— Сейчас, сейчас, одну минуточку,— засуетился он, привскакивая с места.— Вот, изволите ли видеть, уже несут. Ну, теперь все в порядке. Я для вас даже специально

на подпись к начальнику отделения сбегаю. Одну минуточку.

И, как-то по-смешному приседая, он торопливо выбежал из комнаты.

Через пять минут в руках у Евгения Петровича была желаемая справка. Он сухо поблагодарил словоохотливого чиновника и поспешил откланяться.

— Очень рад-с, очень рад, что мог быть полезен,— пожимая ему руку, повторял тот.— Весьма польщен знакомством. Весьма.

«Чего доброго, еще приедет с визитом»,— досадливо подумал Евгений Петрович и, высвободив из его пожатий руку, вышел из комнаты.

Из главного штаба он приказал ехать к Полицейскому мосту, где в кондитерской у Вольфа обещался встретиться с Мезенцевым.

Не назначать свидания дома у Евгения Петровича были свои соображения. Прошло целых три года, как они не виделись с Мезенцевым. Он очень опасался, что за такой долгий срок пребывания в провинции его приятель потерял то понимание требований хорошего тона, которое позволило бы им остаться на короткой ноге. Да и вообще, к чему теперь ему был нужен какой-то армеец, чего доброго еще не постесняющийся, по праву прежней дружбы, попользоваться его гостеприимством? Вообще, встреча с Мезенцевым представлялась маловероятной обязанностью.

У него шевельнулось досадливое и раздраженное чувство, когда тот с первых же слов поспешил сообщить, что уже есть положительное обещание об обратном переводе в гвардию, с такой же поспешностью стал перечислять всех, с кем он успел повидаться и кто по-прежнему остался к нему благожелательным.

«Как это мне интересно! — поморщившись, подумал Евгений Петрович.— Нет, он решительно похож на того говорливого чиновника».

— А вот еще,— торопясь, очевидно, выложить решительно все, говорил Мезенцев.— Я имею и на тебя виды. В одном близком мне доме готовится праздник — маскарад с оперным представлением и разные там штуки. Какое-то семейное торжество, кажется, серебряная свадьба, точно не знаю. Так вот, у младшей дочки хозяина заболел кавалер, а она должна была танцевать с ним в каком-то характерном танце. Я хочу ввести тебя с тем, чтобы заменить заболевшего. Ну, что ты думаешь? Уве-

ряю, раскаиваться не будешь: дом исключительно приятный, а дочка прелесть.

— Почему ты сам не попробуешь предоставить замену? — кисло усмехнулся Евгений Петрович.

А про себя, даже не пытаясь скрыть снисходительной гримасы, подумал:

«До чего же он стал провинциален».

Мезенцев не унимался:

— Так ты соглашаешься? По совести сказать, я уже обещался за тебя. Мне, понимаешь ли, не совсем удобно как разжалованному особо выделяться на том бале, где будут, вероятно, члены императорской фамилии.

— А что это за дом? — рассеянно спросил Евгений Петрович.

— Львовы. Отец — член Государственного совета, директор певческой капеллы. А сыновей ты, вероятно, знаешь. Один скрипач, ну, тот самый, начальник канцелярии Бенкендорфа; другой служит, кажется, в Павловском полку.

Евгению Петровичу не хуже, чем Бурнашеву, были известны связи всех петербургских фамилий. Семейство Львовых, помимо службы старшего сына, было связано с всесильным шефом корпуса жандармов и командующим императорской Главной квартирой еще и давней дружественной приязнью. Самсонов улыбнулся и с той высокомерной снисходительностью, которую он еще до встречи определил в себе по отношению к бывшему приятелю, сказал:

— Ну, что ж! Пожалуй, представь. Я согласен.

XI

Концертную программу в доме Львовых готовили с большим усердием. Репетиции продолжались почти уже месяц и были достаточно частыми, однако Евгений Петрович вскоре стал пользоваться и любым случаем, чтобы и помимо их побывать в приятном ему доме. Поль Мезенцев, как-то встретившись с ним, воскликнул не без торжества:

— Что?! Я не ошибся.

Самсонов только лениво улыбнулся:

— Да, люди действительно весьма достойные. У них мне приятно.

— Ах, лицемер! А Надин? Надежда Федоровна? Это что?

Евгений Петрович покривился скучливой и безразличной гримасой.

Надежда Федоровна, младшая Львова, с которой он должен был выступить на празднике в каком-то характерном танце, уже вторую зиму выезжала в свет. Но тем не менее ни в лице ее, ни в манерах не было даже отдаленного намека на то, что так решительно и быстро спешит усвоить себе любая барышня ее возраста. В том обильном и разнообразном арсенале, который природой и светским мнением предоставлен для легких бальных флиртов, для почти обязательного кокетства, как будто для нее не нашлось никакого оружия. Она и с кавалерами разговаривала, как с товарищами етских и невинных шалостей, и улыбалась она так, будто ее совершенно не интересует — к лицу или не к лицу ей эта улыбка. Евгений Петрович заметил, что она очень осторожно сторонится людей с установившейся репутацией волокит и повес, без преувеличенного лицемерия или зависти отзывается об успехах подруг, и это-то, вероятно, и вызвало в нем нечто похожее на почтительное восхищение.

«Да, да. Вот такая, именно такая может быть по-настоящему преданной,— думал он не раз, возвращаясь от Львовых.— Такой бы я не побоялся открыть и себя, если бы...»

До конца он не решался выговорить даже и себе.

Невыразительность и бледность черт его дамы шокировала Самсонова. Не хватало еще чего-то, помимо ее добродетели, чтобы, хотя бы в мечтах, без колебаний назвать ее своею избранницей. Против воли на память приходила великорослая остзейка, женихом которой он чуть было не сделался во время зимней стоянки в Риге после польского похода. Вспоминались руки Львовой, большие и некрасивые, перчатки всегда в пятнах проступившего пота. Почему-то эти руки неизбежно связывались в памяти с застенчивым и смущенным взглядом Надежды Федоровны, с ее детски невидной фигурой. Назвать ее женой, даже в мыслях, не казалось возможным.

Праздник открылся торжественной кантатой, специально написанной к этому дню Алексеем Львовым, тогда уже прославленным автором русского гимна. Кантату исполняли певчие придворной капеллы, их мастерское исполнение сразу придало холодок официальности празднику. Той беспечности и дружественной простоты, с которой проходили для Евгения Петровича часы репетиций, не осталось и следа. Уже костюмированный, сто-

ял он у дверей боковой комнаты, ожидая своего выхода. Зал, превращенный на этот раз в концертный, сверкал сотнями свечей. В рядах блестели почтенные лысины, играли бриллианты и горели золотом мундиры. В первом ряду между Бенкендорфом и хозяином сидел Михаил Павлович. У великого князя был рассеянный, скучающий вид. Играя лорнеткой, он чуть склонил набок голову, снисходительно слушая, что говорил ему на ухо хозяин. Едва прогремела последняя нота кантаты, он поднялся с места. Тотчас же встал и весь зал. Старик Львов, изогнувшись, засеменил вслед за ним. В дверях великий князь сделал общий поклон и вышел из зала.

— Сейчас наш выход,— шепнула Надежда Федоровна.

— Хорошо-с.

Самсонов смотрел не отрываясь на то место, где только что сидел великий князь.

— Пожалуйте. Ваш выход, молодые друзья,— шепнул, слегка подталкивая их к двери, Алексей Львов, распоряжавшийся концертом.

В школе, в юнкерском мундирчике, выступая перед высокими посетителями, переживал Евгений Петрович нечто подобное.

Зал с эстрады показался измененным и незнакомым. Десятки устремленных на него взглядов мешали найти и увидеть тот, который он так старательно ловил. Как на экзамене, казалось, только в нем одном можно было прочесть свою судьбу.

У Бенкендорфа шея не держала больше головы. Серопепельная от седины грива, казалось, росла прямо из золотого шитья эполет. Рядом лысый череп старика Львова отражал игру свечей. Сложные и медлительные па какого-то необыкновенного восточного танца, выдуманного для этого вечера домашним балетмейстером, все же позволили Самсонову заметить кое-что из происходившего в зале.

Два раза быстро пробежал от колен Бенкендорфа к ним на сцену взгляд старика Львова. Евгений Петрович уловил даже угодливую веселую улыбку, с которой он склонился к уху генерала. Тот на мгновенье чуть вскинул голову. Бесцветный тяжелый взгляд медленно потянулся к сцене, чуть задержался на Надежде Федоровне и пропал. Кивая утвердительно, закачалась серо-пепельная копна волос и упала опять на увешанную орденами грудь. Евгению Петровичу показалось, что он разгадал

значение этого взгляда. Сердце вдруг сорвалось встревоженным и частым стуком.

Перенося через свое плечо руку Надежды Федоровны, он незаметно и мгновенно прикоснулся губами к кончикам ее пальцев. Ее глаза были почти рядом, голубые, по-детски удивленные, сейчас они — или это только показалось — подернулись темной пеленой.

После, часто вспоминая это мгновение, Евгений Петрович был почти убежден, что его судьба только потому и решилась тогда, что ответом на этот поцелуй было безмолвное короткое пожатье.

Разгримированной и сменившей на обычный бальный наряд свой маскарадный костюм Надежды Федоровны он не узнал. Она показалась совсем другой, сразу похорошевшей и выросшей.

— Вы все танцуете со мной,— шепнул он торопливо не сказанное перед концертом приглашение.

Ответом была нежная и благодарная улыбка.

В вальсе, проходя по внешнему кругу зала, Евгений Петрович почувствовал, что на него смотрят пристально и насмешливо.

— Кто этот маленький гусар в углу за нами? — настораживаясь, спросил он у своей дамы.

Надежда Федоровна засмеялась.

— Ах, я не знаю, зачем только его принимают у нас. Этот кривоногий уродец, вероятно, потому и мнящий себя лордом Байроном, всем говорит ужасные дерзости. Кажется, он пишет стихи. Наверное, жалкий вздор.

Маленький гусар не танцевал весь вечер. Проводил он Самсонова все тем же насмешливым и ленивым взглядом. Потом, подавляя зевок и только придерживая рукой неприцепленный на крючок, как это делали все светские кавалеристы, свой громыхающий палаш, он неровным, припадающим шагом, по-английски, ни с кем не прощаясь, прошел к выходу.

Лакей в передней накинул ему на плечи серую с капюшоном шинель, и он сразу стал еще более сутулым и неуклюжим. Белый султан затрепетал в дверях от струи морозного воздуха. Непридерживаемые полы шинели хлюпали на шагу.

— Сани корнета Лермонтова! — гаркнул жандарм у подъезда.

С противоположной стороны, от массы стоявших там экипажей, отделились и поплыли на свет две серых

конских головы. Полозья с раската ударились о каменный тротуар.

— Домой прикажете, Михаил Юрьевич? — откидывая полость, спросил кучер.

— Нет... А впрочем, пошел домой,— махнул рукой Лермонтов и, запахивая шинель, стал садиться в сани.

На Мойке, в доме Ланского, занимаемом «гвардии поручицей Елизаветой Алексеевной Арсеньевой», в верхних окнах был свет.

Лермонтов осторожно, стараясь не шуметь, сбросил в передней шинель, отстегнул палаш, спосил вполголоса: «Легла ли бабушка?» — и, стараясь ступать возможно неслышно, поднялся по лестнице наверх.

За дверью, из-под которой узкой полоской проникал свет, слышалось монотонное бормотанье. Лермонтов толкнул дверь.

— Аким, ты почему дома?

Белокурый юноша в юнкерском мундире артиллерийской школы отбросил от себя книжку, вскочил с дивана.

— Мишель! — воскликнул он радостно.— Какой ты чудак, где же мне быть? Ведь сегодня суббота, а в понедельник у нас репетиция из химии.

— А!

Лермонтов, по-видимому, был занят своими мыслями. Не глядя на юношу, он подошел к столу, тронул лежавшую книжку.

— Что это? Химия? Тебе не надоело? Хочешь, перед сном одну партию в шахматы?

Юнкер с поспешностью кивнул головой. Он сдвинул на столе в одну кучу карандаши, перья, бумагу, стал расставлять на доске фигуры.

— А ты где пропадал до сих пор? — спросил он с легким упреком.— Бабушка долго не хотела ложиться, все ждала тебя.

По лицу Лермонтова пробежала печальная и жалкая улыбка.

— Бабушка очень огорчалась? — выговорил он глухо, словно с трудом.— Это очень нехорошо, Аким, с моей стороны доставлять ей огорченья. Ну, что же поделаешь, видно, такой уж я потерянный человек.

И тяжело вздохнул.

— Ну, давай. Твои черные?

Он отстегнул и сбросил с плеча ментик, опускаясь на диван, расстегнул шнуры доломана.

— Святослав дома? Вероятно, занимается — не зна-

ешь? — проговорил, придвигая к себе доску с расставленными фигурами.— А Андрюшка, должно быть, дрыхнет? Избаловал я его себе на голову.

— Андрей только что был тут, спрашивал, не приезжал ли ты,— рассеянно ответил юнкер, сосредоточенно смотря на шахматы.

Черная пешка была взята в молчании. Еще последовало несколько шагов, и они не обменялись ни словом. Перевес определенно был на стороне белых.

Дверь осторожно приоткрылась. Рослый лакей в денщичьей форме лейб-гусарского полка появился на пороге.

Лермонтов посмотрел на него строго.

— Вас нешто укараулишь, Михаил Юрьевич,— ухмыльнулся лакей, видимо, ни капли не смущаясь строгого взгляда своего барина.— Вы вон, как кошка, по дому ходите.

Лермонтов погрозил ему пальцем.

— А это что у тебя? Письмо? Чего ж держишь?

Он почти выхватил из рук лакея письмо, поспешно разорвал конверт.

— Ну, ну, Аким, можешь думать сколько тебе угодно,— бросил юнкеру, принимаясь за чтение.

— Шах вашему королю,— торжествуя воскликнул Аким и вдруг осекся.

Лицо его партнера вдруг страшно переменилось. С татарских выдающихся скул слетел весь румянец, побелевшие губы непрестанно подергивались.

— Миша! Что с тобой, милый?!

— На вот, прочти,— задыхаясь, выкрикнул Лермонтов и бросил на стол письмо.

Затем он с шумом отодвинул, вскакивая с дивана, стол и выбежал из комнаты.

На доске зашатались и попадали фигуры. Белый король, откатившись, секунду держался, словно в нерешительности, на краю стола и с одиноким пустым звуком упал на пол.

Аким не успел дочитать и до половины,— когда в комнату с встревоженным видом вбежал бледный молодой человек в синем чиновничьем фраке.

— Что тут случилось? — воскликнул он взволнованно.— Мишель приехал?

Юнкер вместо ответа с грустным выражением протянул ему письмо.

— И знаешь что, Святослав,— сказал он, волнуясь,— я и сам потрясен не меньше Мишеля. Это одна его зна-

комая пишет, что Варенька Лопухина выходит замуж. Едва он прочел это письмо, как вскочил из-за стола с таким видом, как будто ему сообщали о смерти самого близкого человека. А ты помнишь, мы еще недавчо поссорились из-за нее с ним. Я думал, юнкерская фанфаронада заставляет его презирать, называть ребячеством все чистое и хорошее. Нет, нет, теперь-то я вижу, что все это только напускное. Чувство его к Вареньке неизменно, оно велико и серьезно.

Святослав молча покачал головой.

В доме старухи Арсеньевой Мишель был кумиром не только одной бабушки. Его решительно боготворили и все живущие там. Но между детским восторгом и обожаньем младшего его кузена, Акима Шан-Гирея, и безграничной, какой-то фанатической преданностью Святослава Афанасьевича Раевского лежала непроходимая пропасть.

Внешне Раевский как бы стыдился этого своего преклонения. Втайне он почти с болью не раз спрашивал себя, может ли он хоть в чем-нибудь отказать, чего-либо не сделать ради Мишеля?

И всегда откуда-то из самых глубин его сердца поднималось, как вздох:

«Нет, не могу».

Это был не по годам серьезный и молчаливый молодой человек. Он был беден, вместе с матерью, дальней родственницей Арсеньевой, проживал в ее доме чуть ли не из милости. Юношеское самолюбие жестоко страдало, подвергаясь постоянным испытаниям. К богатым и беззаботным привилась прочная, ничем не вытравляемая ненависть, а вместе с тем в Мишеле его восхищала даже его гусарская бравада, даже любая скабрезная шутка. Любой жест, любой поступок Мишеля имел для Раевского какую-то особую значительность. Он легко забывал любую обиду, в любую минуту готов был пойти на помощь и с дружбой к этому беспрестанному обидчику.

И сейчас, ничего не ответив Шан-Гирею, только сокрушенно покачав головой, он пошел к Мишелю. Ему казалось, что тот должен сейчас очень страдать, ему нужен друг и утешитель. Умилительное чувство жалости и сочувствия переполняло сердце.

За дверьми раздавались мерные настойчивые шаги, мягко по ковру звенели шпоры.

Раевский открыл дверь.

— А, Святослав! — останавливаясь посреди комнаты, воскликнул Лермонтов.— Входи, входи.

Он смотрел на Раевского веселыми, смеющимися глазами. Потом, словно вспомнив что-то, с отчаянным смехом бросился на оттоманку.

— Слушай! — катаясь по ней и задыхаясь от хохота, кричал Лермонтов.— Я сейчас представил себе, как ты будешь выглядеть, если влюбишься. Это будет нестерпимо глупо, уверяю тебя. Я сегодня был на одном вечере... Нет, это я должен тебе рассказать. Представь себе пехотного адъютанта, который не может оторваться взглядом от своего аксельбанта. Ну вот, у этого адъютанта морда такая, будто он подходит к причастию. Погоди, погоди, Святослав... Он танцевал, у его дамы такой вид, будто с ней сейчас произойдет какой-нибудь флотский казус. Это значит,— ты знаешь, что это значит? Это значит, что они только что объяснились. Вероятно, это очень тяжелое состояние пробыть весь вечер с такой мордой. Впрочем, я убежден, что адъютант прямо с бала поедет на Васильевский или к Московской заставе, если только у него дома не пристроено для этой цели какого-нибудь громоотвода. А его предмет — нет, это замечательно! — я могу тебе рассказать, что будет с ней. Это очень добропорядочный дом, живут по старинке, следовательно, горничная у девицы должна быть рябой и толстой, платье на ней домашнее, с четырехугольной тальей, внизу уже, чем сверху, ноги хлопают в грубых башмаках без ленточек. Вот такая-то горничная, с сонными глазами и зевая, придет раздевать свою барышню. Когда она будет снимать с нее туфли, та наконец не выдержит — нужно же кому-нибудь излиться в чувствах! — и начнет воспевать пехотного адъютанта. Горничная, конечно, икнет, скажет при этом «простите, барышня», барышня на нее разгневается, у ней пропадет ее мечтательное настроение, но сны, уверяю тебя, Святослав, она будет видеть в эту ночь такие приятные сны, каких до сих пор еще не видала. Никогда не влюбляйся, Святослав.

— Чем ты так раздражен? — тихо спросил Раевский.

— Я? Ты смеешься: я весел как никогда. А впрочем...— Лицо Лермонтова сразу перестало смеяться, сделалось грустным и беспокойным.— Я сейчас пытался сесть за своего «Оршу». И вот ничего, решительно ничего не выходит. Нет, нужно заболеть хоть на месяц, иначе от этих порханий я совсем разучусь писать.

— Да, правда, ты за этой светской жизнью совсем бросил стихи,— живо подхватил Раевский.

— Ну, ты уж обрадовался! Не стихи, Святослав, важны, даже и не стихи. Важно чувствование. А впрочем, черт знает, что важно! Я и сам не могу понять этого.

XII

Имелось постановление, вынесенное кабинетом министров еще при Александре, что «партии уголовные в Сибирь надлежит направлять с таким расчетом, чтобы большая часть пути протекала во время летнее».

Но «у казенного гвоздя и шляпка — денежка,— сумей только выколотить».

В зимние короткие дни переходы должны быть по крайней мере вполовину короче летних.

Как ни скуден арестантский рацион, но и с него, как с гвоздя шляпка, быть неминуемо доходу. Арестантские партии всегда норовили составить к отправке зимой либо осенью.

Мутное, в тумане и морозной пыли, утро никак не могло разодрать глаз. Словно сквозь слипшиеся от тяжкого сна веки, смотрело оно на белую унылую землю.

На крыше Зимнего дворца уже работал рукастый телеграф. Черная плоская доска то вскидывалась, разрубая сумрак, то, словно в плече у нее обрывалась связка, бессильно висла вдоль мачты. От Главного штаба скакали к заставе фельдъегерские сани. В казармах глухо рокочущей трубой звали «на молитву». На улицах появились первые заспанные извозчики. У лавок снимали ставни. Зевая, вылезали из своих будок «будочники».

За заставой Московский тракт оглашался глухим непрестанным звоном. Под сотней давивших его ног скрипел снег. Скрип с каждого шага подхватывало бряцанье кандалов.

Закованными шли только приговоренные к каторжным работам и арестантским ротам. Таких в партии было человек тридцать. Впереди них в ямских санях шагом ехал конвойный офицер, за ним, окруженные цепью солдат, гремели бряцающим шагом кандальные; дальше конвой редел, шли ссыльные, тянулись обывательские пошевни со скарбом, детьми, слабосильными и «вольноследующими». За ними расплывчатым серым силуэтом, как разминувшийся прохожий, отходил и отставал город.

Пока не вышли за заставу, попадавшиеся навстречу пешеходы сбегали с тротуаров, поспешно совали в руку конвойному грошик, шепча:

— Несчастненьким, Христа ради.

И торопливо отбегали прочь.

За заставой в шесть троек укатанный тракт по раннему часу был еще пустынен. Изредка, заглушаемое звоном кандалов, летело: «Поди!» Взмыленные, в клубах пара — навстречу, сухие в облаках снежной пыли — догоняя, проносились фельдъегерские тройки. Реже попадались крытые барские возки, в ямских раскидных санях дремали те, кто был победнее или ехал по делам службы. Снежная, выбеленная морозом дорога лежала перед глазами, как чистая скатерть, расстеленная вровень с полями.

В последних в обозе кошевнях, среди груды арестантского скарба, сидели три женщины. У двух на руках были дети, третья, занимавшая самое удобное место, держала на коленях только связанный в ковровый платок узел. Первые две, старообрядки, целой семьей отправляемые в ссылку, поглядывали на нее порой не то с робостью, не то с завистью. Только седой, как лунь, старик, сидевший рядом с возницей смотрел на нее неодобрительно и сурово.

Конвойный унтер-офицер, притулившийся с краю саней потянуть трубочку, говорил, ни к кому не обращаясь:

— Наше дело служивое. Был, служил. В отставку стал выходить, языком что-то не так наработал. Ан царя-то и рассердил. Вот и выходит — человека как не бывало, все начинай сначала.

Он помолчал, улыбаясь благодушно и незлобиво. Потом заговорил опять все с той же улыбочкой:

— Тридцать два года в службе из меня шкуру барабанную делали, а тут напослед отодрали по-гвардейскому, по-настоящему, да в гарнизон. Спасибо хоть лычки оставили. Промеж мужиков и бурмистр барин. Вот так-то.

Он в горсти высек огня, стал раскуривать трубку, а раскурив, продолжал, не меняя тона:

— Жаловаться еще пока что нечего: хуже бывало, только вот в чем обида и несправедливость страшная...

Лицо у него вдруг нахмурилось. Обращаясь к сидевшему в санях старику, заговорил по-другому, обиженно и резко:

— Вот, вот, это самое. Крест, за кровь собственную

данный крест егорьевский с грудей сорвал и ногой затоптал. Лычек не лишил — иди, мол, на выслугу — это тоже неправильно: разжаловать полагается, если на выслугу. А вот крест, крест как, если даже и не разжаловали? Этого и царь не может.

Старик посмотрел на него сурово, скороговоркой, как про себя, заговорил:

— Пустое, пустое. Он дал, он и взял. Все в его власти, и крест этот твой без значения, нестоящий. Тут вот какая печаль: кабы он сам-то был настоящий...

Мгновенно взметнулся на него унтерский взор поначальнически.

— Старик, лишнего не болтай, а то знаешь: дружба дружбой, а табачок врозь.

Старик снова смолк, отвернулся и, бормоча себе под нос, только сплюнул.

Унтер замолчал тоже, попыхивая трубкой. Потом опять с веселой улыбкой обратился к закутанной в шаль женщине:

— Нам что: рубашку сменишь — постирать подумаешь, а жизнь и того проще. Лучше только на том свете станется. А вот вы,— величать как, не знаю,— как на такое дело решились, этого и в толк не возьму.

Женщина, лениво играя глазами, улыбнулась.

— Звать Дарьей, а по батюшке Антоновна,— проговорила она, растягивая слова.

— Вы-то как, Дарья Антоновна, от хорошей жизни на этакую подлость идете? Аль не гвардейской солдаткой были, что с арестантом пошли?

Женщина посмотрела на него насмешливо. Помолчав, сказала. Слова у нее выходили мягкими, тягучими, как будто она резала тесто.

— Говорите, тридцать два года в службе пробыли, а ума, как посмотрю, не нажили. В людях разобраться не умеете.

Чуть ускоряя речь, она обернулась к сидевшим рядом старообрядкам:

— Вы, бабочки, может, и впрямь что подумаете,— при этом она улыбнулась, под красными влажными губами блестели белые, как снег, и ровные зубы.— Ни боже мой, этого со мной не бывало. Я с барином с одним долго жила, а от Михаила Ивановича моего такую привязанность имею, что за ним не то что на каторгу, в самый ад пойду. Очень это редко случается, чтобы человек такое правильное понятие о жизни имел, как Михаил Ивано-

вич. За это и любовь промеж нас такая вышла. Он и на грабеж ради этого понятия только решился. «Все равно,— говорит,— настоящей жизни так быть не может»,— а он у господ главным дворецким был, сто рублей жалованья получал. «Нужно,— говорит,— добыть для начала только, а я в походах бывал, видал, как в заграницах люди живут, могу понимать теперь, через что можно получить настоящее освобождение». Только вон видишь, как обернулось, и опять все сам: характер у него властный да гордый, людей притеснял — они его и выдали.

— Что ж вас-то помиловали? Ай никак не признавался? — усмехнулся унтер.

Дарья Антоновна поиграла глазами, иронически и свысока оглядела унтера.

В это время впереди раздалась команда. Забил барабан. Унтер проворно соскочил с саней, оправляя на ходу шинель, побежал вперед. Старик, приподнявшись с места и шаря подслеповатыми глазами прошамкал:

— Ай уже привал? Больно скоро-то.

Но барабан впереди трещал неумолчно, ряды арестантов расстроились, одни за другими останавливались сани. Вдалеке, в ранних зимних сумерках, чернели мутные очертания жилья.

Подводы по команде свернули влево, объезжая толпу арестантов, направились к деревне.

Худой, высокий, как жердь, офицер суетился перед фронтом, рассчитывая и разделяя партию на отдельные группы. На морозе хриплыми голосами перекликались, рассчит⟨ыва⟩ясь, арестанты.

Дарья Антоновна вышла из саней, дождалась, пока офицер окончил разбивку, и подошла к нему.

— Ваше благородие,— густые ресницы опустились, закрывая черные и блестевшие глаза.— Ваше благородие, дозвольте к вам с просьбой.

У офицера беспокойно заметался взгляд, лицо словно помутнело.

— Ну, в чем дело? Вольноследующая? С арестантом переночевать дозволить?

Голос у офицера, глухой и хриплый, скрипнул над самым ухом. От винного дыхания замутило. Медленный румянец стал заливать лицо Дарьи Антоновны. Еще ниже опустила ресницы.

— Так, значит, дозволите? — не поднимая глаз, тихо сказала она...

Батурину отвели ночлег вместе с конвойными, отдельно от прочих арестантов.

Около штофа вина, поставленного Дарьей Антоновной, хлопотал и разглагольствовал веселый унтер.

— Ты что ж, друг? Али доля еще не горька кажется?

Батурин отодвинул от себя стакан.

— Не буду,— сказал он твердо и снова потупился.

— Не будешь, нам больше останется. Пей, ребята, хозяйка придет, другой поставит.

Но хозяйка не приходила долго. Уже и штоф давно был выпит, растянувшись под лавкой, храпели конвойные. Дремал, сидя за столом, говорливый унтер.

Под окном заскрипели на снегу шаги. В замерзшее стекло часто и дробно застучали. Унтер встрепенулся, протирая кулаками глаза, и, потягиваясь, пошел открывать.

Накинутый на голову полушалок закрывал почти все лицо Дарьи Антоновны, только глаза, черные и большие, блестели беспокойно и горячо. На щеках горел яркий — не от мороза — румянец.

— Не спишь, Михаил Иванович? — спросила она, задыхаясь и скоро.— Мне сказать тебе кое-что надо. Чай, дяденька не запретит.

В углу глухо звякнули кандалы. Батурин медленно поднялся с лавки.

— Господин взводный,— выкрикнул он, вытягиваясь по форме перед унтером,— разрешите ночевать с товарищами! Как по закону полагается.

И, подступая вплотную, почти прохрипел:

— Отведи, тебе говорю, отведи. Не то беда будет.

Подвыпивший унтер попятился в испуге. Дарья Антоновна бросилась к Батурину.

— Михаил Иванович, аль рехнулся?! Тут хлопочешь, стараешься, легко, думаешь, устроить! — прерывисто зашептала она.

У Батурина потемнело лицо, глаза налились кровью. Тяжело звякнули коротким обрывающимся звуком кандалы. Дарья Антоновна проворно отскочила.

Из угла, с улыбкой презрительной и насмешливой, покачивая головой, проговорила:

— Жисть правильную загадал? Со мной, говоришь, и в Сибири не пропадешь? А характер-то куда денешь? С таким-то характером жизнь правильную как раз сделаешь? Эх, Михаил Иванович, заела тебя гордость, от ей и погибнешь.

Еще через два перехода, когда партия пристала на ночлег в большом проезжем селе, Дарью Антоновну видели пьющей чай на станции с каким-то усатым офицером.

Наутро, перед самым выходом, замызганный лакей пришел и взял из саней ее укладку и узлы. Дальше она уже не следовала за партией.

XIII

Месяцы проходили, как однообразные версты сливающегося с белыми полями тракта. Снег жестко хрустел под ногами, и кандальный звон, как притомившаяся птица, казалось, только на пол-аршина взлетал над дорогой, тотчас же падал и глох.

Потом в деревнях, которыми проходили, белая пелена, укутавшая избы, стала сквозить и расползаться; снег в городах делался буро-коричневым, тяжелым и липким, как мокрая соль. Тракт пожелтел и размяк, темными пятнами проступили на нем кучи смерзшегося навоза, колеи наполнялись ржавою жижей. На полях, как небритая и редкая щетина, показались из снега сухие прошлогодние стебли. А воздух делался все легче и тоньше, звуки легко поднимались от земли, мягко и просторно расходились под голубым необъятным куполом.

В апреле дороги стали совсем черными, только, словно просыпанная, проступала на них желтизна непросохшей глины и щебня. В мае партия подходила к Омску.

До острога, до рудников дошли не все. В каком-то уездном городке, которого и названия не запомнишь, оставили красивую старообрядку, молчальницу словно по обету; в одну ночь, промаявшись животом, сгиб на привале в поле веселый сапожник-кандальник; не вынес дороги старик, грустивший о весеннем севе; сдали умирающими в городской острог пятерых питерских мастеровых, плаксивую девку похоронили в дороге. Не дошли и многие другие.

Чем ближе подходили к рудникам, конечному пункту странствования, тем чаще и чаще снова стали порхать в воздухе ленивые белые мухи, на дороге по смерзшимся колеям нарастала пушистая снеговая плесень.

Забор из плотно натыканных, заостренных в вершинах кольев, как отбитая челюсть, бессильно щерился на запушенное вьюгою небо. Звяканье засовов, перекличка

часовых и конвойных,— партия по команде остановилась и ждала; потом опять команда, опять ноющее кандальное пенье; запахнулись ворота, и этап в триста тридцать один день был окончен.

Батурин попал на работу на четвертые сутки. В паре с ним работал сухощавый кавказец с таким тонким и гибким телом, будто у него там были не кости, а ивовые прутья. Кавказец плохо говорил по-русски. Два года назад его в первый раз взяли в плен. Он бежал. Через три месяца, с ногой, перебитой пулей, попался снова. Тогда его сослали в каторгу. Кавказца звали как-то длинно и трудно, каторжники оставили ему в кличку только самое начало его имени: Багир. Лицо у Багира было желтое, словно в кожу втерли жидкую охру. Щеки впали, и когда он кашлял,— а кашлял он постоянно,— они надувались и втягивались, втягивались и надувались, как зоб у лягушки. По вечерам, когда каторжников пригоняли с работ в казарму, он молча ложился рядом с Батуриным. Часами лежал с раскрытыми глазами, неподвижный, как мертвый.

— Багир, спишь? — окликал его осторожно Батурин.

Ответ всегда был один и тот же, глухим бурлящим шепотом:

— Нэт, нэт, Михал. Мне спать не нада. Я так видэл, что думал.

Морозы крепчали. Шурфовые ямы приходилось теперь выжигать кострами. Колючий ледяной ветер дул словно с двух сторон сразу. Каторжники работали, хотя и в старых и дырявых, но в полушубках и валенках. Конвойные солдаты мерзли в холодных сапогах и легких шинелях. О добрых отношениях, существовавших во время этапа между стражей и арестантами, не было и помину.

Как-то раз, когда команда, возвратившаяся с работы, гудела в сумерках перед сном разговорами, разнесся неизвестно как попавший сюда слух: старший унтер-офицер гарнизонной команды, проделавший вместе с партией весь переход от Петербурга до Нерчинска, Илья Потапов, вдруг ни с того ни с сего, проходя в свой отпускной день по городу, перебежал с мостков через улицу и на глазах у прохожих заколол какую-то женщину. Женщина эта, говорили, была местной мещанкой, торговкой, имела деньги, но грабежа тут никакого не было, да и какой мог быть грабеж на глазах, по крайней мере, десятка прохожих. Самое странное было то, что Потапов сам

на допросе показал под присягой, что этой женщины он никогда не знал и не видел, а на все вопросы, почему и зачем он убил, неизменно твердил одно и то же:

— Так что помутнение вышло. И женщины знать не знаю, и зла на нее никакого не имел.

Так ничего от него и не добились.

Присужден он был к плетям и каторжным работам бессрочно.

Казарма оживилась, заволновалась:

— С чего бы это он?

Но волнению и разговорам суждено было скоро оборваться. В ту же ночь умер Багир. Умирал он жалостно, и эта смерть заслонила собой и непонятное убийство, и каторжные мутные будни, и свою, страшную у каждого по-особому, долю.

В закопченный, с обледенелыми стенами сарай вошла унылая, щемящая жалость. Словно призвал ее на миг, умирая, Багир,— не отходила она от сердца.

Занеможилось ему еще днем, на работе. Вывозя на отвалы вместе с Батуриным мерзлые комья земли, Багир споткнулся, упал, залился судорожно лающим кашлем. Кровь, как лохмотья трухлявого мокрого шелка, летела с его губ на снег, на мерзлую корявую глину.

— Багирка, чего ты? Надорвался? Присядь, посидишь — оно отойдет.

Михаил Иванович поднял его с земли, посадил на груженую тачку, снегом стал растирать ему лоб. Кашель не проходил.

— Расселись! На третьей тачке уж выдохлись!

К ним, перебросив из руки в руку ружье, подходил часовой.

На один миг глаза у Батурина сверкнули зловещим блеском, но они погасли сейчас же, он ничего не сказал и, только поплевав на ладони, снова взялся за тачку.

— Багирка, ты не трудись, так для виду только шагай наперед,— мягко выговаривал он и, напрягая плечи, двинул тачку.

К вечеру у Багира уже закатывались глаза. Пожелтевшие белки страшно и слепо смотрели меж незакрывшихся век. Вся казарма столпилась около него. Кто-то сказал соболезнующе:

— Багирка, дать, может, тебе чего? Легче будет.

Батурин оборвал сурово:

— Чего дашь-то, дай хоть умереть спокойно, видишь — отходит.

К ночи Багир заговорил. Все думали, что он бредит. В перерывах между кашлем, задыхаясь и с трудом ворочая языком, он говорил о каких-то никому не понятных вещах, мешал слова своего языка с русскими. Поняли только одно: просил Багир каких-то ягод, рассказывал, какие они красивые и большие, и одни из них словно налиты мутным и сладким вином, другие — темным, как кровью, и к ним, как к реке, пристал вечерний туман. Он упрашивал дать их ему, просил руками, глазами, просил так жалобно, что у многих навертывались слезы.

Глиняный черепок с налитым в него салом чадил, освещая только небольшой круг возле себя. Люди стояли с сумрачными, скорбными лицами. Вдруг Батурин, покривившись так, словно он собирался заплакать, проговорил взволнованным шепотом:

— Виноград. Это он про виноград рассказывает. Фрукт такой есть, господа кушают. Его оттуда, с Кавказу, и привозят. Вон по чему затосковал. Захотелось, значит, родину чем вспомнить.

И вздохнул тяжело.

В толпе ответили тоже вздохом. Кто-то отвернулся и тихо отошел в сторону. В тишине стонал и метался Багир, бредя о зажженных солнцем виноградниках, о небе, золотистом, как парча, и голубом, как атлас. Ночью он умер.

А через неделю его место на нарах рядом с Батуриным занял новый жилец, бывший старший унтер-офицер гарнизонной команды, Илья Потапов.

Батурин встретил его недружелюбно и подозрительно, только и спросил с усмешкой:

— Что на ноги скоро поднялся? Ай драли только для вида?

Потапов ответил быстро и весело:

— Должно, что так. Я счастливый. Меня и в армию сам царь разжаловал. Да только лычки содрать забыл. Дошел с удобством. А сейчас, вишь, палачу какому попался, из ваших же, помнишь, в партии с нами шел конокрад, такой низенький да черный. Ну, вот, значит, по прошлой памяти и помилосердствовал. А ты что ж, от своей бабы обиды не забыл, что ли, что на людей так супишься?

Батурин смолчал.

Ночью они разговорились. В темноте, не видя лица

соседа, будто с собой говорил Батурин, и слова у него выходили не такие насмешливые и обрывистые, как всегда. Потапов слушал молча, не прерывая, и только когда тот смолк, поспешно, словно боясь упустить время, заговорил:

— Вот и я так-то. Да как же — ты сам посуди: на вас и валенки и полушубок казенный, а стоим-то на морозе одинаково, что вы, что мы. Опять возьми арестантский паек и солдатский. Да вы еще на вольную работу ходите, какую копейку себе иной раз зашибете. А у нас, как с караула пришел,— сам служил, чай, знаешь,— тут и одним глазом соснуть у тебя времени не хватит. Словом, по всем статьям жизнь арестантская выходит лучше. Ну, и решился. Как это меня осенило, я уж и сказать тебе не сумею. Месяц думал — все боязно. Только вот иду себе, думаю, пропадать один раз, а жить-то не неделю. Перекрестился, да и пырнул ножом какую-то бабу. Вот, по-моему и вышло: вишь, царский гнев ни к чему. А они уж там бились, бились и так, и эдак — отчего, да почему, все им дознаться хочется, отчего это я бабу прирезал, не было ли чего между нами. А я, как перед крестом,— ничего, дескать, не было, в первый раз ее видел. Так и не дознались. Только чудно мне что-то. Ужели понять трудно, что человеку на каторгу попасть хочется?

Рядом с ним в темноте послышался тяжелый вздох. Потапов помолчал, ожидая, что скажет сосед. Не дождавшисть, заговорил опять участливо и мягко:

— А это ты, друг, брось. Это и весной прибыли не составит, а сейчас и вовсе в тайгу идти не годится. Человек человеку — зверь. Этого, брат, забывать не надо. В варнаках хоть и на свободе будешь, а все равно от людей не уйдешь. Без этого никак невозможно, вот то-то и оно.

И опять Батурин ничего не ответил. Прошла, по крайней мере, минута, когда он тихо, как вздох, и с отчаянием выговорил:

— Эх, хоть бы письмишко сюда получить можно было, я бы и о варнаках не задумался бы.

XIV

Харьковского белого уланского полка отставной штаб-ротмистр Нигорин, Никодим Васильевич, появился в столице зимой прошлого, 1835 года.

Человек он был рослый, видный; густые брови, морща

складками лоб, сходились внушительно и грозно; голос, хоть и испитой до самой гущи, гремел все же независимо и басисто, но в волосах, густых и черных, как смоль, в лихих усах уже прочно завязалась седина, дряблые морщины бежали по лицу, несвежему, как простыня в дрянном провинциальном трактире, часто моргали глаза, и видно было, что человек свое прожил. Вся движимость у него, как приехал, заключалась в старом черешневом чубуке, поношенной изрядно венгерке да крепостном человеке Фивке, то есть Феофилакте. Почему при таком состоянии он решил доживать свои остатние годы в Петербурге, было решительно непонятно. Однако это было сделано, по-видимому, не без причин.

Не прошло и полугода, как его имя стало известным всему Петербургу. К Нигорину, не считаясь часом, ночью после бала или маскарада, на рассвете после островов могла ввалиться шумная банда молодых повес, и гостеприимный хозяин неизменно, в каком бы виде и состоянии его ни застали, гремел испитым басом:

— Милости прошу! Для веселья и вина готов остаться и без сна.

Дом Никодима Васильевича был открыт для всех. Представлен ли ты или не представлен хозяину, зван или не зван,— но в любой час дня и ночи там можно было найти и веселую компанию, и карты, и вино, и много еще такого, зачем не ленились приезжать сюда даже с островов.

Евгений Петрович Самсонов обо всем этом только слышал. Незабываемый отныне для него праздник в доме Львовых повлек за собой шесть долгих, полных обременительной суеты, месяцев жениховства. Медовый затянулся больше чем на полгода,— в полку подсмеивались над влюбленным супругом. Щебетаньем Надежды Федоровны заполнялись дни. Ночи копились и росли, как тучи в сухой летний полдень. В напряженной тишине спальни вещи становились зоркими, настораживались и слушали. Сквозь занавес узкой полоской проблескивавшая синева говорила о наступивших сумерках другого, не его, мира.

Так было до декабря. В декабре неожиданно свалился от простуды старик Львов. Болезнь оказалась серьезной. Врачи предупредили домашних о возможности печального исхода, и Надежда Федоровна не оставляла больного отца, пребывая в родительском доме целыми

сутками. Жизнь Евгения Петровича оказалась нарушенной.

Декабрьский вечер тянулся невыносимо долго. В висячей лампе выгорело все масло, и она начинала чадить. Евгений Петрович приказал подать свечу.

«А дальше-то что?» — уже не в первый раз с тоской спрашивал он самого себя.

Из зеркала ему отвечала кривая и раздраженная усмешка. Было как будто стыдно даже мысленно раздражаться на больного тестя.

Чуть ли не с первых дней своей женитьбы Евгений Петрович поймал себя на том, что он ловит каждое неудачное слово, каждый неловкий жест жены, старательно скапливает их в памяти. Право, данное церковью, законом, родителями, мнением других, позволяло, не терзаясь самолюбивой подозрительностью, мстить за каждое свое раздраженье или неудовольствие. Потом это стало неотвратимо, как привычка. Дневника не писал уже давно. Служба, еще и раньше потерявшая всякую привлекательность, опостылела окончательно. Для спокойствия, для возвращения утраченного душевного равновесия, нужно было только одно: увериться, что не влюблен, почувствовать себя свободным от этой, впервые так всепоглощающе охватившей страсти. Этой уверенности не было.

Евгений Петрович еще ближе подошел к зеркалу. Заколебавшееся пламя свечей, как свободно свисавшую ткань, тронуло тени. Из зеркала на него смотрело незнакомое, с лихорадочно блестевшими глазами лицо.

«Тесть умирает,— он покривился, поправляя воротник мундира.— Будут упреки в невнимании, в нелюбви, если меня не найдут дома. Но ей дороже отец, значит, я имею шансы на выигрыш».

Он улыбнулся, открыл бумажник. Бегло отсчитал и выбросил на стол пачку ассигнаций, высыпал из кошелька пригоршню золотых, минуту подумал, собрал их обратно и, позванивая шпорами, быстро вышел из комнаты.

— Если пришлют от барыни, скажи — я уехал по службе,— бросил он в передней, стоя уже в шинели, поднял воротник и, пряча лицо по самые уши, вышел на улицу.

За углом взял извозчичьи сани. От самодовольной улыбки мех воротника делался нежнее и теплее. Лоб, как иголками, покалывало морозом. Синее, в ярких звез-

дах, небо застыло над головой: сани, казалось, тряслись и подпрыгивали на одном месте.

У Нигорина, когда там появился Евгений Петрович, игра только начиналась. В облаках табачного дыма, низко плававшего над столом, Самсонов с трудом различил два-три знакомых лица. В нерешительности он остановился на пороге. Хозяин в расстегнутой венгерке, из-под которой виднелась далеко не свежая сорочка, вскочил из-за стола.

— Рекомендую, господа, новый, можно сказать, соратник. Долго крепился. Как-с? Бессонов? Виноват — Самсонов. Господа, рекомендую: Самсонов, Евгений Петрович.

Несколько человек, сидевших у стола, привстав, поклонились Евгению Петровичу.

Какой-то уже не молодой чиновник, напоминавший собою нечищенный медный подсвечник, держал банк. Понтировало несколько человек, военных и штатских, но, видно, эта была игра еще не настоящая. Три других приготовленных карточных стола пустовали. За круглым, с закусками и винами, сидели кавалеристы. Они пили одно шампанское, пили лениво, с таким видом, будто их заставляют. Хозяин поминутно отрывался от карточного стола, чтобы спросить их:

— Ну, как, господа, хватает?

Быстро хватал со стола бутылку и, приговаривая:

— Ну вот, и смоленую голову чикнули,— необычайно ловко откупоривал ее.

Каждый раз, откупорив бутылку, он не забывал одним глотком опрокинуть в себя большой стакан, прежде чем вернуться к карточному столу.

Евгений Петрович от нечего делать стал прислушиваться к тому, что рассказывал белокурый гусар.

— ...любовь эта, должен вам сказать, совершенно исключительная,— картавя и с нерусским акцентом повествовал тот.— На этом портрете княгиня была изображена выходящей из ванной, а так как портрет висел над ванной настоящей и стены комнаты были фоном картины, то вы можете себе представить, как это выглядело.

— Добряк. Жену — дяде, а сам сыт и портретом.

— Подождите, подождите! — поднимая руку, воскликнул белокурый гусар.— Это только вступление. Смешное дальше.

— Ну, ну, рассказывай. Пока что занятного мало,—

лениво отозвался сутулый и маленький гусар в расстегнутом доломане.

Черные глаза его горели пронзительно и живо, и Евгению Петровичу показалось, что он уже не в первый раз испытывает неприятное чувство от этого взгляда.

— Ну, Маешка, на тебя не угодишь. Только то и интересно, что сам насочинишь,— замахали на него руками товарищи.— Дай Браницкому досказать.

— Я и даю, хотя и не Барятинский,— не меняя позы, лениво процедил Маешка.

— Так слушайте же,— воскликнул Браницкий.— Или я перестану рассказывать.

— Просим, просим! — раздались голоса.

Опять к столу подскочил проворный хозяин.

— Хватает?

Пробка с шумом выскочила из бутылки.

Браницкий говорил:

— Когда князя не бывало в Деречине, осмотр дворца и главным образом картинной галереи разрешался всем желающим. Показывалась и ванная. Вот какой-то армейский капитан, сопровождавший партию рекрут в Варшаву и задержавшийся в Деречине, пошел посмотреть дворец тоже. Провели его по залу, поглазел, поудивлялся; довели до ванной,— тут и пропал бедный малый. Стоит и глаз оторвать не может. Проходит час, другой, публику уже начинают просить о выходе, а он как будто и не слышит. Наконец ему растолковали. Вздохнул, опустил голову, вышел, но только наутро является опять и ничего уж, кроме ванной, смотреть не хочет. Прямо туда, и опять целый день с княгини Пелагеи глаз отвести не может. На следующий день ему бы надо выступать со своей партией, так нет. Он отправляет с ней прапорщика, а сам остается в Деречине, и теперь капитан только что спит да обедает не во дворце. Так целые дни и просиживает перед портретом. Прошло дней десять или более, возвращается князь. Тут посещения палацца, разумеется, прекратились, но капитан, тем не менее, из Деречина не уезжает и своей партии догонять даже и не думает. Разумеется, князю доложили об этом чудаке. Он послал за ним и объявил, что тот во всякое время может приходить и смотреть портрет. Капитан с радостью принял любезное приглашение и, надо думать, пользовался им чрезвычайно широко, потому что в конце концов его исключили из службы по причине безвестной отлучки. Но князь и тут не отступился от своего покровительства это-

му мономану. Узнав, что ему нечем жить, назначил пенсию в сто червонцев в год и приказал отвести квартиру в одном из флигелей при дворце. Посещать ванную комнату и проводить в ней время, сколько ему вздумается, разрешалось капитану невозбранно. Ну, как вы думаете, господа, чем все это кончилось?

Браницкий вопросительным взглядом обвел слушателей и под общий хохот закончил:

— Через год этот чудак заболел, у него отсохла рука, и он помер.

Маленький гусар, которого называли Маешкой, едва лишь улыбнулся.

— Как это, Тизенгаузен, тебя господь милует? Давно бы пора у тебя языку, что ли, отсохнуть,— проговорил он.

Новый взрыв хохота подхватил эти слова. Беленький, с девичьим румянцем на щеках кирасир, нисколько не смущаясь устремленных к нему со всех сторон взглядов, програссировал:

— Ты, Легмонтов, мне еще со школы все мгачное пгогочишь. Завидуешь, должно быть, стагина.

Играя глазами, как женщина, он осмотрел Лермонтова с головы до ног.

— Каков гусь! А? — в пьяном восторге закричал лейб-драгун, чертами лица слегка напоминавший Лермонтова.

— Гусыня и та нестись перестала,— лениво поправил его Лермонтов и, поднявшись со стула, перешел к карточному столу.

— А вы, поручик, играть не изволите? — небрежно бросил он в сторону Самсонова.

— В таком случае я не имел бы чести вас здесь встретить,— непонятно почему раздражаясь, ответил Евгений Петрович.

— Не слишком это лестно для хозяина. Однако пожалуйте, если решились.

Самсонов промолчал.

За вторым столом метать банк сел сам хозяин. Евгений Петрович, стараясь не замечать насмешливого и пристального взгляда Лермонтова, подошел к столу. Рука у него слегка дрожала, когда он распечатывал колоду.

Лермонтов рядом с ним, небрежно развалясь на стуле, покрыл свою карту пачкой ассигнаций. Самсонов поставил сто. Хозяин, прищурив левый глаз, подсчитал и аккуратно записал мелом ставки.

— Бокал вина, поручик,— не глядя на Самсонова,

сказал Лермонтов и, не поднимаясь с места, потянулся за бутылкой.

У Самсонова напряженно дрогнул угол рта.

— Не могу принять, не имея возможности ответить тем же.

— Пожалуйте, отчего же? Дайте только золотой тому неказистому малому, он вмиг вам подаст.

Евгений Петрович промолчал и на этот раз. Он знаком подозвал к себе необычайно грязного и оборванного лакея, выбросил на стол два золотых и молча пальцем показал на бутылку.

Нигорин метал сосредоточенно и серьезно, не слыша и не замечая происходящего около. Окончив прокидку, он поднимал брови и, тараща глаза, осматривал поле сражения. Семерка Самсонова выиграла.

— Вам-с, двести.

Нигорин рассчитанным жестом подвинул к нему деньги.

Евгений Петрович рассеянно и не глядя взял их со стола.

— От вашей рассеянности, поручик, страдают ваши партнеры,— раздался над его ухом насмешливый голос.

Он вздрогнул. Задыхаясь и не справляясь с голосом, выкрикнул:

— Что вы хотите сказать?

Гусарский корнет смотрел теперь не только насмешливо, но и дерзко.

— Не больше того, что сказал. Извините, но вы загребли к себе и мои деньги.

Самсонов почувствовал, как у него на голове от ужаса и стыда поднимаются волосы. Кровь широкой волной ударила в лицо. Он готов был ударить этого наглого корнета. Другие игроки смотрели на него с оскорбительной улыбкой. Он даже не мог себе представить, как это случилось. В руках он держал четыре сторублевых бумажки.

Попробовал выдавить на лице улыбку:

— Надеюсь, вы не подумали, что это намеренно?

— О, конечно, нет.

Лермонтов уже не смотрел на Самсонова, видимо, потеряв к нему всякий интерес.

— Маешка, ты чего нынче бесишься? Тебе же не везет.

Тот даже не посмотрел на угреватого и толстого улана.

— Тебе-то что?

— За тебя радуюсь.

— Чему?

— Должно быть, в другом месте повезло. Может, у молодого супруга уже рога растут.

И улан грубо захохотал.

Евгений Петрович вдруг почувствовал, что у него похолодели кончики пальцев. На секунду словно кто-то зажал в кулаке сердце, потом отпустил, и оно забилось трепетно и часто. Ему казалось, что на него смотрят все, все улыбаются насмешливо и торжествующе. Он нервным жестом вытряхнул из кошелька на карту все бывшие у него золотые, бросил зажатые в руке бумажки. Нигорин покосился многозначительно.

«Все равно, я должен проиграть: меня любят»,— подумал Самсонов в каком-то странном возбуждении.

Ему вдруг захотелось домой. После такого проигрыша можно будет встать, не роняя себя в глазах игравшей молодежи.

Нигорин начал метать новую талию. Бубновый туз лег направо. Тоскливое отчаяние, с каким он начал игру, сменилось у Евгения Петровича тревожным волнением. Деньги были его. Он удвоил ставку.

— Играет горячо,— услышал он за спиной чей-то каменный голос.

Через три часа перед ним лежала на столе груда выигранного золота и бумажек. Стараясь подавить не проходившее волнение, он пил и пил бокал за бокалом. В голове стучали звонкие молоточки. Комната разделилась на две части. В одной, уже окрашенной проползшим сквозь занавеси голубым рассветом, стояла немая тишина. В другой шумели гусары, водружая над медным окаренком на скрещенных палашах целую голову сахара. Густым и тяжким вздохом вступила гитара. У стола затянули «Журавель»:

Разодеты как швицары
Царскосельские гусары...—

В углу несколько голосов подхватило:

Жура-жура журавель,
Журавушка молодой.

Окончивший игру хозяин, широко разводя руками, приглашал к столу.

Все тот же нечесаный лакей и еще двое таких же малоопрятных парней вкатывали в комнату накрытый стол. Гусары гасили свечи. Голубое пламя над окаренком отодвинулось в глубину.

Евгений Петрович, чувствуя, что ноги слушаются плохо, вместе со стулом придвинулся к столу.

— Моя подруга, Долли Антоновна. Рекомендую, кто незнаком,— опять широко разводя руками, провозгласил хозяин.

Высокая и полная женщина в платке и наряде, какие носят только зажиточные мещанки или купчихи победнее, непринужденно вошла в комнату.

— Что это все Долли да Долли,— надоело мне как,— лениво играя глазами, проговорила она.— Небось не при людях Дарьюшкой величаешь.

Она, как со старыми знакомыми, поздоровалась с гусарами. Те приветствовали ее рукоплесканием.

Чиновник, похожий на нечищеный подсвечник, сел рядом с Евгением Петровичем. Не дожидаясь никого, он потянулся к водочному графину.

— Пьете-с? — дико скосил он глаза и налил Евгению Петровичу рюмку.

Молоточки, не переставая, стучали в голове. Ушат со жженкой теперь же водрузили на стол. Бледное колеблющееся пламя искажало лица. Дарья Антоновна, плотоядно улыбаясь, посмотрела на Самсонова.

— Что это я вас не знаю. В первый раз вы у нас, что ли?

От улыбки, трепетавшей на влажных и ярких губах, кружилась голова.

— Да, в первый. А что?

— Спросить хочу, кто вы. Я раньше всех преображенских офицеров по фамилиям знала.

— Самсонов.

— Самсонов? — протянула она удивленно.— Стало быть, племянничек Исленьеву Николаю Александровичу будете? Как же, как же, слыхала! Мне еще мой Михаил Иванович рассказывал.

Она вздохнула.

— Какой Михаил Иванович? Батурин? Да вы что, его любовницей были? Позвольте, так тогда в Сибирь разве не вы пошли с ним?

Ощущение, которое испытывал Евгений Петрович, напомнило ему бабочку, зажатую в горсти. Все его тело было как бы две огромных, сложившихся одна с другой ла-

дони. Внутри трепетно и бессильно билось что-то, стараясь освободиться.

Дарья Антоновна повела черными горячими глазами.

— Любовница ли, сестра ли родная — это наше с ним дело, никому разбирать не приходится. А вот что вернулась, так это дорога больно дальней показалась.

Вдруг как-то в один короткий миг Самсонову стало ясным, что Дарья Антоновна — красавица, красавица необыкновенная. От этого открытия противная слабость наполняла тело.

«Наденька тоже дальней дороги испугается»,— робко шевельнулось в мозгу.

Через два прибора от него, вертлявый верзила в красном кавалергардском мундире, жуя, убеждал кого-то:

— Нет, уж мне верить извольте. Я — Дантесу приятель. Этим летом, когда мы в Новой Деревне стояли, вся эта фарса и вышла. Уверенно говорю, что Наташа за ним бегала.

Звонкий срывающийся голос Лермонтова Самсонов узнал:

— Трубецкой, я требую, чтобы ты прекратил эту грязную болтовню. Она задевает человека, ногтя которого ты весь не стоишь.

— Как?

Все сразу вдруг повскакали с мест. Стучали отодвигаемые и опрокидываемые стулья. Кричавшего и требовавшего чего-то Трубецкого держали за руки несколько человек. Сквозь шум и крики до Евгения Петровича донеслись отчетливо, словно резали их одно за другим, слова:

— Трубецкой, тебе я неравный противник. У тебя не хватает самого главного: ума.

Спавший, уронив на стол голову, лейб-драгун проснулся, пьяными глазами повел кругом и, роняя опять голову, пробурчал:

— Это Костька Булгаков опять булгачит. Черт с ними, обойдутся.

Вдруг его пьяный взгляд остановился на Самсонове. Он сделал отчаянное усилие, выпрямился совсем над столом, рявкнул:

— Выпей, преображенец, и все пройдет!

Бокал пылавшего голубым пламенем рома был той последней каплей, которая добила Евгения Петровича. Дальше он ничего уже не помнил.

Очнулся он, когда хмурое зимнее утро мохнатым

сумраком заполнило комнату. Свесившаяся с дивана голова затекла, и в ней еще бродил хмель. Рядом — на креслах, на стульях, на полу — спали в самых неудобных позах вчерашние кутилы. На столе среди тарелок, стаканов и бутылок, свернувшись калачиком, лежала какая-то худенькая девушка, почти ребенок. Прижавшись к ее лицу щекой, храпел, сидя на стуле, тот самый лейб-драгун, который опоил его.

Самсонов, протирая глаза, осмотрелся кругом. В самом дальнем углу слышался осторожный шепот. Дарья Антоновна сидела на креслах, склонившись. На полу, у ее ног, в расстегнутом доломане полулежал Лермонтов. Голова его была у нее на коленях, она с нежностью и тихо время от времени проводила по черным кудрям рукой и говорила:

— Вот как это ты давеча сказал? Одних за то не любишь, что дают, а других за то, что не дают. Эх, Юрьевич, гордость все это проклятая, мужиковская гордость, самолюбствование. «Как бы меня не обидели». Да сам-то ты весь свет заберешь, что ли? Ну за что любить-то тебя, ты сам подумай? Она и не любит. Эх, не будет тебе, милый, счастья, никогда не будет.

Евгений Петрович тихонько поднялся с дивана, пошатываясь, прошел в прихожую, отыскал свою шинель. На улице уже наступил настоящий день. Если не вся, то в какой-то своей части столица проснулась. Тянулись на биржу извозчики, чухонки с Охты несли молоко, по морозу вбег бежали с огромными корзинами мальчишки-булочники.

У Нигорина в доме в боковой комнате горела одинокая свечка. Сам Никодим Васильевич в расстегнутой рубашке старательно выводил на четвертушке писчей бумаги:

Его превосходительству генерал-майору

ЛЕОНТИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ДУБЕЛЬТУ

от отставного штаб-ротмистра Нигорина

ДОНОШЕНИЕ

Лейб-гусарского полка корнет Лермонтов, быв в доме моем...

XV

В первую минуту после смерти отца, еще не выплакав всего горя, Надежда Федоровна как-то совсем по-детски прижалась, спрятала лицо на груди мужа.

— Это большая милость божья, что папа скончался, когда у меня есть ты. Что было бы со мной без тебя?! — прошептала она сквозь слезы такие волнующие и нежные слова, что ему и самому захотелось заплакать.

В церкви она почти всю службу простояла на коленях, только изредка, с пугливым удивлением, словно искала защиты и не верила, что эту защиту найдет, поднимала глаза на мужа. От этих взглядов Евгений Петрович чувствовал, как в нем смиряется раздраженье, проходит досада. Не досадовать и не раздражаться от всей этой печальной суеты, слов, слез и сожалений он не мог. И теперь от этого неприязненного чувства к покойному, по милости которого так нелепо нарушилось счастливое течение его жизни, оставалась только похожая на раскаяние печаль, и что-то родственное чувствованиям и настроению окружавших закрадывалось в сердце. Обедню пела придворная капелла в полном составе, голоса, как будто разбили хрусталь, звеня, дрожали под сводами. К концу службы в церковь заехал государь, выказывая сочувствие, обнял и поцеловал в лоб старшего Львова, Алексея.

Евгению Петровичу это показалось и великодушным и трогательным.

Неделю спустя после похорон он имел разговор со старшим своим шурином.

— Я тоже, друг мой, думаю, что тебе не следует искать карьеры в строевой службе,— говорил Львов.— Даже большим усердием, не имея приличного состояния, ты ничего не добьешься. На службу по корпусу жандармов привыкли смотреть как на что-то мало достойное благородного человека. А вот я девять лет числюсь в нем. И что же, скажи мне по совести, я от того проигрываю хоть сколько-нибудь в глазах любого верного и честного подданного государя? Всякая служба на пользу отечеству достойна уважения. Теперь я могу сказать тебе, что мы не раз с покойным батюшкой говорили о тебе. Он даже просил графа Бенкендорфа иметь тебя в виду, если в нашем управлении откроется вакансия. Тебя не могут страшить занятия преимущественно письменные, а мой пример не заставит тебя

думать, как это делают многие безумцы, что служба по корпусу жандармов чем-то предосудительна. Правда, граф не принадлежит к числу тех начальников, служить с которыми легко и просто, но отменные качества его благородной души искупают многое. Я уверен, что граф не оставит без внимания просьбы покойного батюшки, а ты и сам, вероятно, не раз задумывался о поприще, на котором можно было бы честно и одним усердием только завоевать себе положение и устроить порядочную жизнь.

Самсонов ответил обстоятельно, с тем сдержанным волнением, которое всегда заставляет думать, что человек говорит это не только в порыве чувств, но и в точном соответствии с доводами рассудка.

— Дорогой Алексей, ты как нельзя лучше разгадал мои помыслы. Я не сумею даже высказать тебе, как я благодарен вам с покойным батюшкой за ваши заботы. А что касается светского предрассудка, то, поверь, жандармский мундир не переделает моей души.

Львов поспешил перебить его:

— Я и не предполагаю, что тебе придется столкнуться с такого рода деятельностью, как ты думаешь. Когда я определялся снова в службу, я просил графа, чтобы он не употреблял меня по секретной части, и благородный мой начальник вполне, очевидно, понял меня, взял за руку и сказал: «Будь спокоен, ты будешь иметь часть отдельную». И действительно, за все девять лет мне ни разу не пришлось даже коснуться секретной части ведомства графа. Ты можешь быть спокоен: тебе тоже не грозит это — ведь служить-то ты будешь со мной.

Через неделю состоялся приказ, которым «лейб-гвардии Преображенского полка поручик Самсонов» назначался личным адъютантом шефа отдельного корпуса жандармов и командующего императорской Главной квартирой.

Предупрежденный Львовым, Евгений Петрович готовился к напряженной и отнимающей много времени работе, продолжительному сидению в канцелярии. В действительности новая служба оказалась не более обременительной, чем его штабное ничегонеделанье.

Ежедневно по утрам в дом Третьего отделения у Цепного моста съезжались наиболее приближенные графу чины управления. В так называемом малом кабинете он обыкновенно имел с ними беседу перед отправлением на доклад к государю. Все самое сокровенное, все наи-

более тщательно скрываемое от постороннего взгляда в жизни столицы открывалось на этих беседах. Как будто из большой корзины в веселом беспорядке вытряхивались здесь на ковер все происшествия миновавших дня и ночи. Их можно было рассматривать со всех сторон, вертеть в руках, вглядываться в самую глубину. После такой беседы, длившейся иногда час, а иногда и больше, собравшиеся по молчаливому знаку раскланивались со своим принципалом, и он ехал во дворец с докладом. Очень редко после этого случалось Евгению Петровичу провести в управлении какой-нибудь час или полтора за неожиданно представившимся письменным занятием, еще реже беспокоил его дома жандарм с коротким:

— Пожалуйте к графу.

Времени для себя оставалось даже с избытком. Как будто устроившаяся, наконец, освобожденная от тягостных размышлений последних месяцев его холостячества жизнь текла полным и равномерным течением. Надежда Федоровна по случаю траура не выезжала никуда. Счастливая уверенность раз достигнутого и уже ничем не нарушимого покоя переполняла сердце волнующим и благодетельным содержанием.

Новый, 1837 год Евгений Петрович заранее решил встречать дома, вдвоем с женой. Каждая мелочь, каждый пустяк этого скромного вечера были обдуманы со всею возможной тщательностью. Не слишком суеверный человек вообще, в данном случае он всем сердцем желал и верил, что так, как он его встретит, так и пройдет весь этот большой и загадочный год.

И вдруг тридцатого декабря, то есть за день до встречи, им принесли в конвертах с орленной печатью именные приглашения на придворный бал-маскарад.

Золотообрезный кусочек картона выпал из рук. Казалось, упал не он, упало и оборвалось что-то в сердце. Самсонов не был настолько наивен, чтобы не знать, чем вызвано это приглашение. У Львовых еще не кончился траур, об этом не могли не знать при дворе, но даже не затруднились подумать, так велико нетерпение. Один момент было желание к кому-то бежать, просить совета, помощи, защиты.

«А если не ехать?! Если сказаться больным?! У жены траур, она может отклонить приглашение...»

Короткая зябкая дрожь пробежала по телу. Все это было невозможно.

«Значит, вот сейчас, на рубеже этих двух годов, одного счастливого и другого неизвестного и обещающего, разом сломить жизнь...»

Надежда Федоровна с покорным вздохом приняла эту весть.

«Бедняжка, она не чувствует, не понимает, зачем зовут ее туда».

— Что делать, милый, мы не можем неглижировать приглашением от двора. Ведь это потом скажется на тебе же. Что делать, если они так жестоко забыли о моем горе!

На минуту она задумалась. Глаза ее сделались печальными и влажными, опуская их взгляд к земле, проговорила совсем тихо:

— А если не поехать... Нет, нет, бог знает, как это в будущем отзовется на нашей судьбе.

Евгений Петрович молчал. Она подняла голову, заглянула ему в лицо. Голубые, детски доверчивые глаза смотрели с такой верой, с такой любовью, что он только подавил вздох и молча вышел из комнаты.

Во дворце на балу какое-то странное оцепенение сковало Евгения Петровича. К нему подходили маски, пытались интриговать. Он отвечал неловко и невпопад, от него отходили или разочарованно, или с обидными ироническими замечаниями. Надежда Федоровна в полумаске, в домино упорхнула, захваченная вихрем кружащихся пар, так, как будто она улетала совсем из его жизни.

Дежурный флигель-адъютант, князь Долгорукий, подошел к нему с участливой улыбкой.

— Что с вами? Вы нездоровы?

И, не дождавшись ответа, заговорил с непритворным сочувствием:

— Что поделаешь: такова уж судьба вас всех, мужей хорошеньких женщин. Право, вы должны завидовать нам, холостякам. Я понимаю, как это невыносимо, превозмогая себя, торчать на бале до тех пор, пока ваш маленький деспот не вздумает наконец отпустить вас на отдых.

Очевидно, он заметил, какой неприязнью сверкнул взгляд Самсонова, потому что сейчас же, расплываясь в обворожительную улыбку, поспешил проговорить совершенно конфиденциальным тоном:

— Государь заметил ваш удрученный вид, но он решительно не хочет отпускать так рано Надежду

Федоровну. Он даже сказал мне, что она и Булгакова — украшение сегодняшнего вечера. Послушайте, не мучьте себя, позвольте мне доставить вашу супругу с бала. Я это почту самой приятной обязанностью.

Даже и полуторанедельных бесед по утрам у Бенкендорфа было достаточно, чтобы понять, что это приказание.

Серый зыблющий туман, сдвинувшись, скрыл блестящий зал. Ступая так твердо, словно он был пьян и боялся, что это заметят, спустился Евгений Петрович с лестницы. Улица с легким покалывающим морозом, с яркими, словно их подновили, звездами, с кострами, вокруг которых грелись кучера и жандармы, не отстранила. не облегчила тяжести гнетущих мыслей.

Только издали видел он сегодня государя. Знакомая высокая фигура, при одном виде которой еще с детских лет сердце замирало в привычном восторге, сейчас не уходила из глаз, как самое ненавистное и мучительное видение.

«Сегодня, через час, через два... Когда сегодня будет принадлежать ему Надя?..»

Он стиснул зубы так, что заломило в висках. От бессильной досады хотелось плакать. Самому себе он казался ничтожным, жалким, обиженным ребенком.

— Соперник,— с горькой иронией вырвалось вслух у Евгения Петровича.

Две каких-то девушки в платках, закрывавших лица, с разбега налетели на него.

— Как вас зовут?

Он растерялся, ответил честно:

— Евгений.

Они засмеялись, жеманничая, бросили ему «мерси» и проворно скрылись в темноте соседнего переулка.

Рядом на паперти звонко застучали в доску. Затем глухой, словно изнемогающий звон адмиралтейских курантов упал в морозный воздух. И раньше чем растаял этот звон, глухим лопающимся звуком ахнула в крепости пушка.

Новый год наступил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В конце января нового, 1837 года Владимиру Петровичу Бурнашеву было поручено собрать сведения печатные и практические об огородном производстве для составления проекта записки о полковых огородах.

Примерный своим усердием и аккуратностью чиновник в тот же день отправился в помещавшуюся на Невском в доме лютеранской Петропавловской церкви «Библиотеку для чтения». Странное название,— как будто может существовать библиотека и не для чтения — но, говорят, покойный ее основатель Смирдин настаивал именно на нем, производя его, по-видимому, от французского cabinet de lecture [1]. Теперь ею заведовал угрюмый и малообщительный библиоман — Федор Фролович Цветаев. Он вообще избегал каких бы то ни было разговоров с посетителями, и поэтому Бурнашев немало был удивлен, когда Цветаев встретил его таким неожиданным вопросом:

— А что, Владимир Петрович, давно ли вы виделись с Николаем Ивановичем Гречем?

Правда, для Бурнашева Цветаев и делал некоторое исключение, заговаривая иногда о той или иной новой книге, но бесед на темы не библиографического свойства не допускал и с ним.

— Да уже давненько,— все еще удивляясь, поспешил сообщить Бурнашев.— Заезжал в новый год, да они нынче по-знатному, не принимают. А что?

— Как что? Да разве вы не знаете? Его второй сын, этот молоденький студентик Николай, третьего дня умер. Завтра, двадцать седьмого, его и хоронят. Неужели вы так ничего и не знали?

— Что вы говорите? — воскликнул пораженный Бурнашев.

С минуту он стоял с видом растерянным и недоуменным. Он искренно любил литературу, побывать в кругу более или менее известных современников было для него событием, не менее любил он и парады, торжественные заседания, пышные похороны. Любое помпезное

[1] Кабинет для чтения (*фр.*).

зрелище, независимо от его характера, вызывало на глазах чувствительного Владимира Петровича слезы. К старику Гречу, игравшему столь видную роль в литературной жизни столицы, он питал самое почтительное уважение, смешанное с восхищением; впрочем, такие же чувства вызывал в нем и всякий другой более или менее заметный современник. Сложное чувство беспокойства, умилительной жалости, боязни пропустить что-то необыкновенное, интересное и неповторимое охватило Бурнашева. Но вместе с тем нужно было собирать материал об огородах, чиновничья добросовестность мешала тотчас же отдаться влечению сердца. Владимир Петрович колебался.

— Нужно мне, нужно съездить в дом к Гречу,— подыскивал он вслух основания.— Пожалуй, мое там отсутствие произведет самое неприятное впечатление, а потом, кто знает, может, кто и воспользуется этим, чтобы очернить меня в глазах добрейшего Николая Ивановича.

— Да, пожалуй, вам обязательно нужно поехать,— поддержал его Цветаев.

В передней у Греча Бурнашева встретил старый слуга с наплаканным покрасневшим лицом. Плерезы на рукавах и воротнике его черного платья возвещали о понесенной домом утрате.

— Вы, конечно, сударь, все знаете и пришли проститься с нашим ангелочком,— зашептал он, принимая от Владимира Петровича шубу.— Пожалуйте, пройдемте. Вы теперь никого из семейства не увидите: все умаялись эти дни ужасно, и доктор даже дал капель каких-то Николаю Ивановичу, чтобы они заснули.

Осторожно отпирая дверь, старик пояснил:

— У нас-то, у русских, конечно, обычай тот, что на покойника, словно на чудо какое, все смотреть идут, а у них, у лютеран, другой, изволите ли видеть, порядок. Николай Иванович строго-настрого приказали лишнего люда не пускать.

В просторной зале, служившей у Гречей одновременно и парадным кабинетом, царил желтоватый полусвет. Шторы на окнах были спущены, занавешена и стеклянная дверь на террасу. Черным коленкором были затянуты зеркала. Большой стол сдвинут к стене и освобожден от книг и бумаг. Подле него стояла длинная темно-зеленая кушетка. В изголовье ее белело серебряное распятье.

На кушетке, со сложенными на груди руками, в

студенческом, с васильковым воротником мундире лежал Коля Греч.

Длинные ресницы положили глубокую тень вокруг закрытых глаз. Юношески прекрасное лицо выглядело совсем как живое, только было ужасно бледно.

Тяжелый запах, исходивший от многочисленных гирлянд, венков, живых цветов, расставленных вокруг кушетки, влажный оранжерейный запах вызывал представление о тлении. От этого запаха долгое пребывание в комнате казалось невозможным.

Владимир Петрович, поцеловав холодный лоб Коли, перекрестился по православному обычаю и, опустившись на колени, отдал земной поклон покойнику, чем вызвал живейшую радость в заплаканных глазах старика слуги.

— Вот,— умиленно зашептал тот,— вот так и умирал сердечный наш Коленька. Все улыбался, уверял нас, что очень ему хорошо, а потом обращается к отцу и говорит: «Увидишь, папа, Пушкина Александра Сергеевича, скажи ему, что богу неугодно было, чтобы я пошел на театральную сцену, потому что я уже ухожу не в театральную, а в настоящую жизнь». Что он, сердечный, хотел сказать этим, я так и не понял, только все записал себе на память в календаре на листочках.

На цыпочках вышли из залы. С той же осторожностью, с какой он открывал ее, запер на ключ старик дверь.

— Когда хоронят? — деловито спросил Владимир Петрович, влезая в услужливо поданную шубу.

— Завтра, часа в четыре, приедет немецкий пастор, при нем и в гроб положат. Гроб-то еще со вчерашнего дня готов, только вот Николай Иванович не хотят все покойничка в него класть, говорят: «Пока Коля лежит на кушетке, мне все сдается, что он еще встанет, а в гроб положат — этого уж не будет». По этой причине они и на стол класть не велели тела, чтоб лежало вот как есть на кушетке, на которой, бывало, Коленька отдохнуть любил. Ох, уж эти именины, и не знали, и не гадали, что с них такая беда будет!

— А что такое? — живо поинтересовался Бурнашев.

— Да как же. С шестого декабря, как оба наших барина, и молодой и старый, именины справляли, с ним эта простуда и приключилась. В тот вечер еще сочинитель Пушкин Александр Сергеевич заезжал. Ну, Коленька их, прямо сказать, обожает. Так они, бед-

ненькие, проводить их до экипажа прямо без всего, в одном мундире на улицу выскочили. Вот и схватили простуду.

— Пушкин? Так у вас Пушкин был на вечере? Расскажи-ка мне, любезный, меня это весьма интересует.

Ради того, чтобы послушать историю, в которой принимало участие какое-нибудь лицо из литературного мира, Владимир Петрович готов был оставаться в передней хоть целый час.

— Да что ж тут рассказывать, тут и рассказывать нечего. Александр Сергеевич к нам как бы невзначай попали. Они проезжали мимо, увидали у нас в окнах свет, подумали, что здесь собрание какое. Так меня и спросили: «Что у вас здесь, собрание?» Ну, как увидели, какое собрание, то, конечно, неловко им сразу же ворочаться, зашли и бокал шампанского выпили и так с полчаса, а может, и поболе, пробыли. Только я вам скажу, хоть и редко они у нас бывали, но я все же заприметил, какой веселый у господина Пушкина характер, а в этот раз что-то как бы не в себе были, скучный такой и неразговорчивый. Коленьку нашего попросил стихи почитать и очень хвалил. «Вы,— говорит,— непременно артистом должны сделаться». А Коленька наш от этой похвалы, можно сказать, растаял совсем,— он, бедненький, господина Пушкина прямо бог знает как обожал. Да вот: как стал господин Пушкин от нас отъезжать, вышли все наши господа в переднюю, я подаю ему его медвежью шубу, а он и говорит: «Холодно мне как-то везде, нездоровится, что ли, в этом медвежьем климате. Надо на юг, на юг». А Коленька им эдак восторженно: «Ах, ежели бы,— говорит,— Александр Сергеевич, привелось мне увидеть вас в тех долинах, куда вы поехать хотите!» У Пушкина тут лицо сделалось грустное. «Гора с горой,— говорит он,— не сходится, а человек с человеком сойдется». С этими словами и вышел, а Коленька за ним, и до тех пор, пока господин Пушкин в экипаж не сели, так от него и не отходил. Чем он его, бедняжку, к себе так приворожил, этого, должно быть, моему старческому уму и не понять никогда.

И старик, тяжело вздыхая, стал кулаком тереть глаза.

На следующий день Владимир Петрович, облекшись в приличествующий случаю костюм, ровно в четыре был у подъезда дома Греча.

Проводить бедного Колю до места его последнего успокоения собралось столько народа, что пройти в зал было решительно невозможно. Владимир Петрович с трудом протискался в переднюю, ибо и на лестнице стояла публика.

Пастор говорил прощальное слово. Голос его, бархатистый и мягкий, словно душили низкие потолки и дыхание сгрудившихся в комнате людей. Бурнашев стоял, прижатый к буфету. Две черные крупные цифры на листке отрывного висевшего в простенке календаря назойливо лезли в глаза.

«Двадцать семь. Сегодня двадцать седьмое»,— почему-то повторял себе Владимир Петрович, хотя прекрасно помнил, что именно в этот день должны были состояться похороны.

Наконец пастор кончил говорить. Пронзительные вскрики и рыданья раздались в зале. Столпившаяся в дверях публика расступилась, давая дорогу кому-то, кого выводили под руки.

Застучал молоток: на гробу укрепляли крышку. На лестнице торопливо надевали шляпы и теснились к выходу. Владимир Петрович тоже вслед за другими вышел на улицу.

Гроб вынесли на руках студенты, товарищи покойного.

Страусовые перья на траурном катафалке раскачивались, как листья каких-то экзотических растений. Факелы изломанными линиями чертили сумерки догоравшего дня. Гроб поставили на катафалк, процессия тронулась.

Владимир Петрович ухитрился протискаться в первые ряды провожавших и, ускоряя шаги, шел теперь рядом с родственниками умершего.

Николай Иванович, как это всегда бывает с потерявшими близких, вполголоса вспоминал все неосуществившиеся желания, несбывшиеся надежды покойного сына. Как будто теперь они приобретали иной смысл, иное значение — осуществись они, и не было бы этой нелепой безвременной смерти, жив бы был Коля и все было бы хорошо. Даже артистическая карьера, которую предрекал покойному Пушкин, не казалась ему теперь ни невозможной, ни недостойной. Он говорил о ней с окружавшими, вспоминал, как мастерски его Коля умел читать стихи, вспомнил, с трудом выговаривая сквозь слезы, слова, как поручил он перед смертью передать Пушкину, что

«уходит в жизнь настоящую, в которой нет ничего лицедейного».

— А послано ли было приглашение Александру Сергеевичу? — вдруг озабоченно перебил он себя.— Ведь он так любил моего Колю.

— Послано, послано. И даже с нарочным, а не по городской почте,— поспешил успокоить его кто-то из родственников.

— А все-таки его нет. Верно, пишет новую поэму,— желчно выговорил Греч и замолк, опуская голову.

У портала Петропавловской церкви процессия остановилась. Многие из провожающих бросились снять гроб с катафалка.

В церкви он был поставлен на специальное возвышение против кафедры. Опять пастор говорил речь. Она продолжалась необыкновенно долго. На улице стало совсем темно, когда долго не глохнувшим аккордом орган закончил свою похожую на сдавленное рыданье песню. Студенты, товарищи покойного, подняли и понесли гроб к выходу. Публики было много, тронувшиеся вслед за гробом продвигались еле-еле. В тесноте напиравших со всех сторон людей Греч, обернувшись, увидел рядом с собой Бурнашева.

Любое необычайное по своей обстановке событие вызывало на лице сентиментального Владимира Петровича слезы. Сейчас, растроганный торжественной музыкой органа и сценой последнего прощания, он плакал, как маленький. Греч порывисто схватил его руку.

— Спасибо. Вы один из тех, кто всей душой любил моего Колю. Я слышал, вы вчера посетили его и долго оставались при нем. Спасибо, всем спасибо.

Он говорил это, рыдая.

Какой-то военный, должно быть, из близких родственников, чтобы утешить старика, заметил, что проводить Колю явились даже те, кто считался журнальными врагами его отца.

Лицо Греча исказилось не то от боли, не то от злобы.

— Да, только Александр Сергеевич Пушкин, которого так боготворил мой мальчик,— проговорил он с горькой иронией,— о котором он только и думал в последние свои минуты, не захотел почтить нас сегодня своим присутствием. Что ж, эти господа аристократы не считают нас такими же, как они, людьми. На наши чувства, на наши страдания им дозволительно и плюнуть.

В этот момент в толпе произошло какое-то смятение.

С трудом протискавшийся навстречу ей в церковь молодой человек с лицом растерянным и убитым поравнялся с Гречем. Подняв руку, словно хотел остановить движение, он закричал срывающимся, взволнованным голосом:

— Николай Иванович! Не грешите на бедного Пушкина, не упрекайте его в аристократизме, благодаря которому теперь, когда вы здесь оплакиваете сына, вся Россия оплакивает Пушкина. Да, да — он сегодня дрался на дуэли и пал от смертельной пули, которую не смогли вынуть.

Ропот ужаса и негодования пронесся в толпе. Слышались отдельные голоса:

— Кто смел поднять руку на Пушкина! Не может быть, чтобы это был русский человек!

Тот же голос, который только что сообщил эту ужасную весть, крикнул так громко, что слышали решительно все:

— Убийца — француз Дантес, офицер нашей гвардии и полотер в аристократии!

На улице сумерки сгустились в чернильную тьму. Траурные факелы вокруг катафалка пылали мрачным, багровым пламенем. В темноте кипели возмущенные молодые голоса:

— Теперь ему не с одним, с сотнями придется стреляться.

— Мы повсюду найдем его.

— Ему по военным законам крепостные работы.

— Мы и в Динабурге найдем его. И за границей ему не скрыться от наших пуль.

Бурнашев, взволнованный и растроганный до крайности, завидев в двух шагах от себя одного из своих сослуживцев, полковника Пейкера, бросился к нему.

— Александр Александрович, голубчик, я видел, у вас были сани. Едемте скорее на Мойку, к Певческому мосту. Может, мы там разузнаем что-нибудь.

II

Вся Мойка была запружена густыми толпами народа.

Конные и пешие жандармы вместе с полицейскими тщетно уговаривали публику не толпиться и разойтись.

Сажен за пятьдесят, по крайней мере, от дома Волконской, в котором жил Пушкин, Бурнашеву с Пейкером пришлось выйти из саней и пойти пешком. Дальше проехать было невозможно.

Владимир Петрович жадно ловил слова, раздававшиеся в толпе.

— Всегда женщины, всюду женщины,— говорил, сокрушенно вздыхая, какой-то пожилой чиновник.— Правду сказал Фуше: Cherchez la femme[1].

— Как ей-то теперь чувствуется,— сказал другой голос, и в нем слышалась самая неподдельная ненависть.

Пройдя несколько шагов, они услышали, как кто-то горячо и возбужденно доказывал:

— Это еще ничего не значит, что пулю не вынули: у меня вон брат с пулей в груди сколько лет живет — ничего, только одышкой иногда страдает. Бог милостив, проживет еще наше солнце на радость России.

— Слышите, Александр Александрович, значит, еще жив,— шепнул, дернув за руку своего спутника, Бурнашев.

Они протискались к самому подъезду.

Однако проникнуть в дом не стоило и пытаться. Двое полицейских и жандармский офицер стояли у самых дверей, не пропуская решительно никого.

— Постоимте здесь, Александр Александрович, авось кто-нибудь да выйдет,— чуть не плача, взмолился Бурнашев.

Пейкер, соглашаясь, молча кивнул головой.

Действительно, не прошло и пяти минут, как в дверях показалась полная фигура. Из-под распахнутой шинели блестел генеральский мундир.

Владимир Петрович, которому был известен чуть ли не весь Петербург, узнал в генерале состоявшего при особе наследника Юрьева.

Садясь в поданные к подъезду сани, генерал бросил кому-то из толпы отрывисто:

— Надежда плохая. Я сам не видел, но Василий Андреевич в отчаянии. Еду во дворец рассказать его высочеству все, что знаю.

Кто-то совсем близко от Бурнашева пронзительно вскрикнул и зарыдал. Сани Юрьева тронулись, с трудом прокладывая себе дорогу в толпе.

Через минуту от неистового «поди, поди» толпа шарахнулась и расступилась, давая дорогу другим парным саням с пристяжной на отлете.

---

[1] Ищите женщину (*фр.*).

Из саней выскочил флигель-адъютант в треуголке, надетой с поля, с черным пехотным султаном.

— Это мой бывший однополчанин,— шепнул Бурнашеву Пейкер и кинулся к флигель-адъютанту.

Тот, словно отмахиваясь от него, бросил на ходу:

— Велено переговорить с Василием Андреевичем Жуковским и Николаем Федоровичем Арендтом. Oh, c'est une histoire, cousue des intrigues[1].

Пейкер с разочарованным видом вернулся на прежнее место.

— Может, мы пойдем? — сказал он нерешительно.

Владимир Петрович запротестовал.

Из подъезда выбежал лакей в придворной красной ливрее и крикнул:

— Карету лейб-медика Арендта!

Придворная карета парой, с кучером, одетым в одинаковую с лакеем ливрею, двинулась к подъезду.

Маленький толстый человечек в черной шинели с бобровым воротником и в казавшемся на нем невероятно огромным цилиндре, появился в подъезде.

— Ну, что, ваше превосходительство? — с тоскливым отчаянием крикнули ему из толпы.

Арендт с минуту растерянно озирался по сторонам. Он сдвинул на лоб очки, глаза его были красны. Прикладывая к ним платок, прерывисто, словно его мучила одышка, проговорил:

— Ну, то, что плохо. Вся наша медицина ничего не сделает без помощи царя небесного. Земной же царь русский излил всю милость свою на страдальца.

— Ура! Ура нашему государю! — срывая с головы шляпу, закричал Пейкер.

Толпа глубоким слитным вздохом ответствовала на слова Арендта. Где-то в дальних рядах, очевидно, предположив, что получены добрые вести, подхватили было «ура», но на них сейчас же зашикали.

— Пора нам по домам, Владимир Петрович,— сконфуженно проговорил Пейкер.

Стоявшие рядом с ними смотрели на них неодобрительно, чуть ли не враждебно.

— Разумеется, разумеется, давно пора,— заспешил Владимир Петрович, в такой же мере, как и его спутник, переживавший неловкое чувство от этого неудачного патриотического выступления.— Мне, кстати, и поспе-

---

[1] О, это история, созданная интригами (*фр.*).

шать надо. Сегодня я зван на сговорный вечер. Один мой приятель избрал себе наконец подругу жизни. Весьма достойное семейство, весьма. Надо думать, что там не поскучаем.

III

Эта ночь, как и предыдущие, прошла тяжелым, ломающимся бредом.

Проснулся Евгений Петрович мгновенно. Казалось, даже не отстранил ни на миг не оставлявшие его мысли. Было такое ощущение — вот он ходит по комнате; над ковром, всего на каких-нибудь пол-аршина, протянуты в беспорядке веревки и веревочки, переступил одну,— ноги уже задевают другую, не зацепившись за протянутую сзади, нельзя их высвободить. Мысль барахтается, как связанная.

Рядом — спальня жены. Через полуприкрытую дверь в комнату проникает запах ее saché. Этим запахом пахнет ее ночное белье, пахнет она сама,— незабываемый, он мешается с запахами, присвоенными его половине: сухим — туалетной воды, горьковатым и вялым,— который оставляет только дыханье, ибо в спальне теперь он не курит; эти два — основные, прижившиеся к этим стенам, к этой мебели, неразрывные в представлении один с другим. Но, помимо их, есть и пришлые, непостоянные: причудливо острый — «La reine Marie Louise» парижского парфюмера Hubigant; тяжелый, дурманящий, он скоро пропадает от душной ночной тишины.

Евгений Петрович порывистыми шагами подошел к туалетному столу, уксусом смочил виски, тер их крепко и долго. Потом плеснул из таза в ладонь воды, смочил лоб и волосы. Лицо горело. Ему показалось, что если б он был сейчас пьян, он крикнул бы кому-то:

«Держите меня, друзья!»

Тишину как бы накрыли мягким ковром. Ни один звук не прорывался сюда, даже как дышит во сне Надежда Федоровна не было слышно. Запах ее личной помады несокрушимо воскрешал в памяти первые ее пробуждения в этом доме. Запахом «La reine Marie Louise» благоухала лестница в Аничковом, когда они всходили на новогодний маскарад.

— Это было до... до...

Евгений Петрович даже себе не решался сказать, до чего это было.

Вся жизнь разделилась теперь на две неравных половины. Все, что случилось, все, что пережил он до этой новогодней ночи, жило бессмертной, как тело — кровью, переполненной чувствами жизнью. От сегодняшнего, от каждого часа, от каждого движения, как плющ, со всех сторон обхватывающий какого-нибудь лесного гиганта, тянулись, давя и сжимая сердце, мучительные, тяжкие мысли.

Ни наивным, ни мечтателем Евгений Петрович себя не считал. Вряд ли кто-либо мог упрекнуть его в этом. Ни одним словом, ни одним намеком он не открыл жене своих терзаний. Но и с той стороны даже нечаянно не обмолвились ни словом. После новогоднего маскарада Надежда Федоровна вернулась домой, когда морозный узор на окнах уже золотел и покрывался румянцем. О хорошем вине не говорят: оно выдержано там-то, говорят: оно воспитано. Этот токай был польского воспитания, свадебный подарок дяди Исленьева в домашний погреб племянника. Сами венгерцы говорят: «nisi in Polonia educatum» [1]. Иначе несовершенно. Зеленая, как зелень увядающего букета, влага тяжелой маслянистой струей наполняла рюмку. Вино было крепко, как ликер, но оно не отнимало головы. Мысли ясные и настойчивые, как пульс, пылали его мягким огнем. Надежда Федоровна вошла в столовую. Он поднялся из-за стола. Вероятно, так воспринимают окружающее глухонемые. Она улыбнулась, у ней шевельнулись губы — безмолвие и тишина остались неизменными. С таким же эффектом мог рухнуть сейчас весь дом, с грохотом повалиться любая вещь.

— С новым годом, мой милый.

Губами он чувствовал только терпкую сладость токая и мягкие, расслабленно прильнувшие к его рту губы.

— Ну, что ж, хотя и с опозданием, но мы еще сможем высказать друг другу свои пожелания. Прости, я прикажу сейчас, чтоб подали шампанское.

Он улыбнулся исподлобья, вопрошающе.

— Не стоит. Налей мне этого вина.

Токай зеленой струей медленно, как масло, наполнил рюмку.

— Ах, я так устала, страшно устала...

---

[1] Только если воспитано в Польше (*лат.*).

Он ждал детских слез, смятенного униженного плача, покаяния, мольбы о прощении, в мыслях он уже видел ее кающейся, не смеющей даже коснуться его, жалкой и беспомощной, как жестоко обиженный ребенок.

Надежда Федоровна смотрела на него ясным и спокойным, только слегка утомленным взором. Губы у нее шевелились едва-едва, как будто ей трудно было говорить. Улыбка новая, какой он еще не видел, не сходила с них.

— Ты хочешь что-то спросить? Спрашивай, я слушаю.

Сразила эта улыбка, из победителя сделала покорным, смешала, как невыходивший пасьянс, все будущее.

Полусонные глаза смотрели пьяно и насмешливо. На губах еще было ощущение поцелуя. Он подошел, наклонился, оторваться от ее губ уже не мог. На руках отнес в спальню.

Теперь, днем, на беседах у Бенкендорфа, на улице, дома, Евгений Петрович часто и всегда по какому-то внезапному побуждению начинал перебирать в памяти тех, чьи жены, как говорили, были любовницами государя. Острая, как оскорбление, боль поднималась изнутри; как от пощечины, пылало лицо. Все они не были равны ему, среди них он не знал ни одного изболевшегося самолюбивой гордостью Самсонова. Он уже не был больше расчетливым и трезвым честолюбцем. Мысль о том, что в таких случаях снисходительность мужа всегда вознаграждалась, была омерзительна. Как-то подумал о пистолете. Железное тяжелое кольцо, сковавшее зловещую и черную, как будущее, пустоту, все чаще и чаще стало рисоваться взору. Как-то у одного холостого приятеля целый час подряд палил из пистолета по зажженной свечке. От выстрела свечка гасла, как сраженная наповал, валилась набок. Ее зажигали, водружали на прежнее место, он со сладострастным любопытством опять целился в пламя.

Застрелиться помешало то же воспоминание. В последний момент, уже ощущая виском холодную сталь, вспомнил улыбку Надежды Федоровны.

— Ты хочешь о чем-то спросить? Спрашивай, я слушаю.

Он ссыпал с полки порох, выкатил из дула пулю. Сковавшее загадочную пустоту кольцо больше не тяготило мыслей.

Теперь другое жалило сердце, и тогда хотелось мочить ледяной водой лоб, до боли тереть виски.

«Молчит. Ни словом, ни жестом. Даже случайно... А с ним, с ним какова? Как узнать? Как постигнуть? Такая же, как со мной?»

Вода и уксус как будто слегка умерили жар. Евгений Петрович перед умывальником скинул халат, снял сорочку. Тело, растертое холодной водой, горело приятно. Он снова натянул халат и прошел в кабинет. Денщик уже ждал с одеванием. И через полчаса, выбритый и в мундире, он пил кофе.

— Какой это бурдой ты меня поишь?

У старой Андреевны, вынянчившей когда-то Надежду Федоровну и ей же доставшейся в приданое, от удивления раскрылись глаза.

— Как бурдой, батюшка! Бог с тобой. Кофе мокский, по шесть рублев плачено.

Евгений Петрович сердито отодвинул от себя чашку. Он взялся было за захваченные из кабинета бумаги. В столовую вошел денщик и застыл на пороге.

— Ваше благородие, вас требуют.

Досадливо мотнув головой, Самсонов посмотрел на часы,— было половина восьмого,— и встал из-за стола.

В прихожей вытянувшийся в струнку при его появлении жандарм рявкнул, разрубая по слогам:

— Здравв же-ла-ю, ва-ше родь.

— Ну?

— Так что пожалуйте к графу.

Евгений Петрович оделся поспешно и вышел. На улице был легкий приятный морозец. Легче думать, когда идешь пешком, когда морозная свежесть дарит вторично ощущениями утреннего умывания. Но нужно было торопиться. Евгений Петрович взял извозчика.

У Бенкендорфа еще в передней камердинер сообщил:

— Пожалуйте. Вас ожидают.

В кабинете не было никого. Дверь в туалетную была плотно притворена. Евгений Петрович осторожно кашлянул.

— Иди, иди, mon cher,— тотчас же раздалось из-за двери.

Он вошел и остановился.

Бенкендорф, совершенно голый, без малейшего признака какой бы то ни было стыдливости, степенными, мерными шагами расхаживал по комнате.

— Во-первых, mon cher, не взыщи, что я тебя прини-

маю в таком неглиже. Je prends un bain d'air[1] по совету моего доктора, а во-вторых, потрудись... мг... нужно тебе составить... дело... ммм... совершенно безотлагательно... Ну, ты знаешь, конечно, какая история вышла...

Евгений Петрович не знал, но дипломатически промолчал, потому что граф не терпел вопросов.

— Ну-с вот... надо составить...

Бенкендорф, по обыкновению, говорил с паузами чуть ли не после каждого слова. Говоря, он продолжал ходить, иногда приближался к Самсонову, и тот от ужаса и отвращения, что граф может коснуться его, стоял, вытянув по швам руки, до боли напрягая мышцы, чтоб не сдвинуться с места. В этом своем виде его принципал походил на старую с облезлой шерстью обезьяну. Дряблая грязно-коричневого цвета кожа висла на груди и на животе толстыми противными складками, худые с высохшими икрами ноги были слишком тонки для такого туловища, длинные со скрюченными пальцами руки свисали чуть не до колен, иногда руки поднимались, сгибаясь, как какие-то неисправные рычаги — граф потирал себе грудь и живот.

— Да... надо составить... это ты умеешь... циркуляр секретный.... в цензуру... в Москву и в города и вообще... так... понял?

Евгений Петрович утвердительно наклонил голову.

— ...Чтобы никаких там... мм... некрологов, статей... и так говорят слишком много...

Положение Евгения Петровича становилось затруднительным.

Кому некролог? и у кого спросить? Чего доброго, граф еще заставит писать циркуляр здесь же, не выходя из комнаты.

— Позвольте, ваше сиятельство, но ведь он...— решился он наобум.

Граф перебил с поспешностью:

— Ты хочешь сказать, пока еще жив... Э, все равно, не нынче, так завтра, не завтра, так в пятницу... все равно умрет... положение его безнадежно... и слава богу, и слава богу... с кем другим, а с Пушкиным мы хлопот имели достаточно...

«Пушкин! Пушкин умирает!» — подумал Евгений Петрович, пораженный тем ли, что он до сих пор не знал этого, или тем, что человек, которого он видел всего

[1] Я принимаю воздушную ванну (*фр.*).

несколько дней назад полным сил и здоровья, так безжалостно приговорен к смерти.

Бенкендорф, молча шагавший из угла в угол, вдруг остановился перед Самсоновым.

— Тут, mon cher, история сложная... интриги и сплетни кругом, ты, вероятно, знаешь... злонамеренные, вредные... Не следует и пытаться понять — гадость, грязь...

Сморщенные веки приподнялись, брови были выгнуты напряженно. Бенкендорф старался что-то прочесть во взгляде своего подчиненного.

Незнакомое чувство острой щемящей жалости вкралось в сердце Евгения Петровича. Он вспомнил сплетни, которые слышал, вспомнил, что говорили в свете о Пушкине в последнее время, вспомнил чью-то осторожную и опасливую догадку, которую передавали под величайшим секретом. Пушкин вдруг показался ему близким, родным, как брат, как соучастник, сроднившийся одинаковой страшной судьбой.

Бенкендорф помолчал, потом, не отводя глаз, продолжал:

— Это, mon cher, моя к тебе просьба... нельзя пренебрегать и сплетнями... направлять, сдерживать... но у меня никого нет... не могу же я послать какого-нибудь там жандармского штаб-офицера, ведь они все левой ногой сморкаются... ну, вот... надеюсь, ты понял. И потом...— здесь последовала пауза, продолжавшаяся очень долго,—...и потом переписку... нужно будет последить и за перепиской...

Если бы за минуту до того Евгений Петрович не пережил нового и странного для него чувства к умирающему Пушкину, если бы оно не всколыхнуло его собственной неотступно преследовавшей муки, если бы этот сделавшийся содержанием всей его жизни и безответный вопрос не встал перед ним снова, вряд ли бы он ответил так Бенкендорфу. Он сам понимал, что это наивно, что таким путем он все равно ничего не узнает и не раскроет, но что-то наперекор рассудку подмывало и толкало:

«Загляни, только загляни. А может...»

— В свое время я спросил ваше сиятельство,— проговорил он тоном, обычным при разговорах с начальством,— не употреблять меня по секретной части. Но я готов исполнить любое приказание вашего сиятельства и буду счастлив, зная, что приношу пользу отечеству.

IV

Корнета Лермонтова полковые приказы полагали «больным на дому» чаще других.

В лейб-гусарском полку такие «больные» вообще никогда не переводились. Покидая Царское для кутежей или балов в столице, нужно было оставить какое-то основание своему отсутствию,— обычай и время узаконили «болезнь на дому».

Но Лермонтов «хворал» и не всегда по обычаю.

Иногда, подав рапорт о болезни, он по нескольку дней не выходил из дому, больной или здоровый не покидал постели. Его сожитель, однополчанин, друг и кузен, Монго-Столыпин, терял тогда терпение от невозмутимого равнодушия, в какое погружался неугомонный Маешка. Никаким амурным приключением, никакой лихой пирушкой, никаким балом и обществом в столице соблазнить его в таких случаях было невозможно. Бабушка, встревоженная долгим отсутствием своего любимца, присылала кого-нибудь со специальным поручением привезти Мишеля в Петербург. Он лениво и неохотно подчинялся, но и на Мойке шторы в его комнате оставались полуспущенными; редко читая, чаще без книги, он проводил часы, лежа на диване в каком-то молчаливом оцепенении. В доме тогда все ходили на цыпочках. Михаила Юрьевича боялись потревожить лишний раз вопросом, что он желает к обеду, докладом, кто его спрашивал.

Сама Елизавета Алексеевна порой решалась, чуть приоткрыв дверь, осторожно заглянуть в его комнату. Мишель чутко поворачивал тотчас же голову, почтительно-нежным взглядом встречал ее взгляд, но в этом взгляде она читала только нетерпение — когда же наконец оставят меня. Она тихо прикрывала дверь, сокрушенно покачивая головой, отходила прочь.

Не меньше Елизаветы Алексеевны страдал и тревожился этим состоянием своего кумира и Раевский.

Его присутствие в комнате Мишель еще кое-как выносил, но на все попытки заговорить, спросить о чем бы то ни было, ответом была нетерпеливая, страдающая гримаска. Мишель морщился, словно его мучили, словно только ждал, когда Раевский кончит, и тот смолкал.

На столике рядом с диваном лежала записная книжка. Иногда Лермонтов брал ее, с задумчивым и невидящим взглядом долго держал в руках, поглаживая ка-

рандашом усы, но, обычно так ничего и не написав, раздраженно отбрасывал прочь.

Как-то раз Святославу Афанасьевичу попался на глаза клочок бумажки, исписанный в такие минуты. Его охватил ужас. С такой откровенностью, с таким жестоким самобичеванием не говорят о себе, вероятно, и на исповеди. Бумажка была брошена на пол, без всякой, видимо, заботы, что ее могут поднять и прочесть.

После этого случая Раевский не решался даже войти в комнату, когда Мишель с утра оставался в кровати. Ему казалось, что этим он вторгнется в самые заветные глубины его души.

И действительно, такому состоянию у Лермонтова всегда предшествовала непонятная ему самому и властная потребность подумать, осознать что-то в себе.

Как-то Раевский спросил его:

— Мишель, ты чувствуешь, когда к тебе приходит вдохновение?

Он расхохотался:

— Ты — чудак. Я могу тебе рассказать, как ко мне приходит желание,— не писать стихи, разумеется, а другое,— ну, а стихи...

Лицо приняло насмешливо-недоуменное выражение.

Если бы это был не Святослав, он, конечно, вволю бы поиздевался над наивным и смешным вопросом; но глаза Святослава смотрели на него с такой верой и благоговением, все существо его дышало такой преданностью,— он перестал смеяться.

— Я, Святослав, никогда об этом не думал. Я только очень мучаюсь и злюсь, когда они у меня не выходят. И знаешь, это еще с детства...

Не договорил, быстро перевел разговор на другое. Признаться в этом не решился даже и Святославу.

В юности, в детстве,— для себя он никогда не мог найти границу между юностью и детством,— он по-настоящему, до неловкого смущения, до растерянности стеснялся стихов. Писал их всегда с упоением, они никогда не казались плохими, любое на долгое время переполняло сердце горделивым восхищением. Собственно, стеснялся он даже и не стихов,— ими он гордился. Блеснуть на глазах у других небрежной легкостью, с какой выходят из-под его пера рифмованные строчки, было заманчиво. Но только он начинал ощущать в себе привычное и неуемное беспокойство в голове, когда, как створки какой-нибудь шкатулки, ладно и плотно одна к другой, начи-

нали складываться строчки, начинало тянуть к столу, к бумаге — ему делалось стыдно, неловко, как будто он собирался заниматься чем-то недостойным и жалким.

С годами все неохотнее, реже, трудней показывал кому бы то ни было написанное. Почти никогда не читал посторонним и малознакомым. Но зато тем, кого считал друзьями, кому доверял,— тех он буквально засыпал стихами, спешил поделиться каждой новой строчкой, каждым новым замыслом.

Восемнадцати лет «просящийся на службу в лейб-гвардии гусарский полк недоросль из дворян Михаил Лермонтов» был зачислен в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Товарищи по школе были почти поголовно моложе его, многие прямо на школьную дисциплину сменили домашнюю опеку. Он был в университете; если не годами, то понятиями, развитием был много старше их. Но не он — они предписывали вкус и отношение к окружавшему.

Поэтическую известность завоевал в школе вдохновенной барковщиной, неистощимой фантазией по части гнусных казарменных рассказов о женщинах. Юнкерское удальство, первенство в любой непристойной выходке, изощренность в издевательствах над младшими, в кознях начальству доставляли почтительное восхищение однокашников. Ему прощали и неуклюжесть осанки, и невидность во фронте, презираемую в те времена не одним только начальством. Его считали хорошим товарищем, но близко с ним не сходились. Многие не могли простить острого и несдержанного языка, других отпугивала неприятная, словно от обиды, злая и раздраженная насмешливость над всем и над всеми. Ему самому иногда казалось, что эти последние прозорливее, что, кроме неприязни ко всему и зависти обиженного, у него ничего нет. Мечтателем и тихоней в школе не слыл.

По вечерам, после учебных занятий, он часто уходил в отдаленные классные комнаты, в то время пустые, и там один просиживал долго, писал до поздней ночи, всегда стараясь пробраться туда незамеченным.

Один из юнкеров, мало похожий на товарищей, мечтательный и женственный Хомутов в доверчивости показал ему свой дневник. Он буквально впился и глотал страницу за страницей исписанной мелким почерком тетрадки. Окончив чтение, с тяжелым вздохом вернул ее Хомутову.

— Зачем это? ну, зачем? С самим собой беседовать нужно тайно. Если люди откроют тебя, ты пропал. Не люблю дневников,— они отнимают спокойствие, уверенность, что ты не будешь изобличен.

Наступил долгожданный чудесный день. 22 ноября 1834 года высочайшим приказом Лермонтов произведен из юнкеров в корнеты лейб-гвардии гусарского полка. Одной из подруг своей московской юности он писал:

> Боже мой! Если бы вы знали, какую жизнь я намерен вести! О, это будет восхитительно! Во-первых, чудачества, шалости всякого рода и поэзия, залитая шампанским... Как скоро я заметил, что прекрасные грезы мои разлетаются, я сказал себе, что не стоит создавать новые.

Но от этой «восхитительной» жизни он зачастую с бала, с гусарской шумной попойки с видом потерянно-убитым спешил домой, в одинокую тишину своей комнаты, к ленивому лежанью по целым дням в постели, к сосредоточенной задумчивости.

В одну из таких минут Раевский был поражен неожиданным криком:

— Святослав, Святослав!

Он поспешил на зов.

Лермонтов, разглаживая карандашом бровь, полулежал на диване. По лицу бродила странная, потерянная улыбка. На коленях на переплете закрытой книги лежал клочок исписанной бумаги.

— Прочти. Вот это.

Пальцем показал, откуда надо читать.

Это был черновик письма:

> Должен вам признаться, с каждым днем я все больше убеждаюсь, что из меня никогда ничего не выйдет, со всеми моими прекрасными мечтаниями и ложными шагами на жизненном пути мне или не представляется случая, или недостает решимости. Мне говорят, что случай когда-нибудь выйдет, а решимость приобретается временем и опытностью... А кто порукой, что, когда все это будет, я сберегу в себе хоть частицу пламенной молодой души, которою бог одарил меня весьма некстати, что моя воля не истощится от ожидания, что, наконец, я не разочаруюсь окончательно во всем том, что в жизни служит двигающим стимулом.

Все время, пока Раевский читал, Лермонтов не отводил он него внимательного, наблюдающего взгляда.

— Ну?

Теперь Раевский растерянно и смятенно смотрел на него.

— Но ведь, Мишель, ты...

И запнулся.

— Да, да, я хотел только узнать, насколько естественно может выглядеть моя искренность,— поспешил заговорить Лермонтов.

Раевский сконфуженно и неловко молчал.

Незадолго до того Лермонтов почти теми же словами начал ему говорить о себе. По обыкновению, он с воодушевлением подхватил, с жаром стал развивать свою мысль. Тогда тот вдруг непринужденно и весело расхохотался.

— Я пошутил, Святослав, уверяю тебя, пошутил. Я своего добьюсь. А случай,— это к...

Январь 1837 года проходил расточительно и бурно. Больше месяца Лермонтов уже не брал в руки пера. В Царское, в полк, он съездил всего несколько раз и то только на дежурство. Но припадки меланхолии случались теперь все чаще и чаще. Дома он бывал раздраженным, нестерпимо придирчивым.

Шан-Гирей, со стороны наблюдавший своего старшего кузена, как-то обмолвился Раевскому:

— Как будто Мишель чего-то усиленно добивается и это ему не удается. Но чего?

Раевский, помолчав, проговорил с задумчивой и печальной улыбкой:

— Чего ему добиваться, Аким? Он принят везде и всюду даже лучше того, на что бы мог рассчитывать. Чего желал — он всего добился, и... вместе с тем ничего,— закончил он с грустным вздохом.

Между тем настроение Мишеля не изменилось. К концу месяца, подав очередной рапорт о болезни, он и вовсе перестал появляться где-либо.

Вечером 27-го он лежал один в своей обычной позе — с заложенными под голову руками, с неподвижно устремленным в одну точку взглядом. Свеча, оплывая, колебала на стенах огромные неуклюжие тени. Часы на письменном столе отчетливо тонким голоском пробили семь. Он зевнул, не двигаясь с места, протянул руку поднять упавшую на пол книжку французского журнала. Заложенный в нее разрезальный нож выпал, со звоном скатил-

ся на диван. Он лениво переглядел неразрезанные страницы в конце. Зевнул опять и отбросил прочь книжку. Вдруг в коридоре раздались чьи-то поспешные резкие шаги. Дверь без вопроса, без предупреждений с шумом распахнулась. Раевский в бекеше, не сняв даже шляпы, ворвался в комнату.

— Ужасная весть. Пушкин убит. Сегодня. Его раненого привезли домой. Он умер.

Голос у Раевского словно спотыкался: одно слово опрокидывало другое.

Лермонтов медленно приподнялся с подушек.

— Убит? — переспросил он глухим раздельным шепотом.

— Да, да, убит. Каким-то ничтожным, бесславным французишкой, тем самым Дантесом, о котором говорил мне ты, о котором говорят...

Он вдруг остановился.

Лермонтов, выпрямившись, сидел на постели. С косых татарских скул слетел обычный румянец. Живые глаза на бледном лице сверкали горячим и беспокойным блеском.

— Вот как в жизни, Святослав! А? ты понимаешь? Арбенин у меня, чтоб погасить свои тревоги, отравляет Нину. А он себя. Под чей пистолет, Святослав! Ты подумай только! Убит, умер, не отомстив, не успокоив своей души. Это страшно, Святослав: в России, если ты перерастешь воробьиные чувства и желания, тебе нет места. Нас стерегут, чтоб мы не выросли. Жандармы, неверные жены, предательницы-любовницы, опекающий своим мнением свет и пошляки — да, да, и пошляки... Да ты знаешь, что такое Дантес? Я назову тебе с десяток таких Дантесов. Ты их не знаешь, не видел, а я... Помнишь цензурный отзыв на «Маскарад»? Помнишь: «Вызов костюмированным в доме Энгельгардтов», «Дерзости против дам высшего общества»? Они ужаснулись, что их можно презирать. А Пушкин! Я убежден, что уже сейчас по городу бегают ревнители Дантесовой чести, старательно пачкают гнусными сплетнями еще не остывший труп. О, Дантес еще будет героем! Поверь мне, его возведут в герои! Да, да, Святослав, мы в плену, нас учат чужим обычаям, нас заставляют подчиняться им, а если нет, если не так, ты думаешь, не найдется Дантеса, чтобы призвать мятежника к порядку? О, нам и воевать-то не с кем.

Эта отрывистая возбужденная речь как будто утомила

его. Он бессильно откинулся на подушки. На бледных щеках медленно разгорался румянец.

— Миша, как это верно, как это страшно! — умиленно и восторженно воскликнул Раевский.

Он двинулся к дивану. Огромная тень зашевелилась и сползла со стены.

Лермонтов молчал. Мимо Раевского, мимо свечи, в угол неподвижным и отсутствующим смотрел взглядом. Раевскому показалось, что времени уже некуда больше идти, и оно неподвижной давящей тишиной заполнило всю комнату.

Вдруг Лермонтов, как бы освобождаясь от какой-то неотступно преследовавшей мысли, резко тряхнул головой, по лицу пробежала улыбка.

— О чем ты думал сейчас? — тихо спросил Раевский.

— Ах, да,— Лермонтов потянулся поднять с пола упавшую книжку.— Ты знаешь, что я сейчас здесь вычитал? Это замечательно. В Париже изобрели такие вещи, что теперь никакая венерическая болезнь уже на страшна.

V

Слух о кончине Пушкина с невероятной быстротой распространился по городу.

На Мойку к дому Волконской стекались все новые и новые толпы стремившихся поклониться праху поэта. Но, по распоряжению высших властей, доступ в квартиру был воспрещен. Два полицейских офицера и один жандармский по-прежнему охраняли подъезд.

В субботу 30-го, то есть на следующий после смерти день, Бурнашев застал перед домом стечение публики во много раз больше, чем два дня тому назад. По городу ходили самые разноречивые и странные слухи. Говорили, что Пушкина приказано похоронить тайно, ночью, после закрытого отпевания. Многие из собравшихся здесь, очевидно, дежурили еще со вчерашнего дня. Толпа напряженно ждала чего-то, что от нее хотели скрыть, утаить.

Владимиру Петровичу все же удалось протискаться к подъезду.

Сегодня он заметил в толпе много жандармов с аксельбантами, какие тогда были присвоены лишь жандармам Третьего отделения. В прошлый раз он здесь их не видел.

День был солнечный, с морозцем. На занавешенных изнутри окнах солнце играло пыльной позолотой, на карнизах и на крышах блестел снег, пылали начищенные жандармские каски. Застывшая в напряженном и строгом ожидании толпа была молчалива. Сегодня, пробираясь через нее, Владимир Петрович не слышал ни разговоров, ни замечаний.

У подъезда жандармский капитан, учтиво наклоняя голову, спросил:

— Вам куда-с?

Владимир Петрович растерялся.

— Я, собственно, поклониться... как русский человек, по обычаю... Я служу-с в военном министерстве, чиновник двенадцатого класса... и вообще... уважая литературу...

Жандарм сухо прервал:

— Не разрешается. Только самых близких к покойному лиц.

Бурнашев, закраснев, неловко попятился.

Выходивший в этот момент из подъезда гвардейский артиллерист с адъютантским аксельбантом посмотрел на него с улыбкой.

— Бурнашев! Вы хотите пройти туда?

У Бурнашева мигом преобразилось лицо. Глаза заморгали угодливо и моляще. Он узнал в артиллеристе адъютанта военного министра.

— Так точно, ваше сиятельство. Я с лучшими намерениями. Образ моих мыслей хорошо известен вашему сиятельству.

«Сиятельство» небрежно бросило жандарму:

— «Пропустите его. Я за него ручаюсь»,— и стало пробираться к стоявшим в отдалении саням.

В этот же момент какой-то высокий офицер в белом уланском кивере, выступив из толпы, деловито зашагал к подъезду.

— И меня тоже. Меня тоже приказано пропустить,— услышал Владимир Петрович за своей спиной.

Потом на лестнице зазвенели шпоры, загромыхал, стукаясь о ступеньки, палаш.

Владимир Петрович с недовольным лицом обернулся к поднимавшемуся по лестнице улану, но оно сейчас же расплылось у него в приветливую и любезную улыбку.

— Не с Владимиром ли Сергеевичем Глинкой имею честь? — осторожно осведомился он.

— Совершенно верно-с,— ухмыльнулся улан.— Я,

можно сказать, фуксом. На вас, сыграл-с, надул жандарма-то.

— И очень хорошо-с,— хихикнул Владимир Петрович.— По крайней мере, Александру Сергеевичу последний долг отдадим. А вас я по журналам знаю-с. Некоторые из ваших стишков у меня даже списанными хранятся.

Глинка самодовольно покрутил усы.

В просторных сенях на вешалке не висело никакого платья.

Дремавший на лавке жандармский унтер-офицер вытянулся перед Глинкой, неловко принял от них шинели и молча показал на маленькую полуприкрытую дверь.

Большая комната казалась неестественно просторной: очевидно, из нее вынесли всю лишнюю мебель. Темные шторы были спущены. Красноватое мерцающее пламя нескольких десятков восковых свечей, вставленных в церковные, обвитые крепом подсвечники, тускло освещало стоявший против входной двери гроб.

В комнате никого не было. Дьячок в черном с серебром стихаре, словно по ухабам, волочил гнусавое бормотанье.

И Глинка и Бурнашев смущенно, не зная, что им делать дальше, остановились возле дверей.

Гроб, обитый темно-фиолетовым бархатом, наполовину был закрыт парчовым, спускавшимся до самого пола, покровом. В изголовье, сквозь наброшенную кисею, смутно проступали очертания лежащего в гробу тела.

Лакей в глубоком трауре неслышно появился из-за спины Бурнашева, едва заметным поклоном как бы пригласил их подойти ближе, перекрестившись, осторожно откинул кисею.

Смуглое, восковой желтизны лицо покоилось на большой, выпиравшей из гроба подушке. Бурнашеву сразу бросилось в глаза, что наволочка, очевидно, мала, застежки сходились туго, из прорех пухло выпирала полосатая сорочка.

Глаза у покойного были плотно и ровно закрыты, чуть-чуть отверстый рот обнажил прекрасные, ровные, один как другой, зубы. Выражение величавого спокойствия, какой-то нечеловеческой мудрости, казалось, запечатлевала эта восковая маска.

Дьячок, вырываясь из своего бормотания, выкликнул:

— «Правду твою не скрыл в сердце твоем...»

И опять запутался в гнусавых, одолевавших его, как сон, звуках.

Бурнашеву вдруг стало не по себе, как будто его испугала эта вырванная из монотонного бормотания строчка. Крестясь, он опустился на колени. Перед глазами мелькнули, запоминаясь навек, восковые, с посиневшими ногтями, руки, выпадающий из них образок, лацкан темно-коричневого поношенного сюртука.

Над головой Владимира Петровича кто-то быстрым шепотом произносил слова, ему показалось — молитвы. Поднимаясь с колен, он увидел напряженное лицо Глинки, быстро шевелившиеся губы. У Глинки был такой вид, как будто он опасался, что ему не дадут произнести все до конца. Среди торопливого шепота Бурнашев разобрал:

Недвижным он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навылет ранен,
Дымясь, из раны кровь текла.
Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь...[1]

Владимир Петрович с удивленьем и испугом покосился на своего нового знакомца.

Лакей, открывавший им гроб, приблизился опять так же неслышно, проговорил шепотом:

— Просили-с,— он не сказал кто,— поспешить. Сейчас будет панихида для семейства и близких. Все уже собрались.

Глинка вздохом оборвал свое бормотанье, наклонился, поцеловал в руку покойного и круто повернулся. Бурнашев ограничился только глубоким поклоном и, перекрестившись еще раз, последовал за ним.

Когда они выходили, какой-то молодой человек в студенческой треуголке, окидывая их презрительным взглядом, процедил сквозь зубы:

— Даже чтоб поклониться мертвому Пушкину, нужна жандармская протекция.

Оба сделали вид, что не слышат.

Пробираясь в толпе, Владимир Петрович, по обыкновению, искательно поспешил закрепить новое знакомство.

— Чрезвычайно рад, Владимир Сергеевич,— разливался он,— что хотя, можно сказать, и при таких пе-

[1] Евгений Онегин, гл. VI, строфа 32.

чальных обстоятельствах, но заключилось такое приятное для меня знакомство.

— А я действительно намереваюсь сделать его вам приятным,— улыбнулся Глинка.— Вот здесь у меня,— он хлопнул себя по карману,— лежат поистине прелестные стихи, и как раз к памяти, которую мы только что с вами почтили, относящиеся. Стихи не мои, не подумайте, что хвастаюсь.

— А чьи же-с?

— Их, говорят, написал только вчера один лейб-гусар, по фамилии Лермонтов, а сейчас они уже по всему городу в списках ходят! Хотите прочту?

— Как же, как же-с. Буду покорнейше просить вас, как о величайшем одолжении. Поэт как будто действительно обещающий. Поэмку его «Гаджи Абрек» в «Библиотеке для чтения» читал-с. Прекрасный поэт, многие даже называют его будущим приемником славы покойного Александра Сергеевича. Да только как же читать-то на морозе? Давайте пройдем к Вольфу в кондитерскую — тут два шага,— велим дать нам по стакану кофе и займемся этими стихами.

— Ловко ли будет,— нерешительно заметил Глинка,— читать их в публичном месте?

— А почему?

— Да, знаете ли, в них мысли несколько смелые высказываются. Их мне и получить-то удалось по большой доверительности.

У Бурнашева от этих слов даже глаза заблестели.

— Владимир Сергеевич, миленький, ради бога, прочтите! Там ничего. Мы в уголке где-нибудь устроимся. А я тотчас же и спишу их. Прошу вас.

В кондитерской было шумно и многолюдно, какой-то потертого вида майор уже декламировал, напыщенно и завывая, стихи, посвященные Пушкину. В них боги греческого и славянского Олимпа совместно обсуждали это печальное на земле происшествие.

Сидевшая за столиком компания то и дело прерывала чтение шутливыми замечаниями и вопросами. Наконец майор не выдержал: обиженно дрыгнув своими эполетами, он резко оборвал декламацию и, схватив с вешалки шинель, кинулся к выходу.

— Постойте, постойте, барон! — закричали ему от стола.— Не на панихиду ли по Пушкину?

— Да,— гордо ответил барон.

Молодой человек с нерусскими чертами лица вскочил из-за стола.

— Это Карбоньер, Лев Львович, замечательнейший остроумец,— шепнул своему спутнику Бурнашев.— А тот Розен, стихотворец как будто неважный, но, кажется, товарищ покойного по лицею.

Карбоньер с серьезным видом, заступая дорогу Розену, спросил:

— После панихиды вы там, вероятно, будете читать ваше произведение?

И, не дожидаясь ответа, уже другим тоном, обращаясь к сидевшим, воскликнул:

— Ну, так вот, господа, идемте все скорее к дому Пушкина, чтобы первыми увидеть там чудо — как наш Орфей Розен будет воскрешать своими звуками мертвых.

— У этого мальчишки,— крикнул, весь побагровев, Розен,— нет ничего святого на свете! — И, с шумом хлопнув дверью, выбежал из кондитерской.

От столиков вслед ему раздался веселый хохот.

Бурнашев и Глинка заняли места в задней комнате.

— Ну-с, Владимир Сергеевич,— нетерпеливо напомнил Бурнашев, когда им подали кофе.

Глинка достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, низко наклонился над столом и густым и низким басом сказал:

— Эпиграф из жандровского перевода «Венцеслава»:

Отмщенье, государь, отмщенье!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.

А вот и самые стихи.

— Я весь вниманье, Владимир Сергеевич. Читайте, прошу вас.

— Только, чур, условие: спишете ли вы их, наизусть ли заучите, но я тут должен остаться ни при чем, мне самому их доверили под величайшим секретом.

— Да что вы, Владимир Сергеевич, за кого вы меня принимаете! Вы-то их сами откуда добыли?

— Совершенно случайно обнаружил их у одного моего бывшего однополчанина, тоже харьковского улана, ну и попросил дать списать. А откуда он их добыл, бог его знает,— пояснил Глинка...

VI

По городу ходили смутные, противоречивые толки:

— Почему такая таинственность? Чего боятся? Да что же, и в могилу проводить его нельзя будет? Чем, чем заслужил он такую участь?!

Проводить его действительно оказалось нельзя.

В воскресенье тридцать первого января, в полночь тело Пушкина перенесли в Конюшенную церковь.

Еще задолго до этого времени жандармы очистили Мойку от публики, оцепили весь путь, от дома до самой церкви.

Над пустынной улицей была черная, низко спустившаяся тьма. Фонари салили на снегу тусклые, желтые пятна. Сквозь строй их редких рядов, сквозь строй застывших вдоль тротуаров конных фигур прогонял ветер белые, словно гнувшиеся от невидимых ударов, призраки-тени. Неистовый с отчаяния, что не смог раскутать из облаков луну, припадал он к земле, сдувал с нее снежную пыль, призраками гнал столбы ее вдоль улиц.

В подъезде дома Волконской широко и разом распахнулись двери, выплескивая на мостовую желтый и жидкий свет. В полосе его качнулись, стронулись с места два конных стража, стывших до того, как изваяния. В дверях, тяжело качаясь на руках, показался гроб. На минуту он, поднятый на плечи, черный и огромный, заступил собою освещенную полосу тротуара. Потом гроб качнуло еще раз: шедшие впереди ступили на мостовую. Как по каналу, по вылившейся из дверей светлой полосе проплыл он во тьму. В подъезде пропустили немногочисленных провожатых и захлопнули двери. Опять улицу заступила тьма. Во тьме, навстречу засекаемым насмерть снежным призракам, сжатая кольцом из конных жандармов, медленно двигалась по улице процессия. Ветер дул в лицо, полами шинелей вязал шаги идущим. Люди горбились под жестокими порывами ветра, порой останавливались совсем; гроб на какие-то минуты оставался неподвижным. Одинокий гроб, одинокая горсточка людей в кольце конных, тяжело плывущих фигур. Проводить Пушкина разрешено было только немногим самым близким друзьям покойного.

За пределами жандармского оцепления были люди, может быть, много людей, но тьма скрывала их от глаз, ветер от слуха; тем, кто шел за гробом, казалось, что идут только они, только они одни еще живы в мертвом и пус-

тынном городе, что Пушкина, их Пушкина, хоронить, чтить, помнить уже некому. Над городом выла вьюга. Казалось, со всей России: с мертвых полей, с погребенных в снегах деревень и усадеб, с городов, в эти часы переставших жить, отошедших в небытие,— сметал ветер заунывный вой глухих и пустынных просторов; было мертво и жутко в опустевшем, безлюдном городе.

Когда процессия подходила к церкви, к вою метели примешались человеческие голоса. Где-то, должно быть, совсем близко, был смятый, разорванный, раскиданный ею ропот человеческого многолюдства.

Маленький, с порывистыми движениями человек, шедший за гробом, судорожно метнулся в сторону соседа.

— Вы слышите?

Сосед, захлебываясь рыданиями,— маленькому человечку показалось, что это ветер срывал его голос,— ответил прерывисто и поспешно:

— Слышу, слышу... Ведь это ж Россия... которой не дают проводить ее Пушкина...

Маленький рассердился:

— Да нет же, нет: не Россия это... И мы с вами тоже нет... Вон Россия — ей Пушкин не нужен...

Словно угрожая, протянул он руку, показывая на жандармов, окружавших процессию. Внезапно налетевший порыв ветра чуть не сорвал с его головы шляпу; он поспешил ухватиться за нее. Угрожающе протянутая рука испуганно прижалась к плечу; маленькая, с головой закутавшаяся в шубу фигурка, сгибаясь, старалась за жандармской лошадью укрыться от ветра.

Скупо освещенная внутренность церкви показалась раскрытым склепом. Уже ступив на порог, маленький человечек услышал настойчивое: «нельзя, ваше благородие, никак нельзя, никого пропустить невозможно». Он оглянулся. С краю, возле самой двери какой-то офицер в серой распахнутой шинели с красным воротником пытался пройти в церковь. Из-под низко опущенной, с поля надетой треуголки горели пристальные живые глаза. Офицер был невысок, он поднимался на носки, стараясь увидеть что-то через плечо преградившего ему дорогу жандарма, только он один сумел пробраться сюда на паперть, только образ его одного, взволнованного, в распахнутой шинели, привставшего на цыпочки, рвущегося хоть взглядом проводить этот огромный и черный гроб, пронес рассеянной, разбрасывающейся памятью маленький человек в церковь.

Вслед за ним, последним переступившим порог, закрылись двери. Жандарм убеждающе просил офицера в распахнутой шинели:

— Теперь и смотреть уж больше нечего. Отойдите, ваше благородие, покорнейше прошу: я ведь в ответе буду.

Офицер словно только сейчас понял, что обращаются к нему. Неестественно высоким, как со сна, голосом выкрикнул: «А?! Что?! Нельзя стоять?!» — и спрыгнул с приступки на тротуар! В темноте кто-то схватил его за руку.

— Юрьич? Ты здесь зачем?

Прямо в лицо из облезлого, вытертого мехового воротника вырвалось пьяное дыхание. Нигорин, все не выпуская еще его руки, старался заглянуть в глаза.

— Интересно?! А?! Интересно? Словно повешенного — ночью, ни музыки, ни парада. А ты на морозе мерзнешь. Иди-ка ко мне, чай, уж там собрались...

Лермонтов вырвал у него руку, рванулся бежать прочь.

— Нет!

— Постой, постой, Юрьич. Да подожди ты, помоги мне хоть Дарью Антоновну мою сыскать...

Лермонтов остановился.

— Дарью Антоновну? И Дарья Антоновна от тебя сбежала!

Пьяно и раскатисто захохотал Нигорин.

— От меня, брат, бабы не бегают. На похороны эти каторжные тоже полетела. Образованность — ничего не поделаешь. А ты чего это встрепенулся? — вдруг другим тоном, обвисая у него на руке, заговорил Нигорин.— Не на свидание ли к тебе моя Доленька заспешила? А?

— Поди ты...

Грубой солдатской бранью, но не зло, насмешливо, словно по обязанности, словно усталость пересиливала раздражение, разразился он на Нигорина. Так бывало всегда на ученьях и в манеже, в разговорах с приятелями, за картами, на гусарских пирушках, когда кто-то не хотел или не мог понять его, когда чья-то тупость заставляла пожалеть на ветер брошенное острое слово. Закричал, хотелось скорей отвязаться от надоевшего Нигорина, уйти; непонятное самому беспокойство мешало сосредоточиться на чем-то одном, мысли, словно их тоже подхватила метелица, кружились и не могли догнать одна другую.

«Дашенька, Долли»,— это тоже сейчас вертелось в мозгу. И никак не мог понять, никак не давалось мыслям, почему он рванулся, услыхав о ней, назад к Нигорину, почему задержался, спросил о ней.

Нигорин, обдавая густо-спиртным дыханием, хрипел над ухом:

— Чего ты вскинулся-то? Пошутил ведь. Если б и впрямь думал, другим бы шутить не позволил. Я дикий, Юрьич, прямо дикий, когда дело до серьезного доходит. Не веришь?

Лермонтов вздрогнул, вырвал у него руку, остановился, замер. Сердце вдруг заколотилось так, что дальше казалось страшным сделать хотя бы шаг. Нет, нет — он не мог ослышаться. Рядом, совсем рядом, звонким, молодым голосом, часто сбиваясь, декламировали:

...Убит!!!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор,
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор.
Не вы ль сперва так долго гнали
Его свободный, чудный дар
И для потехи возбуждали
Чуть затаившийся пожар?..

— Вот, вот, Юрьич! — прислушиваясь воскликнул Нигорин.— Я сюда шел, то же самое, эти новые твои стишки в толпе слышал.

— Ты-то почему знаешь, что они мои?

— А вчера кто-то их у меня по бумажке читал. Так все бросились списывать. Память у меня знаешь какая: вчерашнюю сдачу помню.

Нигорин хихикнул, но проговорил он все это уже без прежней развязности, словно с трудом и неохотно. Впрочем, Лермонтов и не слушал. Вот тот же взволнованный голос рядом говорил:

— А это, это разве не такой чудный дар?! Ах, если бы мне привелось достать где-нибудь полный список! Эти восемь строк я запомнил на слух. А все стихотворение... нет, оно положительно прекрасно. Пушкин, умерев, не унес с собой в могилу своего чудесного дара.

Так же, как когда-то в юнкерской школе, сделалось вдруг мучительно стыдно, неловко, что это говорят про него, им восхищаются, его стихами. А может быть, стыдно было и оттого, что едва поборол в себе желание крикнуть: «Это я, я написал эти стихи, вот они, слушайте!» Сердце по-прежнему продолжало биться неуемно и страшно. Дыханье было стеснено.

Нигорин смеялся:

— Пойдем, Михаил Юрьевич, ну, чего заслушался. Студенты тебя в Пушкины прочат. Идем, ждут нас.

Лермонтов позволил взять себя за руку, послушно, не отвечая, пошел рядом с Нигориным. Через несколько шагов их окликнули:

— Мишенька! Чуяло мое сердце, что тебя здесь я встречу.

Дарья Антоновна даже и не взглянула на Нигорина. Как будто Лермонтов был один, бросилась к нему, ласково и радостно прижала к себе.

— Да что ты, Мишенька, ровно потерянный? — шепнула, целуя его.— И щеки горят. Ай Варенька твоя тебя полюбила?

VII

Первого февраля в Конюшенной церкви должно было состояться отпевание тела Пушкина.

С самого утра этого дня Евгений Петрович ощущал в себе беспокойство и тревогу. В сотый раз подходил он к зеркалу, вглядывался в свое отражение.

Из зеркала устало и с отвращением смотрело желтое измятое лицо. Взгляд потухших глаз показался чужим.

«Нет, нет, не шпион. Не доносить же я должен. Только направлять, останавливать,— опять раздражаясь и волнуясь, подумал он.— Однако пора».

Надушенный платок отдавал запахом тления и смерти.

Похоронная карточка словно упрекала его в чем-то:

> Наталія Николаевна Пушкина съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщая о кончинѣ супруга ея Двора Е. И. В. Камеръ-Юнкера Александра Сергѣевича Пушкина, послѣдовавшей в 29-й день сего Января, покорнѣйше проситъ пожаловатъ къ отпѣванию Тела его въ Исаакіевскій Соборъ, состоящій въ Адмиралтействъ 1-го числа Февраля въ 11 часовъ до полудня.

Он смущенно и поспешно спрятал ее в карман.

Шинель показалась тяжелой и негнущейся, словно она обледенела.

Заупокойная обедня должна была начаться в десять с половиной. Было уже после одиннадцати.

Самсонов всю дорогу погонял извозчика.

На площади стояли огромные толпы. Жандармы, козыряя, очистили Евгению Петровичу дорогу к собору. В собор впускали только по билетам. Какие-то люди в дверях покосились на проходившего Самсонова.

В церкви Евгению Петровичу сразу же приметились в толпе лица двух министров. Присутствовал почти весь дипломатический корпус, много знати. Самсонов жадными глазами впивался то в ту, то в другую стоявшую вблизи гроба фигуру. Вдовы среди публики не было.

Хор чистыми, упруго звеневшими голосами тянул:

Надгробное рыдание творяще...

Ему вдруг стало невыносимо тоскливо. Никогда не расставался он ни с кем из близких, никого не провожал в дальнюю дорогу, но почему-то ему казалось, что так бывает именно когда провожаешь и расстаешься.

«Зачем, зачем я здесь?»

Сначала было просто до невыносимости беспокойно. Потом вдруг сразу стало понятным и почему он беспрестанно погонял извозчика, и почему, уже переступая порог церкви, томился смутным предчувствием какого-то открытия. У него горела и заливалась кровью голова.

Граф? Что граф! Графа уже не было ни в жизни, ни в мыслях. Вероятно, сейчас Самсонов и не вспомнил бы, какое он принял от него поручение. Свое, свое.

Он еще раз внимательным, ищущим взором зарылся в толпу. Той, которую он хотел увидеть у гроба, той, по чьим глазам он в этот миг хотел бы прочесть что-то самое главное, самое важное для себя, в церкви не было.

Рассеянно покрестив пуговицы мундира, Самсонов повернул к выходу.

В дверях он вспомнил, как когда-то, еще юнкером, замирал от восторга, стоя в лагерной церкви в Петергофе вблизи государя. Стало противно до тошноты. Казалось, уже тогда унизил себя незабываемо, невозможно.

— Пошел к Цепному мосту! — толкнул он в спину извозчика и поморщился.

В Третьем отделении на лестнице столкнулся с Дубельтом.

— Господин гвардии штабс-капитан,— как шагом, печатая слова, заговорил Дубельт,— известно ли вашему высокоблагородию, что граф поручить вам изволил?

Евгений Петрович посмотрел на него удивленно.

У Дубельта на углах рта выступала пена, это всегда служило признаком раздражения и всегда заставляло, даже Бенкендорфа, в таких случаях отодвигаться от него осторожно.

— Известно ли вам-с,— брызгая этой пеной, рубил Дубельт,— известно ли вам-с, что в городе ходят уже второй, а может, и третий уже день ходят возмутительные стихи? Возьмите себе-с, расследуйте. Я надписал это вам-с. Мне некогда. По высочайшему повелению я должен разбирать бумаги Пушкина, я должен исследовать... А тут стихи, еще какие-то стихи. Они с ума сведут, эти стихотворцы,— закончил он визгливо и побежал вниз по лестнице.

За несколько ступенек до конца остановился.

— Господин гвардии штабс-капитан!

Самсонов сошел к нему.

— Да-с. Забыл предупредить. Вы неопытны-с, можете глупость наделать. Так вот-с. Там попадется одно имя,— зашептал он, наклоняясь к самому уху.— Отставной штаб-ротмистр Нигорин. Его не трогать. Это по моему поручению, для пользы службы. А вам заняться сим незамедлительно. Так приказал граф.

Евгений Петрович только пожал плечами:

— Слушаю-с.

И, не прибавив ни слова, стал подниматься наверх.

В канцелярии делопроизводитель секретного стола вручил ему лист с каллиграфически выведенными на нем строчками. В углу была карандашная пометка Дубельта:

Господину Гв. штабс-кап. САМСОНОВУ.

Граф приказал расследовать вашему высокоблагородию.
Г.-м. Дубельт.

Евгений Петрович попробовал вчитаться в вырисованные, неровные справа строчки. Какой-то иной, скрытый от всех, страшный своей таинственностью смысл, казалось, заключался в них. От строчки

. . . . он мучений
Последних вынести не мог...—

болезненно и тоскливо сжалось сердце. Он сло ил лист пополам, спрятал его в карман.

В приемной графа камердинер опасливо шепнул:

— Сейчас уезжают.

Самсонов настойчиво повторил:

— Доложи.

Рядом, из туалетной, раздался скрипучий, мямлящий голос графа:

— Ну, ну, mon cher, что у тебя там?.. Входи.

Бенкендорф, стоя у зеркала, щеткой приглаживал торчавшие на висках седые волосы.

— Ваше сиятельство приказали мне расследовать происхождение стихов «На смерть поэта»?

— Да, да, mon cher.

Граф вдруг отвернулся от зеркала, заулыбался виновато, в такт словам дирижируя щеткой.

— Да, уж пожалуйста. Сейчас такая кутерьма, что голова кругом идет, поручить некому. Написал-то их Лермонтов, парень, в сущности, безобидный, только шалопай большой руки. Это ничего. А вот м-м... какой подлец их по городу пустил, так что теперь чуть ли не каждый декламирует,— это, это выясни.

Он снова наклонился к зеркалу. Растягивая пальцами сморщенную, до блеска пробритую на щеках кожу, внимательно рассматривал какой-то прыщик. Что-то вспомнил.

Не глядя, левой рукой бросил Самсонову с туалетного столика печатный листок.

— Да вот еще, mon cher. Полюбуйся. Это твое упущение.

Это была последняя страница «Литературных прибавлений» к «Русскому инвалиду».

В черную траурную рамку было заключено:

> Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в средине своего великолепного поприща!.. Более говорить о нем не имеем ни силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает всю ценность этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! Наша радость! Наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет у нас уже Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть!
>
> *29 января, 2 часа 45 мин. пополудни.*

Граф сердито покосился на молчавшего Самсонова.

— Что это такое, в самом деле, mon cher?

Он покончил со своим туалетом, пошел было к дверям, посреди комнаты остановился, сердито оправляя ворот мундира.

— Что это за черная рамка вокруг известия о смерти человека нечиновного, не занимавшего никакого поло-

жения на государственной службе? Ну, да это еще куда бы ни шло... А то — «Пушкин скончался в середине своего великого поприща»! Какое это поприще такое? Что он был,— полководец, военачальник, министр, государственный муж? Писать стишки не значит еще проходить великое поприще. Неудобно и неприлично. Строгое замечание, выговор, предупреждение... и цензору и редактору. Понял? А с Лермонтовым это ты разберешься. Ну, прощай. Мне надо спешить к государю.

VIII

К Беклемишеву Бурнашева ввел его новый знакомый.

Молодой Беклемишев, носивший сейчас золотой аксельбант Военной академии, служил в том же, что и Глинка, Харьковском уланском полку.

По воскресеньям в доме бывали званые обеды. Хлебосольный хозяин неизменно приглашал тогда к столу и тех, кто собирался на половине сына.

Таким образом, и Владимир Петрович удостоился чести обедать у шталмейстера двора.

До обеда на половине молодого Беклемишева шел оживленный спор.

Конногвардейский поручик Синицын, человек невзрачной и невыразительной внешности, обычно молчаливый и застенчивый, сейчас рассуждал с видом необыкновенно серьезным и значительным. Он был аудитором в военносудной комиссии над убийцей Пушкина.

— Государь, не отменяя постановления комиссии,— рассказывал он,— по исконному своему милосердию смягчил его, как мог. Высочайшая резолюция по сему делу гласит: «Быть по сему, но рядового Геккерна, как не русского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты». И то сказать, господа, по точному смыслу сто тридцать девятой статьи воинского сухопутного устава за дуэль, окончившуюся смертоубийством, положено повешение. Закон суров, излишне суров для нашего просвещенного века. И потом поручик Геккерн был сам тяжко оскорблен, комиссия нашла нужным вступиться за него у государя, ходатайствуя только о разжаловании в рядовые...

— Вступиться! Ходатайствовать о смягчении! Вот

истино русские сердца! Господа командиры частей гвардейского корпуса, тлейся в них хоть искра участия к нашей славе, к нашей гордости, к нашему Пушкину, должны были не смягчать закон, а, наоборот, требовать четвертования. Мало повесить вашего Геккерна, убийцу русского гения.

Владимир Петрович почти с ужасом посмотрел на молоденького семеновца. На мундире его тоже был золотой аксельбант Военной академии.

Синицын тихонько, не без ехидства, захихикал.

— А вы, милейший Линдфорс, полагаете, что гению России позволительно плевать в лицо и оскорблять не только благоговеющих перед ним соотечественников, но и иностранцев, о чести и благородстве имеющих понятие не меньшее? Им-то до русского гения дела ведь нет.

С этими словами он встал, очевидно, показывая тем, что дальше спорить не намерен, и отошел в угол.

Линдфорс, не обратив на него никакого внимания, взывал уже теперь ко всем бывшим в комнате:

— Меня не удивляет, господа, когда наши старички, какие-нибудь почтенные звездоносцы, берут сторону этого презренного убийцы, меня не удивляет, что лермонтовских бичующих стихов испугались наши родители, но чтобы среди нас, среди молодежи, находились люди, не постигающие, что простить убийцу Пушкина — значит не иметь никакого уважения, никакой гордости к собственному имени, это для меня непостижимо...

Синицын, осторожными мелкими шажками прохаживавшийся по комнате, посмотрел на своего противника иронически прищуренным взглядом, ухмыльнулся, но ничего не сказал.

— Да, кстати о стихах Лермонтова! — перебивая Линдфорса, воскликнул хозяин.— По рукам ходят уже новые, добавочные к тем, что были. Говорят, эти заключительные еще сильнее и резче. Кто из вас, господа, знает их?

— Я,— поспешил заявить Линдфорс.

К нему сразу бросилось несколько человек.

— Вы знаете? Знаете? Так скажите же их скорее. Ведь их так трудно сейчас получить.

Бурнашев тоже проворно извлек из кармана записную книжку и карандаш.

— Владимир Петрович,— услышал он над ухом.

Синицын тронул его за плечо, глазами приглашая выйти из комнаты.

По мягкости своего характера Владимир Петрович не посмел отказаться, со вздохом спрятал обратно в карман записную книжку.

Вокруг Линдфорса столпились все присутствующие. Сбиваясь и нетвердо, он читал:

...А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов,
Вы, жадною толпой стоящие у трона...

— Идемте, Владимир Петрович,— шепнул Синицын.— Я вам должен кое-что сказать.

Никто не заметил, как они вышли.

В бильярдной, убедившись, что за дверьми никого нет, Синицын взял из стойки кий и, приблизившись вплотную к Бурнашеву, вполголоса заговорил:

— Мы с вами, Владимир Петрович, старые знакомые, и оба люди тихие. Так вот, проформы ради, чтобы кто не подумал, что мы секретничаем, давайте-ка шарокатствовать, будто играем партию. А я вас ведь с намерением удалил от того разговора. Эти молодые люди, очевидно, еще не знают, что сталось с автором этих дополнительных стихов, с тем самым Лермонтовым, которого, как помнится, вы у меня как-то на лестнице встретили. Стихи эти будут у меня сегодня же вечером, и в самом верном списке, так что поедемте потом ко мне, я их дам вам списать. Только видите ли, стихи эти как-то уже попали не в добрый час на глаза государю, и над Лермонтовым не хуже, чем над Дантесом, наряжено следствие. Теперь не только эти дополнительные, но и все стихотворение целиком сделалось контрабандным и преследуется жандармерией. Поэтому, вы понимаете, что бравировать знанием этих стихов, особенно нам с вами, людям тихим, вовсе не годится. Вот я и позволил себе увлечь вас от того кружка, с половины Николая Петровича.

— Крайне, крайне признателен вам, любезнейший Афанасий Иванович, а за то, что и стихи мне списать обещаете,— вдвойне,— захихикал Бурнашев.— Только ловко ли, что мы так долго отсутствуем. Может, там уже к столу пригласили.

— Ну, что ж, пойдемте. Пожалуй, и правда, пора.

Действительно, там уже садились за стол.

Какой-то подагрического вида старец в ленте и со звездою сокрушенно качал головой и говорил:

— ...Да, да, дерзки, весьма дерзки стали. И правительство и общество поносить решаются. Э, батенька, что говорить: c'est un arrière-gout de décabrisme de néfaste mémoire [1]. Надо бы, надо бы за такие стишки надеть на него белую лямку. Пусть, голубчик, в шкуре рядового-то попробует, как к революции-то призывать. А, пожалуй, еще государь, по неизреченному милосердию своему, простит и этого сорванца.

— Так что, ваше высокопревосходительство, полагаете,— не утерпел пылкий Линдфорс,— что за убийство Пушкина и за благородный порыв возмущенного русского сердца кара должна быть одна и та же?

Звездоносец с минуту тяжело прищуренными глазами смотрел на него.

— Да ты, я вижу, тоже того,— наконец разрешился он.— Таких же идей набрался?! Тоже революции хочешь?!

— Помилуйте, ваше высокопревосходительство, в чем же вы тут видите революцию? Эти стихи — самые верноподданнейшие, один эпиграф к ним говорит за это. Да и эти дополнительные строчки — где же тут можно увидеть революцию?

И он опять не удержался, чтобы не продекламировать:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов...

Его оборвал хозяин. Почтенный шталмейстер, не теряя, впрочем, для всех остальных веселого выражения лица, взглянул внушительно.

— Помилуй бог,— воскликнул он по-суворовски,— стихи, у меня за столом стихи! Нет, душа моя, мы люди непоэтические, а я люблю, чтобы гости кушали мою хлеб-соль во здравие. А тут вдруг ты со своими стихами: все заслушаются, и никто не узнает вкуса этого фрикасе из перепелочек. А они, братец мой, перепелочки-то, из воронежских степей в замороженном виде присланы.

И он очень обстоятельно и подробно начал объяснять трехзвездному сенатору и дамам преимущества дичи, ловленной соколами, а не в тенета. Завязался разговор о перепелах.

Владимир Петрович по скромности как своего харак-

[1] Это отрыжка печальной памяти декабризма *(фр.)*.

тера, так и общественного положения за все время обеда не сказал ни слова.

После кофе гости стали расходиться. Синицын, подойдя к Бурнашеву, повторил свое приглашение. Тот виновато заулыбался и законфузился.

— Чего вы? Или забыли, что хотели иметь?

— Афанасий Иванович, голубчик,— взмолился Бурнашев.— Вы мне позвольте вперед домой съездить. Вам, как старому знакомому, признаться не стыдно: мозоли. Сапоги сегодня только первый раз надел, и сил никаких нету.

— А,— с серьезным видом протянул Синицын.— Поезжайте, поезжайте, но только помните: я вас жду.

Всю дорогу домой Владимир Петрович переживал этот столь льстивший его тщеславию обед. Несмотря даже на боль, которую причиняла тесная обувь, он улыбался самодовольно и счастливо.

Дома в прихожей к нему с растерянными, испуганными лицами бросились и мать и сестра.

— Володенька, родной, да что ж это такое? — захлебываясь слезами и словами, говорили они.— Нужно скорее ехать просить... жаловаться... ведь ты же ничего не сделал...

— Что случилось?! — чувствуя, как у него подкашиваются ноги, вымолвил Бурнашев.

— Жандарм за тобой. Ждет тебя там.

Владимир Петрович медленно, словно падая, стал опускаться на стул.

Из столовой методичное, как тиканье часов, доносилось звяканье шпор.

— Иду,— неизвестно кому глухим голосом сказал Владимир Петрович и с трудом поднялся со стула.

По зале, заложив руки за спину, с терпеливым и равнодушным видом расхаживал жандармский капитан. Заметив входящего Бурнашева, он поспешно спросил, чуть наклоняя голову:

— Бурнашев? Владимир Петрович? Приказано немедленно доставить вас в Третье отделение собственной его величества канцелярии.

И опять поклонился.

Владимир Петрович попытался что-то сказать — получилось екающее непонятное бормотанье. Жандарм щелкнул шпорами, приглашая следовать за ним, и Владимир Петрович послушно, нахлобучив на голову шляпу,— шубы он снять не успел,— в тех же тесных ботин-

ках, на том же самом извозчике, на котором он должен был ехать к Синицыну, позволил отвезти себя к Цепному мосту. В голове беспорядочно оползающей кучей громоздилась невероятная путаница мыслей.

У Цепного моста сани завернули во двор. Владимир Петрович попробовал подняться вслед за выскочившим проворно капитаном. Словно за эти полчаса состарился он на двадцать лет или его хватил удар,— не слушались ноги, и руки беспомощно цеплялись то за облучок саней, то за кушак извозчика. На лестнице жандарм должен был останавливаться и ждать, так медленно поднимался Владимир Петрович.

Комната, куда его ввели, была просторной и светлой. Окна выходили на Фонтанку. Ранние февральские сумерки густели, оконные квадраты на паркете скосились и багровели.

Жандарм, доставивший его сюда, вышел, не сказав ни слова. Владимир Петрович оглянулся растерянно и беспомощно. Только сейчас он заметил в углу застеленную постель. От вида этой постели ему вдруг сделалось так невыносимо тоскливо и жалко себя, что он заплакал.

В дверях раздались шаги, стукнули чем-то тяжелым. Он испуганно отскочил в угол, опустился на стул.

Два жандарма с карабинами за плечами вошли и стали у дверей на часах.

На полу тускнели оконные квадраты, углы наполнялись тенями. Когда стемнело совсем, пришел унтер-офицер с вязанкой дров и со свечкой. Молча поставил свечку на стол, молча затопил камин и вышел.

В камине потрескивали, разгораясь, дрова, жандармы иногда, очевидно спросонок, стучали своими карабинами. В комнате по-прежнему было холодно, так что был виден пар от дыхания. Владимир Петрович, не раздеваясь, в шубе, сидел в углу, бессильно свесив переставшие слушаться руки. Оползавшая в голове куча беспорядочных мыслей рассыпалась совсем. В сердце была страшная, пугающая пустота.

— Господи, помилуй, спаси меня, господи, не дай погибнуть,— непрестанно шептал он.

Сколько прошло времени, он не знал, во всяком случае за окнами была густая чернильная тьма, когда, словно сорвавшись, стукнули карабинами жандармы, широко распахнулась и тотчас же захлопнулась дверь. Кто-то быстрым решительным шагом вошел в комнату. Владимир Петрович не разглядел лица, только мундир, блеснув-

шее золото эполет да мягкий звон шпор переполнили сердце испугом. У него закружилась голова, его мутило.

— Сидите, сидите,— небрежно бросил вошедший, заметив, что арестованный делает тщетную попытку подняться.

— Вы не замерзли? Тут холодно,— так же небрежно, должно быть занятый своими мыслями, спросил он.

Но звук этого голоса пробудил какую-то надежду в сердце Бурнашева.

Пересиливая дрожь, он постарался улыбнуться возможно приветливее, опять попытался встать.

«Проклятый сапожник. Я так и не переобулся. Господи, за что мне, несчастному, такие страдания?» — морщась от боли, подумал он.

Офицер в гвардейском преображенском мундире присел к столу. Владимир Петрович заглядывал ему в лицо, старался поймать его взгляд.

— Ведь мы с вами знакомы. Изволите помнить: вы у меня справочку для вашего дядюшки брали,— искательно лебезил он.— Скажите ж, Евгений Петрович, на милость, что это за камуфлет такой? Ума приложить не могу — за что меня взяли.

Преображенец рассеянно и вместе с тем удивленно посмотрел на него. У Владимира Петровича испуганно сжалось и упало сердце.

«Неужели ошибся?! Неужели это не Самсонов?! Неужели не узнает?! Пропал, пропал совсем!»

На него смотрело незнакомое, с резкими, осунувшимися чертами лицо, только вот глаза с голубым пристальным взглядом все те же, но сейчас они горели тяжелым блеском, как будто Самсонов не спал уже много ночей.

— Знакомы? Возможно. Не помню,— рассеянно бросил он, выкладывая на стол перед собой лист бумаги.— Ваше имя, фамилия, чин? Из кого происходите? Место служения?

Владимир Петрович заплетающимся языком ответил на все вопросы.

— Так. Теперь скажите, от кого вы услыхали или получили в списанном виде впервые стихотворение, называемое «На смерть поэта»?

«Попался, кончено! — с отчаянием пронеслось в голове.— Говорил мне Синицын. Никогда больше, никогда больше не буду списывать стихов, не прошедших цензуры».

Против воли, сам не понимая, как он их запомнил,

он заплетающимся языком повторял слова, которые говорил у Беклемишева за обедом звездоносный сенатор.

— Я сам их осуждаю. Стихи эти суть не что иное, как призыв к революции. Это отрыжка печальной памяти декабризма, это даже опаснее. Единственно из болезненного к литературе любопытства...

Самсонов прервал резко:

— Но и вы их давали списывать. Например, библиотекарю Цветаеву.

— Точно так-с, но это человек благонамереннейших мыслей...

Его, казалось, не слушали.

— От кого вы их получили, я вас спрашиваю?

— От Глинки, Владимира Сергеевича Глинки. Он первый мне похвастался, что имеет их в списанном виде. Он всегда хвастает, что первый достает стихи еще до печати.

— А Глинка где достал — вы знаете?

Самсонов говорил усталым равнодушным голосом. Бурнашев заметил, что он не записывает его ответов, и это придало ему мужества.

— Он называл фамилию, только я запамятовал. Отставной ротмистр их, то есть Харьковского уланского полка. Нигорин, кажется.

У Самсонова по губам скользнула улыбка.

— Вы от Глинки, Глинка от Нигорина, а с самим автором, корнетом Лермонтовым, вы никогда не встречались? Его лично не знаете?

— Никогда даже не видывал. Честное слово, не знаю. Раз как-то на лестнице у одного моего хорошего знакомого столкнулся и то только потом узнал, что это был Лермонтов.

Самсонов опять улыбнулся.

— Отлично. Вас привезли сюда по недоразумению. Сейчас я распоряжусь, чтобы вас отпустили. Но...

Он жестом остановил порывавшегося говорить Бурнашева.

— Потрудитесь запомнить. Этот наш разговор и вообще ваше пребывание здесь должны остаться в совершенном секрете. Поняли? Иначе для вас опять будут неприятности.

IX

Над городом стоял унылый великопостный звон. Дома старуха Андреевна с первой же недели повязалась с ушами черным платком, ходила неслышно и все крестилась. Из кухни,— квартира была маленькая, из пяти комнат, людская и кухня помещались в том же этаже,— проникали противные постные запахи.

В воскресенье на масляной, в Аничковом был soirée de clôture[1]. Только в четвертом часу Евгению Петровичу, и то с большим трудом, удалось уговорить жену поехать домой. Дорогой она нашла повод придраться к каким-то сказанным по крайней мере месяц тому назад словам. Когда подъезжали к дому, Евгений Петрович уже представлял собою полное собрание всех пороков как муж и недостатков как Самсонов.

Пост с томительным бездельем, с безвыходным сидением дома, с туалетом, начинавшимся в полдень и так и остававшимся незаконченным до вечера; пост с тоской разбросанных по столам и диванам не прочитанных и до половины книжек, со скукой едва начатых рукоделий, с изводящим молчанием мужа, если он бывал дома, и неистовым раздражением, если собирался уезжать; пост, знаменовавшийся отсутствием выездов, балов и вечеров, неизменно запаздывающими обедами, неумолчной ворчней Андреевны, теснотой собственной квартиры, окончательно убедил Надежду Федоровну, что она-то и есть самая несчастная на свете женщина и что в муже, себялюбце и бездушном, никогда и не было ни капельки любви к ней.

На третьей неделе она говела. Хотя бы этот ее подвиг и решение внушали ему жалость. У него по-прежнему каменным оставалось лицо, только и радости было заметить, с каким усилием он отводил от нее глаза, как движутся под кожей скулы. Значит, молчание-то ему не так уж дешево дается.

За столом, украдкой наблюдая за ним, небрежно проговорила:

— Тебя, кажется, можно поздравить. Уже прибегают к твоему влиянию в весьма серьезных делах.

От вопросительно-холодного взгляда она отвела глаза, рассмеялась искусственно и нехорошо.

— Я нашла у тебя на столе письмо какой-то Дарьи Раевской. Прости, но я не удержалась, чтобы не узнать, кому я обязана твоим невниманием за последнее время.

---

[1] Прощальный вечер (*фр.*).

Он молчал. Надежда Федоровна переждала паузу и все с той же насмешливостью продолжала:

— Но это оказалась какая-то титулярная советница из Саратова, просит за двадцатишестилетнего сына. Хотя... может, и в пятьдесят лет она сумела сохранить свою привлекательность?

Надежда Федоровна очень ждала и желала вспышки раздражения, резкого замечания. На такой случай у нее уже была готова целая обличительная речь. Заканчивалась она весьма тонким и весьма колким упреком: «Вот она, ваша гордая самоуверенность, Самсонов, вы даже своего положения и влияния использовать не умеете: с просьбами обращаются только титулярные советницы из Саратова».

Муж посмотрел на нее так равнодушно, что она с оскорбленным видом встала из-за стола и ушла к себе.

Звук отодвинутого стула как бы навсегда остался в комнате. Часы осторожным тиканьем отдирали тишину, как обои. Завороженный этим молчанием, Евгений Петрович сидел, не двигаясь. Потом от стены медленно отделился и наполнил комнату звон. Било пять.

Он встал с рассеянной, усталой улыбкой, прошел к себе в кабинет.

— Василий, трубку!

Наступил час самый приятный во всем беспокойном дне. С кольцами ленивого дыма, казалось, отходили и таяли все тягостные мысли. Самое трудное, самое недосягаемое начинало казаться таким простым, так легко осуществимым.

Вероятно, даже и Бенкендорф подивился бы рвению своего адъютанта, с каким тот выполнил данное поручение. «Вслушиваясь и направляя», Евгений Петрович испытывал что-то похожее на обретенный и благодетельный покой. Еще говорили о несчастном Пушкине, еще осуждали или сочувствовали его вдове, еще гадали о причинах неизменно сопутствовавшего Дантесу счастья. Этими пересудами, этой воркотливой, уже начинавшей многим надоедать болтовней с него снимали муку его самолюбивых терзаний. Наступивший великий пост, словно глубоким вздохом, перевел дыхание. Теперь, когда Надежда Федоровна по целым дням оставалась дома, она сделалась ему почти ненавистной. Будто только ревнивые подозрения и неизвестность и могли питать его страсть. Даже не раздражали, а просто были противны ее мелочные придирки, колкие слова, нескрываемая не-

приязнь. Вспоминать ту, новогоднюю, ночь было мучительно стыдно.

Но сейчас она, опять она заставила вспомнить.

Титулярная советница Раевская обращается к нему, чтобы он поддержал ее ходатайство за сына. Евгений Петрович ухмыльнулся. Его, скромного обер-офицера, просят о заступничестве перед престолом. Сколько раз там, в Саратове, писали и переписывали это письмо, ломали голову над его составлением. Дознались, значит, что жандармское дознание ведет он, что от него, Самсонова, не меньше, чем от царя, зависит судьба человека. Он покривился самодовольной и пустой усмешкой. Но сейчас же опять в сердце закопошилось привычное беспокойство. Стало не по себе.

Сегодня он должен был снять показание с арестованного «за сочинение недозволительных стихов корнета Лермонтова». Он уже три дня откладывал эту поездку. Самый звук этого имени был ему неприятен. Он неизбежно вызывал в памяти мохнатый серый рассвет, заваленную, как мертвыми, пьяными телами комнату, боль в сердце, поколебленную веру в любовь, наглую улыбку наглого гусара. Это воспоминание не отрывалось от другого, мучительного и незабываемого — о новогодней ночи. Надежда Федоровна, будто знала, что это причинит боль, что больше всего он старается не думать о деле Лермонтова и Раевского, напомнила за столом именно о нем.

Евгений Петрович отставил трубку. Встал, застегнул мундир. Лиловый предзакатный свет густел в окне.

«Хорошо. Поеду. Но вот еще что противно. Граф намекнул, что с ним нужно помягче. Значит, отыграются на одном Раевском. Ох, с какой бы я радостью подвел этого косолапого наглеца под белую лямку!»

С чувством неясным и смутным для самого себя ехал Евгений Петрович к Главному штабу, где был заключен арестованный Лермонтов.

В маленькой комнатке со стенами, испещренными надписями и рисунками сажей, с кроватью из голых досок, с простым деревянным столом, тускло горела одинокая свеча.

Разросшаяся во всю стену тень колыхнулась, когда вошел Самсонов, отползла в угол. Лермонтов с поспешностью отодвинул от себя клочок серой оберточной бумаги, на которой он что-то писал обгорелой лучинкой, привстал с табурета.

— По поручению его сиятельства, господина шефа

жандармов и командующего императорской Главной квартирой, снять показание по делу о непозволительных стихах. Гвардии штабс-капитан Самсонов.

Лермонтов с едва заметной усмешкой склонил голову. Свеча освещала сейчас только подбородок, улыбка пропадала в тени, но и так Евгению Петровичу она показалась жалкой, униженной и виноватой. Он оглянулся, ища места, где бы присесть. Лермонтов придвинул ему табуретку, мягко сказал:

— Садитесь, пожалуйста. Здесь у стола вам будет удобнее.

Евгению Петровичу не хотелось упускать из взора его лицо, он пристроился в углу, осторожно отодвинув какую-то еду и стакан, достал бумагу и карандаш.

Голос Лермонтова показался ему убитым.

— ...Одни приверженцы нашего лучшего поэта рассказывали с живейшим участием,— говорил Лермонтов,— какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и наконец вынужден сделать шаг, противный законам земным и небесным... защищая честь своей жены в глазах строгого света.

Словно в комнату ворвался порыв свежего ветра, вздрогнул Самсонов, нервно поправил сползшую с плеча шинель.

— Другие, особенно дамы,— тем же ровным, опавшим голосом продолжал Лермонтов,— оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурен собой; они говорили также, что Пушкин негодный человек и прочее... Не имея, быть может, возможности защищать нравственную сторону его характера, никто не отвечал на эти последние обвинения. Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукой божьей, человека, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого, и врожденное чувство в душе неопытной защищать всякого невинно осужденного зашевелилось во мне еще сильнее по причине болезненно раздраженных нервов.

«Он и в самом деле не то, что о нем думают. Той бабе у Нигорина и вправду открыта его душа»,— почти умиленно подумал Самсонов, но сейчас же это заслонилось и стерлось привычным недоверием к словам.

— Я слушаю. Пожалуйста, дальше,— сухо сказал он.

— Когда я спрашивал, на каких основаниях так гром-

ко они восстают против убитого, мне отвечали,— вероятно, чтоб придать себе более весу,— что весь высший круг общества такого же мнения. Я удивился — надо мной смеялись. Наконец после двух дней беспокойного ожидания пришло печальное известие, что Пушкин умер, но вместе с этим известием пришло другое, утешительное для сердца русского. Государь император, несмотря на прежние заблуждения покойного, подал великодушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность его поступка с мнением, как меня уверяли, высшего круга общества увеличила в моем воображении, очернила еще более несправедливость последнего...

У Евгения Петровича скользнула по губам довольная и ироническая улыбка.

— Так вы полагаете, что вы высказывали в вашем сочинении мнение правительства? — спросил он.

— Я был твердо уверен, что сановники государственные разделяли благородные и милостивые чувства императора, богом данного защитника всем угнетенным,— тихо сказал Лермонтов.

«Чего он трусит? — брезгливо поморщился Самсонов.— Неужели не знает, что ему ничего не будет, если даже под арест сажают не на гауптвахту?»

— Этот опыт был первый и последний в этом роде,— между тем поспешно опять заговорил Лермонтов,— вредный, как я прежде мыслил и как теперь мыслю, для других еще более, чем для меня. Когда я написал стихи мои на смерть Пушкина, что, к несчастью, я сделал слишком скоро, то один мой хороший приятель,— Самсонову показалось, что у него дрогнул голос,— один мой приятель просил меня их списать. Вероятно, он их показал как новость другому, и таким образом они разошлись. Я еще не выезжал и потому не мог вскоре узнать впечатления, произведенного ими, не мог вовремя их возвратить назад и сжечь. Сам я их никому больше не давал.

«Врет»,— решил про себя Самсонов, а вслух, брезгливо поморщившись, спросил:

— Кто этот ваш приятель?

— Раевский.

Когда Самсонов вышел, Лермонтов с минуту весело и радостно смотрел на дверь. Целый день сегодня теснили сердце странные и новые для него чувства. Заточение, в котором не дают даже чернил и бумаги, казалось, делало его самым несчастным на свете. Допрашивать при-

езжали и корпусный аудитор, и от военно-судной комиссии, а вот сейчас и жандарм. Надежда на то, что все кончится пустяками, что бабушка сумеет выхлопотать ему прощение, сменялась страхом безвестности. Казалось — его все забыли. Это стало в конце концов таким горьким, что думать о себе больше было невозможно. И вот тогда в сердце вкралась умилительная, сладкая печаль. Чувство было настолько ново, настолько неожиданно, что он долго шагал по комнате, стараясь справиться с охватившим волнением. Потом подошел к столу, обжег на свече отщепленную от стола лучинку, на клочке серой бумаги, в которой были завернуты принесенные сегодня из дома тарелки с едой, без поправок, без помарок, написал:

Я, матерь божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль с покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника, в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастьем счастья достойную,
Дай ей сопутников, полных внимания.
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному,
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

Написав, долго сидел умиленный и растроганный. Казалось, этими строчками он выдал расписку, что навсегда отказывается от собственного счастья. Одно сознание, что он может так желать его другому, переполняло сердце горделивым торжеством.

— Да, да, вот и Дарья говорила,— она женским чутьем понимает в этом — не любит, не может Варенька любить такого. Ну, пусть и не любит, только бы ей хорошо. Милая, милая,— шептал он с восторженной и благородной улыбкой.

Сейчас, после ухода Самсонова, весело и легко на сердце было только одно мгновенье. Словно из темноты протянулась рука, замахнулась схватить его. Он вскрикнул:

— Я? Я? И не запнувшись?!.

Слова, как рыданья, душили. Их нужно было высказать, излить, освободиться от них. Он рванулся к столу. На глаза попался клочок бумаги со стихами. Раздраженно смахнул его на пол.

— Святослав, ты прости,— шептал горячо и отрывисто,— я люблю тебя, ты настоящий друг, знаю, знаю... Даже сидя под арестом, думаешь только обо мне. Ухитрился прислать записку, что надо говорить... А я... нет, нет, это невозможно.

Той же лучинкой, какой писал стихи, торопливо набрасывал на обрывке:

> Ты не можешь вообразить моего отчаяния... Я сначала не говорил про тебя... Меня допрашивали от государя — жандармы,— сказали, что тебе ничего не будет, а я запрусь — меня в солдаты... Я вспомнил бабушку и не смог... Я тебя принес ей в жертву...

Остановился, с минуту смотрел тупым невидящим взглядом на бумагу, потом схватил, изорвал ее в мелкие клочки. Бросился на голые доски кровати. Слезы бессилья, злобы, раскаянья, стыда хотел удержать хриплым вскриком и не мог.

Спустя два дня Евгению Петровичу в канцелярии, перед тем, как идти на беседу к графу, вручили отношение военного министра.

> *Его сиятельству, господину шефу жандармов и командующему императорскою Главною квартирою от 25 февраля 1837 года. № 100*
>
> Государь император высочайше повелеть соизволил: лейб-гвардии гусарского полка корнета Лермонтова за сочинение известных вашему сиятельству стихов перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк; а губернского секретаря Раевского за распространение сих стихов и в особенности за намерение тайно доставить сведение корнету Лермонтову о сделанном им показании выдержать под арестом в течение одного месяца, а потом отправить в Олонецкую губернию, для употребления на службу по усмотрению тамошнего губернатора.
>
> О таковом высочайшем повелении уведомляя вас, милостивый государь, имею честь присовокупить, что должное по оному распоряжение сделано.

Самсонов взял из своего стола синюю папку дела № 43 «о непозволительных стихах корнета Лермонтова» и прошел на доклад.

Граф был уже одет и, видимо, торопился.

— Ну, что там у тебя?

— Отношение графа Чернышева к вашему сиятельству.

Бенкендорф быстро пробежал бумагу глазами, с уголка, не присаживаясь к столу, пометил карандашом «убрать» и замахал на приготовившегося что-то доложить Самсонова.

— Ну, ладно, ладно, после расскажешь.

X

Город просыпался. Отпирались лавки. Из ворот с грохотом выезжали груженые подводы. Возле уличных фонтанов переругивались и гремели ведрами водовозы. От почтовой станции вверх по Мясницкой неслись, обгоняя, брички и запряженные в четверку кареты. Казенная почтовая тележка тарахтела и прыгала по неровной мостовой.

Ослепительно белой, словно вымытая майским солнцем, кинулась в глаза стена Китай-города. Под гору лошади поскакали быстрее. По шестому часу солнце припекало изрядно. От вида надоедно мотавшегося крупа пристяжной клонило ко сну. Утро пахло зеленью и солью. Пыль, поднимавшаяся лениво, тотчас же тяжело ложилась на землю. В прозрачном, как родниковая вода, воздухе серой истрепанной холстиной лежала перед театрами площадь. Минуя ее, обтянутую канатами, свернули налево по мощеному проезду. Зелень на белой стене по-весеннему выглядела крепко и влажно. У Иверской уже толпился народ, на площади возле Торговых рядов с шумом устанавливались подводы, майский шаловливый ветер гонял обрывки бумаги и разный мусор. Ухабистым, неровно замощенным Балчугом слетели на мост.

Над Москвой-рекой главы кремлевских церквей кутались дымкой разгоравшегося зноя. В Замоскворечье, передразниваясь, звонили к обедне сразу в нескольких местах.

Лермонтов выпрямился, поправил кожаную подушку за спиной. Открывшаяся глазам картина, колокольный

веселый перезвон неприятно напомнили о почти месячном московском беспутстве, о недописанной поэме, пустых без вкуса и радости прожитых днях.

Хотелось торопливой деловитости, быстро бегущих мыслей, хотелось, чтобы в голове прочно и ладно складывались оборвавшиеся на бумаге строчки. Так иногда бывало. Потом они записывались просто, как выученные наизусть. Но сейчас не удавалось и это.

«Почему это? — лениво копошилось в голове.— Почему эта тема так цепко держит меня?»

Сюжет дал рассказ, слышанный еще в пору его университетского пребывания в Москве. У молодого замоскворецкого купца была красавица жена, никуда не выходившая, кроме церкви и родных, да и то не иначе, как в сопровождении старухи-няньки. Какой-то лихой гусар, тщетно добивавшийся знакомства с красавицей купчихой, похитил ее на улице, когда она возвращалась от всенощной. Муж отомстил за поруганье и затем, арестованный, наложил на себя руки.

Конечно, дело не в сюжете,— написать такую поэму потянули златоглавые московские церкви, вечерний переполненный звон, пушкинские старинные песни, вид Кремля, брезгливая ненависть и отвращение ко всему сегодняшнему. Но почему он ухватился именно за этот сюжет, что было ему близкого в страданиях мужа, кладущего голову из-за неверной жены? Всегда издевался над ревнивыми страданиями обманываемых мужей, все они казались смешными глупцами, в женскую верность, как и в существование драконов, не верил вообще. А вот сейчас этот в суматохе противоречивых мыслей родившийся купец Калашников был дорог и близок, как брат, друг, болеющий одной с ним болью. В памяти проступили так ярко, что их захотелось произнести вслух, другие строчки. Вспомнил ранний петербургский вечер, горячий спор с кузеном Столыпиным, братом Монго. Столыпин доказывал, что Пушкин не мог, не в праве был требовать от своей жены любви. Пушкин — урод, безобразный ревнивец. Дантес,— а может, и не Дантес,— красавец, блестящий и занимательный любовник, не равный ему ни положением, ни внешностью. Как тогда, от одной мысли, что и его, невидного кривоногого Маешку, могут презирать, смеяться над его страстями, холодное, сводящее мышцы бешенство подступило к сердцу. Вслух скверно и длинно выругался. Дремавший на облучке Андрюшка встрепенулся.

— Чего изволите, Михаил Юрьевич?

— Ничего. Дурак.

Андрюшка опять дугой выгнул спину, головой ушел в плечи.

Навстречу, с юга, ветер душным, тяжким дыханием пахнул в лицо. Проехали заставу. В густой и яркой зелени прямо и застыло, как лунатик, прошел монастырь с белой высокой колокольней. Ветер на гряды тянувшихся по обе стороны огородов, на кряжистые избушки подмосковных деревень гнал тучи пыли. Солнце, скрываясь в облаках, как раскачиваемый в руке фонарь, перебрасывало с места на место золотые полосы.

— Андрюшка! Как будто дождь собирается?

— Похоже.

— Отстегни фартук.

Лермонтов глубже, по самые уши надвинул уродливый кивер из черного барашка.

Кругом все стихло, пропал и ветер. Серая скучная тень легла на землю. Вдалеке, словно за горами, рассыпался первый удар грома. Дорожная пыль покрылась рябинами первых дождевых капель.

Ямщик остановил тележку, соскочил с облучка, перебрасывая кнут из руки в руку, натягивая на плечи кожух. Андрюшка застегивал фартук.

От непроходившего чувства жалости к неживому, к не жившему Степану Калашникову стало противно и обидно. Обида вызывала воспоминания горькие и унизительные. Если бы не дождь, частой сеткой занавесивший дали, он выпрыгнул бы из тележки, до изнеможения шагал бы по дороге.

Сначала ему было приказано оставить Петербург в течение сорока восьми часов, то есть ровно во столько времени, во сколько могла бы быть готова новая форма. Бабушка хлопотала всюду, где только могла. Ему разрешили пасху пробыть в столице.

Покидать Петербург было жалко. Но рисоваться обреченностью ссылаемого на Кавказ, под пули, на погибель, было так соблазнительно. Известность, которую доставила история со стихами, кружила голову. Вероятно, никогда еще до сих пор он не говорил столько дерзостей, не издевался так откровенно над всеми, кто только отваживался подойти к нему с дружелюбием. Экзотический, непривычный для Петербурга мундир заставлял обращать на себя внимание, где бы в нем ни появился Лермонтов.

На одном вечере столкнулся с Самсоновым. Тот с иронической усмешкой оглядел его черную куртку с кушаком, широкие с краповыми лампасами шаровары, оглядел всю его маленькую фигурку, ставшую от этого наряда еще более невзрачной и неуклюжей.

— Вас смешит эта форма? Не правда ли, она несколько портит фон этого вечера?

— В моих глазах никакой мундир не может казаться недостойным, ибо каждый, носящий его, одинаково служит его величеству,— сухо ответил Самсонов.

У Лермонтова в глазах пробежал торжествующий и злой огонек.

— С той только разницей, что одни несут эту службу на поле брани, а другие на паркете гостиных.

— Вероятно, вы и нашли себя недостаточно способным для последней,— хмуро улыбнулся Самсонов, делая движение уйти.

Лермонтов развязно и быстро бросил ему вслед:

— Э, стоит ли нам в этом пикироваться? Отсюда, если вы не хотите задохнуться, есть только две дороги. Для немногих в Париж, для многих, и меня в том числе,— на Кавказ, причем лично для себя вы, кажется, разыскали и третью.

И он выразительно посмотрел на его золотой жандармский аксельбант.

Самсонов, только недоуменно пожав плечом, молча отошел прочь.

На другой день Лермонтов хвастался перед приятелями, как ловко отомстил издевавшемуся над ним на допросе жандарму.

Но выхлопотанная бабкой отсрочка близилась к концу. Нужно было готовиться к отъезду.

На третий день праздника поехал к Нигорину.

Это было днем, сам Никодим Васильевич, очевидно после вчерашней попойки, храпел одетый на диване. Дарья Антоновна в боковой комнате сидела за рукодельем. На полу вокруг нее валялись лоскутки белого полотна, свернутые в клубок носки, какие-то тряпки.

«Чинит нигоринское белье!»

Губы опустились брезгливо. На минуту он и в этом почувствовал для себя какое-то унижение. Поискал глазами стул, не нашел, опустился возле на пол, усеянный лоскутами.

Дарья Антоновна внимательно и долго разглядывала его, потом весело расхохоталась.

— Ну, Юрьич, и чуден ты, ну, и чуден в этом наряде. Чистый Михайло Топтыгин, как цыгане водят.

Потом разом она вдруг перестала смеяться, глаза сделались темными, яркие губы чуть покривились плотоядной усмешкой.

— Все-таки приехал, не выдержал. Все говорили — вот-вот уедет. Ну, думаю, и прощаться не хочет. Ан нет, приехал-таки. Эх, Юрьич, Юрьич, допрыгался, бедненький, на Кавказ прогоняют.

Это воспоминание расплывалось и гасло. Ярким, незабывающимся оставался только самый последний момент.

У Дарьи Антоновны лицо потускнело и выглядело равнодушным. Сытая улыбка обмякла на нем. Он все еще сидел на том же месте, на полу. В окно багровым и желтым полыхал закат. На душе было пусто и тоскливо, и сам он себе был противен до отвращения.

— Нет, Юрьич, нет, миленький, это ты брось. Никодимкина любовь, и та дороже твоей стоит. А ты вон что задумал. Нет, ты вот как сделай, если совсем про меня решился. Под венец своди, да потом именье — есть оно у тебя али нет? — именье на меня отпиши, чтобы я вполне себя чувствовала, бабушке любить меня закажи...

Он возмущенными и горячими глазами метнулся к ее лицу.

— Ну, ну, чего вскинулся, ровно бешеный! Это невелика хитрость так-то, а ты вот покажи, что людей не постесняешься. Всех вон с плеча поносишь, мизинца твоего, говоришь, не стоят, а их суда вон как испугался. Что! И сказать тебе нечего. Молчишь, миленький.

При одном воспоминании вся кровь, как от оскорбления, хлынула к лицу.

Ямщик, оборачиваясь с облучка, спросил:

— Ваше благородие, не переждать ли нам? Ишь как расходился, так и хлещет.

Действительно дождь усиливался с каждой минутой. Барашковый кивер намок, вода с него ручьями текла по лицу. Лермонтов молча кивнул головой.

У первого же по пути двора они остановились.

Лермонтов, войдя в избу, скинул мокрую шинель и кивер, платком вытер лицо, присел к столу. Андрюшка втащил дорожный погребец, начал было его распаковывать,— он досадливо махнул рукой.

— Не надо. Поди принеси мне портфель.

Огромный, как чемодан, портфель долго лежал на столе нераскрытым. Злоба, боль унижения и обиды не проходили. Наконец с лукавой горькой усмешкой он вынул из кармана привязанный к платку ключ, отпер портфель. Тетрадки, пачки писем, стопа белой бумаги, перья выпали на стол. Увесистый, запечатанный сургучом конверт одиноко отвалился в сторону. На конверте неразборчивой скорописью было написано:

Его благородию

поручику МАРТЫНОВУ НИКОЛАЮ СОЛОМОНОВИЧУ
в собственные руки.

Лермонтов отшвырнул его в сторону, потянул к себе одну из тетрадок, раскрыл на чистой странице. Кончик карандаша медленно поднялся к губам. Глаза смотрели поверх бумаги, поверх стола ясным, отсутствующим взглядом. Потом они опустились к столу. Рука осторожно перевернула в тетрадке две страницы. Вполголоса он прочел:

...И промолвил ты правду истинную:
По одном из нас будут панихиду петь,
И не позже, как завтра, в час полуденный;
И один из нас будет хвастаться,
С удалыми друзьями пируючи.

Вдруг остановился. Осторожно оглянулся кругом. В закопченной горнице сумерки уже занавесили стены. Тихо прошептал вслух:

— А дойдет ли? Поймут?

Вспомнилось, как давно, еще в ранней юности, записал в своей тетрадке:

«Если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. В них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности».

Усмехнулся. Опять раскрыл «Калашникова». Движения были обдуманно скупы и неторопливы. Справа от тетради положил карандаш. Рукой разгладил страницы.

...И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до последнева».

Память точас же соединила, слила эти строчки с другими. Этих он не читал,— они возникли сами:

Я топор велю наточить-навострить,
Палача велю одеть-нарядить,
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью...

— Поймут,— убежденно и гордо вырвалось вслух.— Не ненависть же к Дантесам только заставила меня убить Кирибеевича.

В памяти, наполняя сердце гордостью и болью, возникла метельная январская ночь на Конюшенной. В толпе молодой голос, срываясь, декламировал:

...Вы, жадною толпой стоящие у трона,—
Свободы, гения и славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи...

Даже сердце забилось взволнованнее и чаще. Как будто он слышал этот голос сейчас. Нигорин не мешал. Если бы не Нигорин, он, может, и тогда уже до конца переполнился бы этим горделивым чувством. Или нет? Тогда ему стало даже стыдно. А сейчас — его же ссылают, и он — преступник, и он испытал на себе «царскую милость», которой не был «оставлен» Калашников.

Мысли были ясны и спокойны. Грозный царь! Это вызвало даже усмешку. Раздражаясь, заставил себя вспомнить дудергофское лагерное поле, застывшие, как в летаргии, колонны полков. Генерал в сопровождении огромной и пышной свиты, объезжал войска, и воздух взрывался от нестерпимого, многоголосого крика. Генерал сидел на коне огрузлой, неопрятной посадкой, раздражало его лицо — генеральски сердитое и пустое, как печной изразец.

Лермонтов порывисто захлопнул тетрадь с «Калашниковым», схватил листок бумаги, карандаш. В голове уже кипели какие-то гневные строчки, слова вязались в одну тугую, как натянутая тетива, струну. Была мишень, в которую должна спустить разящую стрелу эта тетива. Свидетельствуя ее готовность, многозвучно звенели рифмы. Он быстро набросал на бумаге строфу. Ее хотелось увидеть глазами. В горнице стало уже совсем темно. Он крикнул:

— Андрюшка, подай огня!

Андрюшка, доставая огонь, завозился в сенях, потом принес зажженную свечку.

Круг света открыл на столе разбросанные бумаги, тетрадки, перья, письма. Одно большое и плотное, как будто там была запечатана целая повесть, назойливо лезло в глаза. Машинально — во второй уже раз — прочел адрес:

Его благородию поручику
Мартынову Николаю Соломоновичу
в собственные руки.

На лице появилась горькая страдальческая улыбка. В памяти ускользающим, не дающимся в руки виденьем мелькнул женский образ. Темные, такие большие, что они напоминали яшмовые пепельницы, глаза, руки с тонкими и длинными пальцами, с ногтями, как узкие розовые виноградины. Он глубоко вздохнул. Глаза остановились на листке с начатыми стихами. Он схватил его, смял, бросил на шесток. Потом встал, поднес к бумаге свечку. Комок, расползаясь и развертываясь, запылал легким и быстрым пламенем. Через минуту на шестке лежала только кучка черного трепещущего пепла.

Взгляд сделался печальным и задумчивым. Лермонтов, не отрываясь, смотрел, как вздрагивали и трепетали черные, покрывшиеся сединой листки сожженной бумаги.

XI

Мартынова Лермонтов встретил на следующий же день после своего приезда в Москву. Завтракал у «Яра». Он не выносил одиночества в трактирах, скуки ради начал уже придираться к подававшей прислуге, как вдруг в дверях появился Мартынов.

Мартынова, хотя тот и был моложе его по выпуску, он знал еще со школы. Это был весьма недалекий и самовлюбленный малый, немного хвастливый, немного заносчивый, но он служил в кавалергардах, обладал красивой и видной наружностью, считался не плохим товарищем, не был назойлив, глупость его не раздражала. Они встретились как старые и близкие друзья. Сейчас Мартынов отправлялся волонтером на Кавказ. Это сблизило еще больше, встречаться стали ежедневно, вместе завтракали у «Яра», вместе на целые ночи укатывали к Пресненским прудам к цыганам. Мартынову,

видимо, очень хотелось ввести приятеля в дом своих родных. Лермонтов почему-то старательно уклонялся от этого, наконец почти накануне отъезда Мартынова (сам он задерживался в Москве еще на некоторое время) он согласился.

Что-то похожее на смущенье, неловкую робость почувствовал он, когда Мартынов представлял его своей старшей сестре, Наталье Соломоновне.

— Это, Натали, Лермонтов. Ну да, тот самый Лермонтов, чьи стихи так понравились тебе.

На Лермонтова смотрели испуганным, но храбро взметнувшимся взором.

Он был поражен. В лице, в движениях, в улыбке у Натальи Соломоновны было какое-то неуловимое, но вместе с тем и неопровержимое сходство с любовницей Нигорина. И у этой, когда ей будет под тридцать, губы будут складываться только для хищной, плотоядной улыбки, и она постигнет, какая власть дана этим густым, стыдливо опускающимся ресницам. Нет, нет, таких-то и нужно бояться. Но когда еще? А сейчас...

На конкурсном состязании, на малознакомом коне, перед барьером охватывает подобное чувство. Неуверенность, страх, отчаяние, досада и жажда во что бы то ни стало одолеть препятствие перемешались в душе.

Но конь не обманул.

Это случилось уже после отъезда брата.

Переходы от пристального нежного внимания к равнодушной холодности, горькие признания о своей обреченности, страстные строчки стихов не оставили безразличной Наталью Соломоновну. Уже почти точно знал, что можно и что невозможно. Родители как будто что-то начали примечать, принимали теперь с подчеркнутой холодностью, только что не отказывали от дома. И он все-таки решился.

Был час обеда. Лакей не пошел провожать домашнего завсегдатая. В темном коридоре, возле буфетной столкнулся с Натальей Соломоновной. Она слабо вскрикнула. Впрочем, она всегда вскрикивала, когда ее целовали. Он крепко сжал ее руки выше кистей. В памяти осталось что-то, как тонкий упругий ствол, сопротивляясь, клонившееся в его руках к земле, острый угол сундука, о который больно ударилось колено, слабый, изнемогающий вскрик боли. Пустота в собственном успокоенном сердце вспоминалась потом как что-то отдельное, не связанное со всем этим.

Весь обед он говорил без умолку. Наталья Соломоновна, сказавшись больной, к столу не вышла. После обеда вместе с Мартыновым-отцом курили на застекленной, только на днях открытой террасе. Заходившее солнце прямыми полосами прорезывало начинавшую зеленеть растительность. Садовники расчищали дорожки, приводили в порядок газоны. Справа, возле беседки, жгли собранную в одну кучу сухую траву, почерневшие прелые листья. Густой синий дым стлался по земле. Иногда одинокие, тоненькие языки огня пробивались из кучи. Садовники подкладывали по краям сухой травы, тогда огонь охватывал кучу со всех сторон, высоко поднимался кверху, дым делался легким и белым. Сгорала быстро трава, сырая слежавшаяся листва опять заволакивалась дымом, медленно тлела только по краям. Лермонтов усмехнулся.

— Так и прошлое: нужно сжигать терпеливо и упорно. И все равно не сожжешь.

Об этой куче медленно тлеющего мусора вспомнил сейчас. От вздоха разлетелись остатки пепла на шестке.

В избу вошел ямщик, снимая шапку и почесываясь, сказал:

— Похоже, что перестает. Теперь и до станции пустое осталось. Едем, что ли, ваше благородие?

Лермонтов послушно вслед за ним вышел из избы.

Дождь перестал, но небо было все еще покрыто тучами. Мрачно чернела намокшая дорога. Андрюшка платком вытирал в тележке сиденье и укладывал подушки. Сразу охватило беспокойство и нетерпение.

— Ну, ну, пошел!

Андрюшка вскочил на облучок, ямщик подобрал вожжи, цыкнул. Колеса тяжело заскрипели по мокрому песку.

К памяти навязчиво прилипла и не хотела отставать черная, курящаяся дымом куча прелой прошлогодней листвы.

После дождя стало прохладно. Он плотнее закутался в бурку, вытянул ноги, еще ниже опустился на сиденье. Сон, разгоняемый толчками тележки, путаницей лениво переплетавшихся мыслей подходил, словно крадучись. Самого себя ни к чему и неловко было убеждать, что он пострадал, что его высылают, что впереди только пустота и смерть.

Бабушка, прощаясь, крестила со слезами и говорила:

— Не отчаивайся, Мишенька, помни, что у тебя есть

старая бабушка, у которой, кроме тебя, на свете нет ничего. Все, мой родной, сделаю, никого в покое не оставлю. Авось уважат старуху. Ведь сказал же Александр Христофорович [1], что это только на время, только пока. Нужно дать утихнуть этой проклятой пушкинской истории. А там он сумеет доложить вовремя, вернуть тебя, милый. Это ты знаешь. Да и там он написал кому надо, в опасное место тебя не пошлют.

Думать о чем-либо было скучно и утомительно. Закрыл глаза. Черная куча прелых слежавшихся листьев тлела, не разгораясь и не уменьшаясь в размерах. Дремота одолевала тряску езды и неудобную позу.

Во сне Варенька Лопухина,— почему она замужем? почему ему ничего не известно об этом? — шла, не замечая, не видя его, к какой-то стене. Он видит, ясно видит длинную тонкую иголку, воткнутую в стену. Иголка блестит на солнце, но Варенька не замечает, не знает, что она обязательно должна наткнуться на нее. Вот еще только шаг... У него словно слиплись губы, он не может раскрыть рта, не может предостеречь, остановить ее. В ужасе хочет броситься, схватить ее, удержать — ноги словно приросли к полу. Крик мучительно и трудно вырывался из горла. Он проснулся.

Первое, что бросилось в глаза, был черный двуглавый орел на здании почтовой станции. Облупившиеся колонны деревянного портика потемнели от дождя. В стороне водили взмыленную и тяжело дышавшую тройку. Около громоздкой, готовой тронуться дорожной кареты суетилась прислуга. Из кареты, сквозь опущенное окно, слышался сердитый голос. Смотритель стоял на крыльце, держа фуражку в руках. Ямщик, успевший уже соскочить с облучка, кланялся и просил на водку.

— Варенька, Варенька, а я еду, меня ссылают,— ему показалось, что это у него вырвалось еще во сне.

Он проворно выскочил из тележки и подбежал к смотрителю. Тот довольно равнодушно развел руками.

— Придется подождать. Сейчас все лошади в разгоне, последнюю пару только что отдал.

Лермонтов закричал и затопал на него ногами.

Черная прелая куча все еще тлела, не уменьшаясь и не убывая.

Не сгорела она и на Кавказе.

Дорогой, еще не доехав и до Ставрополя, простудился.

[1] Бенкендорф.

Вместо полка, с ревматизмом и двухмесячным отпуском для пользования минеральными водами попал в Пятигорск.

Жизнь та же, что и в Петербурге, та же, что и в Москве, упорно не хотела оставлять его. Как сквозь редеющий туман, запомнившиеся ли с детства или настоящие, видимые, оплываемые облаками, представились глазам горы. Источник показался незнакомым и непохожим. Теперь его обделали камнем, выстроили над ним из камня же крытую галерею. А люди все те же, что и в столице, что и в Москве. Среди «водяного» общества нашел много знакомых, только здесь они все стали смирнее и добродушнее. Скучать надоело, он начал писать, и, как всегда, когда писалось легко и много, еще ненавистнее, еще отвратительнее казалось все вокруг.

Старинный знакомый, товарищ еще по московскому Благородному пансиону, Сатин познакомил его с Белинским. Он даже слегка волновался перед этой встречей. Но Белинский с таким жаром, так глубокомысленно говорил обо всем, казалось, совсем или не понимал или не замечал, как его слушают. Белинский напомнил ему Святослава; обычная уверенность и спокойствие вернулись к Лермонтову, как истый гусар, со снисходительностью и небрежностью он откликался на любое замечание своего собеседника, изо всех сил старался его вышутить. Серьезность Белинского Лермонтова раздражала. А тот как будто не замечал, что над ним смеются, говорил и говорил. Но наконец взорвало и его.

— Да я вот что скажу о вашем Вольтере,— с веселым смехом заявил Лермонтов.— Если бы он явился теперь к нам в Чембары, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры.

Белинский побледнел, остановился, с минуту смотрел на него растерянно и удивленно и тихо сказал:

— Это не оригинально. Так же у Грибоедова и Скалозуб выражается.

Схватил свою фуражку и, едва кивнув головой, вышел из комнаты.

Лермонтов разразился веселым смехом.

— Недоучившийся фанфарон, который, прочитав несколько страниц Вольтера, воображает, что проглотил всю премудрость,— бросил от Сатину.

На другой день Белинский говорил последнему:

— Пошляк, ах, какой пошляк! И чего зазнается,

подумаешь. Написать несколько удачных стихов, вот важность! От этого еще не делаешься поэтом и не перестаешь быть пошляком.

Разумеется, Лермонтову Сатин этого не передавал, но тот и так, очевидно, подозревал что-то подобное, потому что при первой же случайной встрече с Белинским поклониться ему не нашел нужным.

В полк он прибыл, когда летние военные экспедиции уже кончились. Зимняя стоянка армейского полка, да еще в такой глуши, конечно, после Царского, могла только пугать. Он попросился, ему не препятствовали, и за два с половиной месяца он объездил весь Кавказ, всю линию от Кизляра до Тамани.

Осенью на Кавказ ожидали государя. В сентябре пришлось вернуться в полк, готовящийся к высочайшему смотру.

Четыре эскадрона Нижегородского драгунского полка Николай смотрел в Тифлисе и остался ими доволен. Бенкендорф сдержал данное старухе Арсеньевой обещание: на другой же день после смотра, одиннадцатого октября, последовал приказ:

> П е р е в о д я т с я: Нижегородского драгунского полка прапорщик Лермонтов лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом.

Прошлогодняя перепрелая листва дымилась и не сгорала. Еще с Кавказа Лермонтов писал Раевскому:

> *Любезный друг, Святослав.*
>
> Я полагаю, что либо моих два письма пропали на почте, либо твои ко мне не дошли, потому что с тех пор, как я здесь, я о тебе знаю только из писем бабушки.
>
> Наконец меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский полк, и если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли Поселение [1] веселее Грузии.
>
> С тех пор, как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом: изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, пе-

[1] Гвардейский Гродненский полк стоял в Селищенских казармах, в Новгородском округе Военных поселений.

реехал горы, был в Шухе, в Кубе, Чемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакала, ел чурек, пил кахетинское, даже...

....

....

Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить — в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был так здоров, зато жизнь веду примерную: пью вино, только когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то, приехав на место, греюсь... Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два-три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался; раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирной, разумеется),— и чуть не попались в шайку лезгин.— Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные; а что здесь истинное наслажденье, так это татарские бани! — Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства; для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целые дни.

Начал учиться по-татарски, язык, который здесь и вообще в Азии необходим, как французский в Европе,— да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и прочее, теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским.

Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а, право, я расположен к этому образу жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пи-

ши в Петербург: увы, не в Царское Село; скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку.

Прощай, любезный друг, не забудь меня и верь все-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты через меня пострадал.

Вечно тебе преданный
М. Лермонтов.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Первая беременность Надежды Федоровны случилась только на четвертом году ее замужества. Это событие было для нее самой настолько непонятным и неожиданным, что и мужу она не решилась сказать об этом сразу, а только когда уже сделался привычным непрекращающийся и тонкий звон в ушах, когда уже никак не пугали всегда внезапно и без всякой причины холодевшие на руках и ногах пальцы. Фраза, которую она придумывала целых три дня, каталась в мозгу, как ртутный шарик, никак не давалась голосу, слова сжимались в маленький и увертливый комок. От удивленного — ей показалось, испуганного — взгляда Самсонова еще ниже опустила голову. Заколебавшаяся бахрома скатерти вызвала в памяти утомительную картину ржаного колосистого поля. Тишина напряглась таким мучительным звоном, что у нее заломило в висках. Глаза подняла она с трепетным ожиданием ужасного. Вероятно, прошло только мгновение,— ей показалось, что Самсонов смотрел на нее таким испуганным и заледенелым взглядом всю жизнь. До боли сжалось сердце при мысли, что он красив, красив так, как бывают красивы мелькающие только в сновидениях лица. Его голова с волосами, гладко зачесанными на лоб и виски, напомнила ей розовый французский фарфор, оправленный в золото эполет и нагрудника. Красный, без парадного шитья, воротник походил на ленту, перевязавшую ножку этой вазы. Поразило, что это сравнение не пришло к ней тогда, четыре года назад, на маскараде в отцовском доме.

Лед голубых и испуганных глаз растекался, холодной водой заполнял все пространство. Искажались и расплывались черты лица мужа, предметы за его спиной. Падение в ледяную бездну было бесконечным. Очнулась Надежда Федоровна у себя в спальне, на кровати. Сильно пахло уксусом и нюхательными солями. Андреевна прикладывала ей к голове намоченное в холодной воде полотенце. Муж сидел рядом, с краю кровати. Он осторожно и с нежностью поглаживал ей руку. Лицо у него было кроткое и страдальческое. Она с отвращением и поспешно отдернула руку. Как будто во рту мешала непроглоченная пища, не нашлось сразу раздраженных и резких слов, чтобы высказать всю накипевшую в ней за эту неделю ненависть. Он встал, улыбнулся покорно и жалко и, не сказав ни слова, вышел.

Ненависть и раздраженье не пропали. Наоборот, с каждым днем они делались неизбывнее и острее. Иногда Надежде Федоровне казалось, что один вид мужа может привести ее в неистовое бешенство. Его невозмутимость и спокойствие стали невыносимыми. Так продолжалось почти месяц. Потом вдруг Надежда Федоровна сделалась совершенно ко всему равнодушна; веселела она только от знаков его внимания, и тогда просила его подольше бывать с ней. Еще через месяц жизнь уже шла тем же, утомившим и прискучившим, чередом, каким она протекала и раньше. Если бы не повышенная требовательность и раздражительность Надежды Федоровны, если бы не ее частые, беспричинные и теперь всегда нелепые капризы, можно было бы и забыть об ее положении.

Роды были мучительные и трудные. Только на шестой день Надежда Федоровна стала узнавать окружающих, попросила позвать к ней мужа.

В белом кружевном чепце, с обострившимися чертами бледного исхудавшего лица, она показалась Евгению Петровичу незнакомой, но страшно близкой, милой, маленькой, страдающей девочкой. Сердце мучительно сжалось от жалости и любви к ней. Он наклонился, осторожно коснулся губами ее лба. От взгляда доверчиво смотревших на него глаз хотелось плакать. Слова:

— Евгений, самый мой дорогой, самый любимый! — скорее понял, чем расслышал Самсонов.

Он тихо опустился на колени около кровати, гладил и целовал бессильно свесившуюся руку.

Надежда Федоровна говорила слабым, прерывающимся голосом:

— Ведь это только от того, что у нас не было ребенка, нам было так нехорошо. Теперь уж так не будет? Правда? Милый мой, ведь правда же это только от этого?

Евгений Петрович, с трудом подавляя слезы, мягко остановил ее:

— Тебе нельзя еще много говорить. Помолчи, Надин, помолчи, дорогая...

Она посмотрела обиженно и кротко.

— А на него ты даже не захотел взглянуть? Ведь он и твой тоже, твой ведь.

Последнее она произнесла совсем неслышно, одними губами.

Евгений Петрович вздрогнул, как будто в самое сердце ударили чем-то тяжелым и твердым. Он медленно поднялся с колен, подошел и заглянул в колыбельку.

Сперва пышная пена кружев и полотна вызвала только холодное недоумение, как корзина, полная скомканного белья. Потом кормилица осторожно разобрала и откинула покрывало. Вид крохотного, как уродливая и невыразительная карикатура, личика с красной, словно вымоченной кожей заставил брезгливо поморщиться, отвернуться. Сразу стало противно до отвращенья. Умилению и нежности, так внезапно охватившим его при виде бледного страдающего лица Надежды Федоровны, подходил конец.

А она, словно этим мгновением разрушилась плотина, сдерживавшая целых три года признания, доверчивость, нежность, торопливо перескакивая с одного на другое, говорила и говорила.

— Я уйду. Тебе нельзя волноваться,— сказал он тихо и равнодушно с холодной и чужой улыбкой.— А то все равно, пока я здесь, ты будешь говорить.

И, больше не взглянув на нее, вышел из комнаты.

Память о той страшной ночи их первого нового года оставалась непобедимой.

В гостиной к нему подошла невестка, жена старшего шурина Алексея.

— Mais voilá, Eugène vous ne remarquez pas qu'on vous salue. Vous êtes si heureux...[1]

Он посмотрел на нее так, как будто она смеялась на похоронах. За эту улыбку хотелось ее ударить...

А она и ее муж, и раньше считавшие своею обязан-

---

[1] Но, Евгений, вы не замечаете, что с вами здороваются. Вы так счастливы... (*фр.*)

ностью опекать после смерти тестя Самсонова, не отставали с заботами.

— Нужно взять себя в руки,— твердил Алексей Федорович.— Мужчине не подобает впадать в такое отчаяние. Поправим Надю, и заживете опять по-прежнему, счастливо. Вот и доктор Мандт теперь говорит, что опасность уже миновала. Может, потом нужно будет отправить ее, чтобы попользовать водами. Но это потом...

— На Кавказ? — кисло усмехнулся Евгений Петрович.— Я не император, чтобы ссылать так далеко.

— Да нет же, я знаю, что тебе одному не по средствам такое путешествие,— не понял его Львов.— Но мы все сложимся как-нибудь да устроим, раз это необходимо.

— Я не про то,— досадливо передернулся Самсонов.— Я только вспомнил, что на Кавказ не за одним здоровьем посылают. Вон Лермонтова за дуэль с Барантом опять туда шлют. А деньги что? Ведь это еще не сейчас: достану, устрою.

Львов помолчал. Потом, видя, что лицо зятя не проясняется, заговорил, стараясь отвлечь от тяжелых мыслей:

— Да, Евгений, забыл тебе рассказать: вчера я был во дворце, участвовал в обычном нашем интимном концерте. Ты не можешь себе даже представить государя в семейной обстановке,— это такой исключительный семьянин, муж, отец...

По лицу Самсонова пробежала мучительная судорога.

— Ты что, хочешь рассеять меня? — резко перебил он шурина.— Напрасно.

И, круто повернувшись, вышел из комнаты.

Напоминание о том, что он отец, что у него есть теперь какие-то новые обязанности, вызывало досаду и скуку. Он хотел бы забыть об этом, но забыть было трудно: напоминали всякий и каждый.

Бенкендорф на первом же докладе, сморщив дряблые щеки, прожевал тоскливую улыбку:

— Поздравляю, mon cher, поздравляю... Очень рад за тебя, теперь ты с сыном...

Бенкендорф был физиономист. Поэтому он тотчас же оборвал свое поздравление, как ни в чем не бывало заговорил о другом.

— Да, mon cher, знаешь ли,— ошибся я в Лермонтове... Вон ведь опять какую пакость учинил, и вредный ведь, вредный какой оказался... Я раньше, помнишь, здесь же с тобой говорил, думал, что шалопай только, под-

растет — исправится. Сам хлопотал за него у государя, по моему ходатайству и с Кавказа и в свой полк обратно вернулся... Я ради бабки его это делал: очень достойная и благочестивая старушка... Ее жалко... Но теперь баста: в гвардию уже не вернется. И отставочку тоже не скоро, не скоро себе выслужит... Пусть там на Кавказе просвежится как следует, вредный дух из него там выдует. Возгордел, возмечтал о себе невесть что... осуждает...

Самсонов смотрел на своего принципала каким-то не то недоумевающим, не то равнодушным взором, и Бенкендорф в свою очередь посмотрел на него с удивлением. Этот всегда казался графу старательным и ревнивым к службе, а сейчас он слушал совершенно безучастно. Бенкендорф некоторое время молча жевал губами.

— Вот что, mon cher,— заговорил он, делая, по обычаю, паузы чуть ли не после каждого слова.— Ты там проследи за Москвою... Проследи... чтобы... не преминули аккуратно донести... когда последний проедет...

— Какой последний, ваше сиятельство?

Бенкендорф был окончательно удивлен и рассержен:

— Как какой?!. Ты что же, службу совсем забыл со своими семейными... событиями?.. Так, mon cher, не годится... Я говорю про этих... как их называли в свете?.. Кружок шестнадцати, что ли?..

Евгений Петрович вспомнил. Ну да — конечно, он помнит. Кружок шестнадцати. Кто там бывал? Столыпин, Браницкий, Гагарин. Кто еще? Вот уж не подумать, что эти не благонамеренны,— достойнейшие и заметные в свете люди. Но сейчас же Самсонов отмахнулся от этой неряшливой, как она показалась ему здесь, в кабинете графа, мысли. «А среди декабристов разве не было таких же достойных и уважаемых в свете?» Он уже умилялся проницательности графа. Граф говорил:

— ...Государь приказал мне всех их упрятать подальше... И чтоб сюда ни один не вернулся... Понимаешь?.. А Лермонтов в особенности.

Знал ли Лермонтов, за что его высылали теперь? И что его не допустят вернуться?..

В тот самый день он был у Карамзиных с прощальным визитом. Вечером он покидал Петербург.

За окнами мягко светилось апрельское бледно-зеленое небо, над Невою, над голыми черными деревьями

Летнего сада бежали быстрые кудрявые облака. Он засмотрелся на них, как завороженный.

— Хорошо, как хорошо,— прошептал с глубоким и тихим вздохом.

У него был такой мечтательный, такой растерянный вид, что никто не решился спросить, что, собственно, так хорошо. По лицу бродила неловкая, смущенная улыбка. Так жалко себя не было еще никогда. В памяти, как эти быстро плывущие облака, проносились лица, встречи, слова, какие-то выпавшие из своих дней часы и минуты.

Селищенские казармы в Новгородском округе Военных поселений — место стоянки Гродненского полка, мутная, как от сорванного банка, досада, похожая на раскаяние боль: не остановился, перебрал карту. Потом Петербург, перерезвившийся в своем самодовольстве, оскорбительно и упорно не желающий замечать его.

Его уважали, его хвалили, им восторгались, ему расточали различные знаки внимания — это было где-то вне жизни. Близко, совсем рядом, вот только сказать слово,— и он, умиленный и кроткий, простит всем и все, жизнь переполнится добром и милосердием. Этого слова никто не сказал. Из памяти, будто не на бумаге, а на ней вырисованы эти строчки, не уходило:

Ваше императорское высочество!

> Признавая в полной мере вину мою и с благоговением покоряясь наказанию, возложенному на меня его императорским величеством, я был ободрен до сих пор надеждой иметь возможность усердной службой загладить мой поступок, но, получив приказание явиться к господину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, я из слов его сиятельства увидел, что на мне лежит еще обвинение в ложном показании, самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своей честью. Граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Баранту, в котором бы я просил извинения в том, что несправедливо показал в суде, что выстрелил на воздух. Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести; но теперь мысль, что его императорское величество и ваше высочество, может быть, разделяете сомнение в истине слов моих...

Было тяжко и унизительно сознавать, что он написал это письмо, на которое не последовало даже ответа, еще

унизительнее помнить, что одну минуту он даже подумал: «Ну и ладно. Пусть прочтет только, и то хорошо».

Заключительная строчка: «Вашего императорского высочества всепреданнейший Михаил Лермонтов Тенгинского пехотного полка поручик» и сейчас переполняла сердце горечью.

Вздох отчаяния и обиды не смог подавить, отворачиваясь от окна. С неловкой улыбкой попросил у хозяев листок бумаги.

— Знаете, хочется записать, строчки какие-то в голову лезут.

Через десять минут читал глухим, словно надорвавшимся голосом:

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания:
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

II

Пятигорск, июля 28 (1840)

Милая бабушка,

пишу к вам из Пятигорска, куда я опять поехал и где пробуду несколько времени для отдыха. Я получил ваши три письма вдруг, и притом бумагу от Степана насчет продажи людей, которую надо засвидетельствовать и подписать здесь; я это все здесь обделаю и пошлю. Напрасно вы мне не послали книгу графини Растопчиной; пожалуйста, тотчас же после получения моего письма, пошлите мне ее сюда в Пятигорск. Прошу вас также, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского и пошлите также сюда тотчас. Я бы попросил также полного Шекспира по-английски, да не знаю, можно ли найти в Петербурге: препоручите Екиму, только, пожалуйста, поскорее. Если это будет скоро, то здесь меня еще застанет.

То, что мне пишете о словах г. Клейнмихеля, я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам; он только просто не советует, а чего мне здесь еще ждать? Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам.

Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны; целую ваши ручки, прошу ваше благословение и остаюсь покорный внук М. Лермонтов.

Был еще ранний час, но день уже изнемогал от зноя. Ветер едва мог пошевелить занавеску у окна и был так горяч, будто вырывался из печки. Под потолком сонно и надоедно жужжали мухи. Чернила высохли на бумаге почти мгновенно. Руки, словно к пальцам были привязаны гири, едва-едва двигались. Лермонтов сложил письмо и запечатал конверт.

С написанным письмом как будто отлетела тяжелая и мучительная забота, но вместе с нею и день потерял для него всякую значимость, выцвел и потускнел, словно с него смыли все краски.

Три недели боевого похода, полных всяких неожиданностей; смерть, казалось, караулившая из-за завалов в узких, врубавшихся в жидкий лес просеках, в тишине знойных и неподвижных полдней, в оврагах и долинах, то безмолвных, то расколотых тресками залпов; жизнь, полная непрекращающейся целые сутки походной суеты, жизнь, по-деловому серьезная даже тогда, когда делать было решительно нечего, эта жизнь отняла, уничтожила даже самое представление о каком бы то ни было распорядке, когда нужно что-то придумывать, чтобы занять себя.

Он потянулся, зевая.

Вид зеленого, в черных сползающих плешах, Машука нагонял лень и тоску. Жара мешала думать. Он крикнул, чтоб давали одеваться.

У Елизаветинского источника по утрам собиралось все «водяное» общество. Там можно было узнать все местные новости, встретить знакомых, познакомиться с новыми приезжими. Узкая ухабистая дорога, неизвестно по какой причине называвшаяся улицей, вела туда. У источника, на площадке перед каменной, из серого песчаника, галереей озабоченно расхаживали, ожидая действия вод, три полных и пожилых дамы. В тени на каменной скамейке с унылым видом сидело несколько военных и штатских. Два офицера были на костылях, у одного рука покоилась на перевязи.

В стороне от них, прислонясь к каменному выступу галереи, стоял высокий и статный брюнет в сюртуке без эполет и в белой фуражке. В крутых кудрях уже заметно пробивалась седина, но лицо у него было свежее и молодое. Такие лица бывают у очень достойных холостяков, которым переваливает или перевалило за сорок, у остающихся на всю жизнь в службе полковников, которые умеют жить не роскошествуя, но по-барски, без долгов, на одно жалованье. Таких людей обычно все уважают, но никто особенно их не ценит, о них всегда отзываются очень хорошо, но забывают тотчас же, как только они скрываются из глаз, а когда они умирают, то огорченной оказывается только одна казна, которой приходится хоронить их на свой счет.

Лермонтов еще издали, приветливо улыбаясь, козырнул высокому брюнету.

У того улыбка не проросла из густых, на кавказский манер запущенных усов. Впрочем, руку он протянул с живостью и как бы обрадованный.

— Здравствуйте, здравствуйте, Лермонтов. Очень рад вас видеть здесь и без костыля и не с подвязанной рукой. Право, вам должно чертовски везти, если вас уже отпускают к водам.

Лермонтов попытался изобразить на лице страдальческую гримасу.

— Не совсем уже так, господин полковник, проклятая ревматизма и вот...— он схватился за бок,— нервические боли. Нет, я решительно и в этом несчастливее сих господ.

Полковник, словно он только сейчас их заметил, поглядел на раненых офицеров. Лицо осталось таким же невозмутимым, равнодушным, только сквозь улыбку мелькнули белые зубы.

— Серьезно? У меня такое впечаление, что вы репетируете предстоящий разговор с какой-то дамой.

— Вы почти угадали,— рассмеялся Лермонтов.— Что делать, если здесь на водах самая великая милость судьбы — роман с приезжей провинциалкой. Но только, Константин Карлович, это просто так, вне всяких предвидений, одна дурная привычка. Да потом, что же еще прикажете делать, когда от жары мозги отказываются работать.

У полковника улыбка опять спряталась в гуще усов. Он пристальным, неотрывающимся взглядом смотрел в сторону ванного домика. Теперь около него появилось

еще одно новое лицо, и туда были устремлены взоры скучавших на скамейке штатских и военных.

— По-моему, Лермонтов,— сказал он,— это относится к вам. Вряд ли мои седины стоят того, чтобы их так пристально лорнировали.

Лермонтов со скучающей, недовольной гримасой повернул голову.

Шагах в двадцати от них на скамейке возле ванного домика сидела дама, прикрываясь от солнца кружевным большим шарфом. Солнце в один ослепляющий блеск слило и песок площадки и белую стенку домика. Из этого блеска, из неподвижно застывшей глади расплавленного сияния, казалось, не смотрели, а плыли глаза. Глаза были первое, что он отметил, запечатлел в памяти. Большие и серые, они были так лучисты, так светлы, что тот, кому они принадлежали, не мог, не должен быть обыкновенным человеком. Даже длинные черные ресницы не гасили этого сияния. Суетливо хотелось вспомнить, что они напоминают. Вода в горном ручье, дамасская сталь кинжала Геурговой [1] работы, предрассветный, наливающийся солнцем воздух могут светиться похожим сиянием. Он отвернулся. Сравнения так и не нашлось. Взглядом успел схватить, отметил и оценил мягкую, чуть тронутую ранним увяданием округлость форм, маленькую, обутую в парчевый бронзовый туфель ножку.

Эта дама была одета с изяществом отменным и строгим, достойным лучшего места и общества. Кружевной венецианский платок оттенял смуглую матовость лица, ее прическе могли бы позавидовать в любом петербургском салоне, высокий корсаж ничего не подчеркивал и не менял в ее фигуре. Полковник явно преувеличивал: она никого не лорнировала, пожалуй, даже ни на кого и не смотрела.

— Кто это? Я не знаю,— небрежно проронил Лермонтов.

Его собеседник улыбнулся хитро и значительно.

— Жена своего мужа. Гоммер де Гелль, не то путешественник, не то дипломат, француз. Во всяком случае, не похоже, чтобы она пребывала здесь с лечебными целями. Вот вам и случай проверить на деле всю привлекательность ваших страданий.

— Это утомительно, Константин Карлович, боюсь,

---

[1] Знаменитый в 30—40-х годах тифлисский оружейник.

что слишком утомительно,— нехотя вымолвил Лермонтов, но тем не менее пройти вместе с ним мимо незнакомки не отказался.

Глаза у полковника улыбались мягко и недоверчиво, и Лермонтову показалось, что он что-то от него таит. Оттого неловкое беспокойство ощутилось в сердце, слова и жесты говорили совсем не то, что он хотел сказать, выражение растерянности и смущения, словно назло, не сходило с лица. Единственным выходом могла быть откровенность, предельная, наглая, как с самим собой. Этот человек такой откровенности совершенно очевидно сторонился.

В Ставрополе, ожидая своей дальнейшей судьбы,— направляться ли в один из трех находившихся в резерве батальонов или получить назначение в действующий отряд,— Лермонтов приметил полковника в мундире того же самого Тенгинского полка, в котором теперь предстояло служить и ему, бывшему лейб-гусару. И покрой платья, и манеры, и та независимость, с которой держался этот полковник, изобличали в нем истинно светского и незаурядного человека. Лермонтов спросил:

— Кто это?

Ему ответили:

— Бывший инженер-подполковник Данзас. Сослан за участие в дуэли.

У него напряженно и трудно наморщились брови. Что-то напоминавшее самодовольное торжество перехватило дыхание.

Секундант последней, трагической дуэли Пушкина нес ту же кару, что и он, легкомысленный и дерзкий дуэлянт. Он поспешил представиться. Казалось, что тот непременно сойдется с ним, поймет его и оценит: ведь, может, и служить-то придется у него в батальоне. Оскорбительным холодом пахнуло от любезной и мягкой улыбки. Данзас не удивился и не обрадовался, даже не попробовал высказать внешне обязательного для светского человека преклонения и уважения перед его талантом. Ведь не мог же он, в самом деле, не знать, кто такой Лермонтов.

— Вы не совсем правы: не по собственной воле сюда приводят неравные заслуги. А рисоваться этим... о, это считает для себя обязательным любой армейский фендрик, изо всех сил старающийся представить себя как беспокойного для правительства человека.

Странно, всякого другого Лермонтов за эту фразу

возненавидел бы, от Данзаса он принял ее, только смущенно покраснев, как провинившийся школьник. Еще более странно, что она не положила начала неприязни, не сделала его враждебным и непримиримым. Наоборот, он всегда с почтительностью младшего выслушивал Данзаса, что бы тот ни говорил. Во всем, решительно во всем он чувствовал в нем равного, но только,— и это стало тяготить раньше, чем прошла неделя,— в Данзасе и это равенство было отмечено каким-то неоспоримым превосходством. Лермонтов почти обрадовался и сейчас этой неожиданной встрече, но вместе с тем с первых же слов, так же, как тогда в Ставрополе, чувство тягостное и напряженное охватило его.

Мадам де Гелль рассеянно, как бы невзначай, посмотрела на них. Взгляд серых глаз опять вызвал в памяти предрассветное, мягкое и задумчивое сияние. Других таких глаз он не знал, не помнил, но необъяснимое волнение, какое почувствовал при их взгляде, казалось, несомненно утверждало: «Уже однажды таким взором решилась жизнь».

Данзас, чуть сжав локоть, шепнул:

— Вы только третий день в Пятигорске, а мне уже говорили, что эта дама весьма интересуется вами. Гордитесь, ваша слава дошла и до Кавказа.

У Лермонтова чуть дернулись углы губ. Они отошли всего только несколько шагов от прекрасной незнакомки, но он чувствовал на затылке ее пристальный, неотрывающийся взгляд. Казалось, сейчас она должна смотреть с жаждой и отчаянием. Он даже и украдкой не попробовал оглянуться. Походка становилась все небрежнее и развинченнее. Из боковой аллеи, от цветника, уже успевшего зачахнуть в лучах палящего солнца, шла навстречу им какая-то пара. Неинтересный, курносый и прыщеватый юнкер с торжественно тупым видом нес кружевную мантилью голубоглазой и стройной дамы. Дама шла по крайней мере на два шага впереди его. Лермонтов оживился, подтянулся.

— Простите, полковник.

Он торопливо пожал руку Данзасу и устремился к этой паре.

«Нет, она положительно недурна. Почему я раньше никогда не замечал этого?» — подумал, гася в глазах торжествующую усмешку.

— Надежда Федоровна! Ведь так? Я не ошибаюсь? Мы уже столько лет не встречались...

Он остановился, приподнимая над головой фуражку.

Дама даже отступила на шаг назад. Юнкер, смотря с досадой и тупо, очевидно не зная, что ему делать, замер на месте.

— Чему приписать такое прояснение вашей памяти, месье Лермонтов? — с улыбкой проговорила дама.— Вчера я была лишена этой чести.

Улыбка, такая же невинная, как и ее глаза, слетела с ресниц. Она посмотрела на него ясным, по-детски открытым и доверяющим взором.

— Исключительно вашей рассеянности и невниманию к моей скромной особе. Вчера вы даже не удостоили взглядом, как я ни добивался этого.

— И вы, робкий юноша,— поспешно, с иронией подхватила она,— не решились даже поклониться, столкнувшись лицом к лицу? Ужасно это на вас похоже.

— Только похоже. Потому что вчера вы, вероятно, приняли за меня кого-то другого. Ведь здесь на Кавказе для глаз красивой женщины мы все одинаково безразличны,— не улыбнувшись и со вздохом быстро отпарировал Лермонтов.

Сероглазая незнакомка там, возле ванного домика, должна была видеть все оттенки игры на его лице. О, конечно, она разглядит, что это даже не увлеченье. «Но Самсонов...» — радостное возбуждение помешало даже про себя высказать эту мысль до конца.

Вечером в местной ресторации давали бал.

По углам и возле буфета скучали почтенные и добродетельные папаши и мамаши. Молодежь, поднимая пыль с плохо натертого и неровного паркета, кружилась в танцах. Кавалеры преимущественно были штатские. Военные допускались только в мундирах, а где взять мундир офицеру, отпущенному из экспедиции на какую-нибудь неделю?

За раскрытыми окнами чернели купы деревьев и пышные шапки кустарников. В полосе падающего света к окну тянулись головы в военных фуражках. Лишенные возможности принять участие в танцах развлекались, перебрасываясь через окно с танцующими замечаниями и шутками.

Надежда Федоровна давно уже заметила большие и выразительные глаза, жадно пожиравшие ее каждый раз, когда она проходила мимо окна. От их взгляда ей делалось беспокойно и как-то чуть-чуть по-страшному томительно.

— С кем вы танцуете мазурку? Надеюсь, со мной?

Она вздрогнула и покраснела.

Под окнами раздался смех. И раньше, чем она могла дать себе отчет, что это значит, ропот удивления в зале и шумные аплодисменты за окнами объяснили ей всю дерзость поступка.

Лермонтов уверенным, даже как будто небрежным шагом прошел через всю залу. Его армейский без эполет сюртук вызвал шумные восклицания восхищения одних и негодования других. Ни капли не смущаясь и не замечая обращенных на него взоров, он подошел к ней.

— Итак... Я ведь вас пригласил.

Ей показалось, что он своим взглядом погасил ее взгляд. Как в табачном дыму, расплывались и исчезали лица, отдельные взгляды, словно прорывая эту пелену, казалось, впивались в Надежду Федоровну.

Живая подвижная брюнетка с большими серыми глазами посмотрела на них с восхищением. Может быть, это была зависть. Вступили в круг и они и сероглазая брюнетка со своим кавалером почти одновременно.

— Demain à même heure nous serons déjà à Kislovodsk [1],— долетело до слуха Надежды Федоровны, и ей показалось, что у ее кавалера настороженно сдвинулись брови.

Он прошел с нею тур мазурки, довел ее до места и, чуть коснувшись губами кончиков пальцев, так же невозмутимо, как появился, промаршировал к выходу.

Гром аплодисментов и за окном и в зале приветствовал его поступок.

— Oh, c'est plus que brave, c'est risqué [2],— восторженно проговорила рядом мадам де Гелль, и Надежде Федоровне она показалась от этих слов неумной и старой.

— Проводите меня, я хочу домой,— бросила она молчавшему с безнадежным и терпеливым видом юнкеру.

Синяя густая тьма сперва расступилась, потом сжалась, утопила ее в себе. Этого пожатья, этого мгновенного и легкого поцелуя руки она ждала. Она чуть сдавила его руку, удержала ее в своей, и тогда та, мужская, уверенно и крепко, так, что хрустнули кости, стиснула ее руку.

Горячее дыхание коснулось щеки. У нее закружилась голова.

---

[1] Завтра в это время мы будем уже в Кисловодске (*фр.*).

[2] О, это более чем смело,— это рискованно (*фр.*).

Свет, вырвавшийся из раскрытой в этот момент двери, открыл Лермонтову удивленное и наивно растерянное личико. В глазах были слезы.

«Кто научил ее так целоваться?» — мелькнуло в голове.

— Завтра — не правда ли? — я увижу вас днем у источника? — услышал он взволнованный и задыхающийся шепот.

Голос свял сразу. Ответил он устало и с досадой:

— Завтра я с утра уезжаю в Кисловодск.

III

На решетках перед окном завивался плющ, сквозь него цедилось густое вечернее солнце. Тень от пирамидального тополя, как часовая стрелка, переместилась на целую четверть круга. В комнате потемнело, из золотых сделались бронзовыми солнечные пятна на стене. В наступившей внезапно тишине было слышно, как жужжат мухи. Казалось, чтобы заполнить это молчание, нужно такое количество слов, какого никогда не собирается в памяти.

Мадам де Гелль смотрела вопросительно и ожидающе. На ее кружевах,— она так и осталась с утра неодетой,— желтыми полосами отметился закат. От этих ли полос, от вечернего ли густого света переменилось ее лицо, стало новым и неприятно чужим. Он стоял у двери. Пульс дробными неровными ударами рассчитывал минуты. Один, два, три,— бесконечное количество ударов нужно, чтобы одолеть только одну минуту. Минуты, как подавленный в груди вздох, не проходили.

Лермонтов медленно снял руку с ручки двери, нерешительно шагнул в ее сторону. Как будто она даже не старалась разглядеть его лицо, проговорила с жестокой и трудной улыбкой:

— Почему? Снова и снова «почему»!! Неужели вы не понимаете, что спрашивать это...— она остановилась, подыскивая слова,— даже и не бестактно...

Он поднял голову. Грустные глаза глядели виновато.

— Глупо?

— Да, если вы сами сказали это, то глупо. Счастье, что вы можете хоть сознавать, когда поступаете глупо.

Он перебил ее с настойчивостью капризного ребенка:

— Жанна, я не умею и не умел говорить просто, я не знаю, как говорят на языке сердца. Никого еще, а тем более женщину, я не уважал и не ценил так, как вас, да и вообще я еще никого и никогда не уважал на свете. Мне трудно, очень трудно, но я не могу не сказать вам этого: я не могу уйти так. Жанна, мне тяжко, так мучительно тяжко, как никогда не бывало в жизни...

— Я это уже слышала.

Только мгновение он смотрел растерянно и безнадежно. По лицу пробежала короткая судорога. Вздох протащил за собой слова:

— Одно это стоит другого прощания.

— Сумейте оценить и такое. Немногие женщины вам скажут, что они слишком плохи для того, чтобы любить вас. И потом, потом...

Он с трепетом ждал этого волнения. Жанна перевела дыхание, закончила холодно и резко:

— Я вам уже сказала — я ошиблась. Понимаете, ошиблась. Напоминание о моей ошибке сейчас мне тяжело. Поэтому я не хочу вас больше видеть здесь. Может, потом, потом это и сгладится,— вы знаете, как я высоко ценю ваш ум, ваше дарованье... Если бы вы могли приехать, ну хотя бы даже в Крым,— кто знает, среди других людей, в обстановке, не напоминающей каждой мелочью этого месяца, я, может быть, и смогла бы разговаривать с вами не так. Но сейчас...

Она смолкла, почти ласково заглянула в глаза.

— Не печальтесь... Ну, не надо печалиться, маленький... Ну, о чем? У вас была хорошая любовница — это одно уже не так плохо. Нужно приучаться благодарить судьбу за те маленькие радости, которые она посылает, и не проклинать ее, когда она их отняла. А потом...

Она рассмеялась совсем просто и весело. Лермонтов насторожился и вздрогнул.

— Что потом?

— Вам же будет вовсе не скучно. У вас ведь есть эта... ну, как ее... петербургская франтиха.

— Самсонова,— подсказал Лермонтов.

— Да, да, мадам Самсонова. Согласитесь, что она очень мила.

Он перебил ее нетерпеливо и с досадой:

— Мне и счастье-то представляется только в памяти о детстве. Увы, оно неповторимо. Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет от роду? К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет де-

вяти. Я не помню, хороша собой была она или нет, но ее образ и сейчас еще хранится в моей памяти. Один раз, помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла в куклы; мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем не имел понятия,— тем не менее это была страсть сильная, хоть ребяческая, это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так. Тогда же я стал мечтать о дружбе. Она представлялась мне такой бесконечно могущественной, что никакие силы мира не смогли бы ее уничтожить. Друзей у меня никогда не было! И вот сейчас...

Он задыхался, растерянно и словно с испугом оглянулся кругом...

— ...сейчас мне сказали, что их у меня и не может быть.

И вдруг заторопился. Порывисто вскочил с кушетки, ткнулся губами в ее руку и поспешно, не оглядываясь, выбежал из комнаты.

Солнце почти уже скрылось за грядой низких на западе гор. На востоке снежные горы светились бледно-розовым отблеском. Как едва только занявшаяся заря, горели вершины. Ниже от них исходил серый холодный блеск, он таял и сливался с сумерками, уже кутавшими горные подножья. Оттуда же, с гор, пришла прохлада. Но Лермонтов ее не чувствовал, не ощущал. Он снял фуражку. Лицо горело. Словно первый раз был он здесь,— остановился, не зная, куда идти дальше. В душе, как изжога, поднималась мучительная, изводящая пустота.

«Надо ехать в отряд. Надо ехать»,— мысленно повторил он несколько раз подряд.

— А если б она видела меня сейчас? — сказал вслух и улыбнулся.

Она видела.

Едва закрылась за ним дверь, она другим, словно ожидавшим движением вскочила с кушетки, подбежала к окну. Словно боялась упасть, оперлась плечом о косяк и отошла только тогда, когда сутулая, в длинном темно-зеленом сюртуке фигура скрылась совсем из глаз.

На столе лежал кожаный дорожный бювар. Она раскрыла его, взяла листок начатого письма. Вверху справа аккуратным почерком было написано: Kislovodsk.

Глаза бежали по строчкам, читали слова, но фразы не удерживались памятью, рассыпались, будто они были сделаны из песка. Мадам де Гелль ладонями сжала виски, присела к столу, с минуту боролась с собой, заставляя

себя вникнуть в прочитанное. Потом вздохнула грустно и тяжело и аккуратно, в строчку от того места, где обрывалось начатое, стала писать:

...Приехав в Кисловодск, я должна была переодеться,— так мой туалет измялся дорогой. Мы едем на бал, который дает общество в честь моего приезда. Мы очень весело провели время. Лермонтов был блистателен. Реброва очень оживлена. Петербургская франтиха старалась афишировать Лермонтова, но это ей не удавалось.

Сейчас мы пошли домой. Лермонтов заявил Ребровой, что он ее не любит и никогда не любил. Я ее бедную уложила спать, и она вскоре заснула. Было около двух часов ночи. Я только что вошла в мою спальню. Вдруг тук-тук в окно, и я вижу моего Лермонтова, который у меня просит позволения скрыться от преследующих его неприятелей. Я, разумеется, открыла дверь и впустила моего героя. Он у меня всю ночь оставался до утра.

Я принимаю только одного Лермонтова. Сплетням не было конца. Он оставил в ту же ночь свою фуражку с красным околышком у петербургской дамы. Все говорят, вместе с тем, что он имел в ту же ночь rendez-vous с Ребровой. Петербургская франтиха проезжала верхом мимо моих окон в фуражке Лермонтова, и Лермонтов ей сопутствовал. Меня это совершенно взорвало, и я его больше не принимала под предлогом моих забот о несчастной девушке. На пятый день мой муж приехал из Пятигорска, и я с ним поеду в Одессу совершенно больная.

Из Одессы я еду в Крым, куда меня зовут Нарышкины. Пиши в Ялту, poste restante [1].

Я правды так и не добилась. Лермонтов всегда и со всеми лжет. Такова его система. Все знакомые, говоря с его слов, рассказывали все разное. Обо мне он ни полслова не говорил. Я была тронута и ему написала очень любезное письмо, чтобы поблагодарить его за стихотворение, которое для русского совсем недурно. Я обещала доставить ему в Ялту мои стихи, которые у меня бродят в голове, с условием, однако, что он за ними приедет в Ялту.

---

[1] До востребования (*фр.*).

IV

Казак в замасленном рваном бешмете, тащивший на плече пустой бочонок, посмотрел на Лермонтова с удивлением. Пройдя два шага, он остановился, обернулся назад.

— Ай потеряя что, ваше благородие?

Этот вопрос, обращенный к нему совершенно серьезно и даже как бы с участием, вывел его из оцепенения. Лермонтов расхохотался.

— Да, да, братец, потерял. Вот только искать в Пятигорск надо ехать.

Казак поправил на плече ношу, подумал и, резко тряхнув головой, сказал:

— Ну, так оно и выходит. Не иначе как ко мне идти бы пришлось. Теперь, окромя меня, во всей станице ни у кого коня не достанешь. До утра, чай, на станции ждать-то не будете?

— Не буду.

— Ну так пойдемте, что ли? До Ессентуков я могу дать коня. Отчего не дать, когда человеку ехать требуется, дать можно.

Казак, видимо, был пьян. Он шел и все время повторял одно и то же: «Отчего не дать, когда человеку нужно», хвалился, что у него одного только и есть подходящий для этой цели конь.

— Да как же, ты сам посуди, ваше благородие, станица кругом гнилая — одна беднота. Гора да гора — ну что тут будешь делать. И опять еретиками уже который год записаны. Выселяйтесь, мол,— это начальство-то,— в старой вере,— говорит,— тогда останетесь, а коли нет — всех в православие, и моленной крышка. Ну и переселились. А начальство опять свое: переходи да переходи. Ну, тут и переселяться дальше некуда. Все как есть теперь православные. А коня я дам, ты, ваше благородие, не беспокойся, отчего не дать...

Лермонтова он начинал уже раздражать, он оборвал его резко:

— Ну, довольно болтать! Далеко ли еще идти-то?

Казак сразу насупился.

— Идти недалеко. А вот много ли дашь за коня-то, если до Ессентуков ехать?

И он остановился, вызывающе тараща глаза.

Пришлось торговаться упорно и долго. Цену он заломил совершенно невозможную. Поладили только после

долгой ожесточенной ругани и криков. В хате, как только пришли, засуетилась конфузливо отводившая глаза хозяйка, стала накрывать на стол; казак все приставал, чтобы Лермонтов попробовал его чихирю.

— Ну, а конь-то? Скоро, что ли, будет?

Казак осклабился.

— Эн-а! Конь-то в горах, чай, сейчас только малый пошел за ним. Ты чихирю пока выкушай, ваше благородие. Такой чихирь — лучше кахетинского будет.

Мутный, теплый чихирь, казалось, только со спазмою мог пройти через горло. Казалось еще, что и тошнота наступит раньше, чем опьянение.

«Не то, не то»,— тоскливо и надоедливо моталось в голове.

Словно пересиливая себя, Лермонтов морщился, прихлебывая из стакана. Любимый, оправленный в камышинку карандаш нервно подрагивал и вертелся в пальцах.

«Что я делаю? Хозяйскую скатерть мажу»,— с улыбкой поймал он себя и спрятал в карман карандаш.

На скатерти с наброском женской головки красовались вырисованные французские J, Н, J, Н.

Он увидел их не сразу, а увидев, удивился, как будто это кто-то другой пытался ими разгадать его мысли. Послюнявил палец, ладонью крепко потер испачканное место на скатерти. Буквы не стирались.

«Только узнать бы, почему? А это что: пройдет и забудется»,— подумал с тоской и раздражением.

И сейчас же поймал себя, что важно вовсе не узнать, мучается не от этого. К чему пытаться и что узнавать-то, если потерял, и потерял безвозвратно. Унылая, мертвящая злоба на себя, на весь мир, на судьбу — даже в пальцах проступило холодом.

«А только еще три дня назад, задыхаясь, она шептала, что никогда меня не оставит».

Стиснул руки так, что хрустнули пальцы. Как ужаленный, вскочил с лавки, подергиваясь и ежась прошелся по горнице.

— Ну, что же твой малый?

— Пришел, сейчас седлать будем.

Лермонтов круто повернулся и снова опустился на лавку.

Мир, как эта низкая хата, два шага — и уже ты уперся лбом в стенку. И так же, как это маленькое грязное оконце, скупо цедится меркнущий вечерний свет.

Когда выезжал, последние косые лучи солнца, вырвав-

шись из-за гор, желтыми холодными полосами испестрили дорожную пыль. Отстоявшийся за день зной сгустился и отсырел: туман хранил еще в себе остатки дневной позолоты. Внизу — дорога поднималась в гору — белые хатки и домики в Кисловодске чуть розовели закатным румянцем. В проулках накапливались тени, и вся станица в розовом неверном сиянии, в сумерках, сползавших с гор, в потемневшей и слипшейся в одну косматую шапку зелени, потеряла свой обычный знакомый вид. Лермонтов со вздохом приподнялся на стременах, долго не мог оторваться взглядом от этой картины, потом со вздохом еще более глубоким отвернулся, подался на шею коня. Некованые копыта, как в ладоши, захлопали часто и глухо по мягкой пыли.

Когда добрался до Ессентуков, окончательно стемнело. Он с трудом разыскал описанную казаком хату, где должен был оставить коня, с трудом, опять после долгих уговоров и торга, уломал дать свежего. Перед самым Пятигорском из-за горы навстречу поднялась набухшая и бледная, словно вымоченная в вине, выщербленная с одной стороны луна. Внизу в долине переливающимся серебристым сиянием зажглись прятавшиеся в зелени черепичные крыши. В редких окнах желтым маслянистым пятном теплился поздний свет. Расплывчатые силуэты домов и деревьев, как тени, перерастали себя. Теперь они были уже не внизу, а поднимались кверху, увеличивались в размерах.

Караульный казак окликнул его с вышки. Он не ответил, припал к луке, каблуками ударил коня. Испуганный выстрел всполошенным эхом прометался в горах. На замощенной дороге четче застучали копыта. Собачий лай одиноко оборвался где-то вблизи, через секунду перенесся дальше, потом его подхватили сразу в нескольких местах. Остервенелым собачьим лаем встречал его город, когда скакал он по безлюдным, залитым лунной мутью улицам. У домика, где одно окно внутри мазалось желтым оплывающим светом, сдержал коня. Долгую нерешительную минуту гнулся в седле. Собранный конь храпел и с осыпающимся стуком перебирал ногами. С коня была видна неприхотливая внутренность комнаты. На голой беленой стене медленно шевелилась тень склоненного над столом человека, трубочный дым тонкими рядинными облаками пробегал по ней.

Лермонтов наклонился с седла, постучал в окно. Тень на стене двинулась, головой переползла на потолок. Че-

ловек в расстегнутой сорочке, не выпуская из рук трубки, подошел к окну.

— Константин Карлович, вы не спите? Один? Можно к вам поболтать на полчасика?

Данзас ответил приветливым и широким жестом, закивал головой.

Лермонтов соскочил с коня, привязал его у ворот. Громыхнула щеколда калитки, он, сутулясь, прошел во двор.

«Почему к нему? Что мне Данзас? Да и кому, кому на свете смогу излить душу? Даже ей, даже ей и то не смог, не сумел».

Из открытой двери желтой полосой падал на крыльцо свет. Данзас с свечой в руке посторонился, пропуская вперед позднего гостя.

— Входите, входите, Лермонтов. Очень рад, что забрели. Да слушайте, откуда вы? Весь в пыли, и лица на вас нет.

— Из Кисловодской,— уронил, срывая дыхание.

У Данзаса лицо сразу изменило выражение. Он пытливо взглянул на Лермонтова и, тотчас же отводя глаза, деловито и кратко сказал:

— Пожалуйте.

Комната осветилась той же свечой, которую держал в руках хозяин. Дымилась прислоненная к столу трубка. Рядом с шахматной доской лежали лист бумаги и карандаш. Фигуры расположились так, что было видно — партия разыграна только наполовину.

— Вот видите,— улыбнулся Данзас,— сам с собой в шахматы играю.

Он придвинул к столу второй стул. Не садясь, спросил:

— Что вам дать? Вина? Может, хотите чаю? Я прикажу вскипятить.

— Ни того и ни другого, Константин Карлович. Подарите меня только вашим вниманием и...

— Чем еще?

— Вашим мудрым советом.

— Как? Советом? Вы пришли ко мне за советом? Я вас не узнаю, Лермонтов.

Лермонтов взглядом, усталым и грустным, словно приковался к его лицу.

— Мне хотелось попросить вашего совета в одном важном, жизненно важном для меня деле,— начал он тихо и смолк.

Дорогой, когда он скакал из Кисловодска, мысли, казалось, обгоняли время и бег коня. Это было даже не желанье — потребность получить немедленно, сейчас же ответ, ключ к этой неразъяснимой задаче. Оно придавало силы, оно заставляло мчаться, забывая усталость и позднее время. Человек, достойный его доверия, расскажет ему все, чего не в состоянии понять сейчас его взбаламученный самолюбивыми подозрениями ум. Кто же здесь, кроме Данзаса, был достоин его доверия? И вот сейчас, когда этот Данзас с выжидающей улыбкой смотрел на него, язык словно отказывался поворачиваться во рту. Только сейчас почувствовал, как разбито сумасшедшей беспрерывной скачкой тело. Трудно было пошевелить рукой. Он улыбнулся страдальчески.

— Трудно начать, Константин Карлович. Я ведь как вскочил в седло в Кисловодске, так и не слез вплоть до вашего самого дома, замучился... А поговорить необходимо. Нет, знаете, когда теряешь правильный глазомер вещей, трудно решить самому, что ведет тебя к гибели.

В глазах Данзаса прочел разочарование и скуку. Стало досадно на самого себя, что приехал. Данзас казался противным. Больше всего хотелость чем-либо обидеть, раздразнить его. С трудом подавляя это желание, мягким разбитым голосом проговорил:

— Константин Карлович, мне сказали, будто бы из Петербурга есть строгое распоряжение, чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять меня от фронтовой службы в полку. Что ж, значит, и в отряд меня больше не пустят? Не дают даже участием в делах заслужить себе отставку? Что же мне делать теперь, Константин Карлович, скажите?

Под его вопрошающим и прилежным взглядом Данзас улыбнулся.

— Я думаю, у вас много чего найдется, что стоит и что нужно сделать. Но скажите, неужели вы только ради этого, чтобы спросить у меня, что вам делать, скакали, не глядя на ночь, из Кисловодска?

Одну минуту Лермонтов смотрел на него как бы недоумевая, потом откинулся на стуле, залился веселым безудержным смехом.

— Вы же сами видите, что нет,— заговорил он, перестав смеяться.— Но это действительно должно выглядеть чертовски глупо, если даже к простой дружеской доверенности должно быть такое идиотское вступление. Но только, Константин Карлович, и это правда. Невоз-

можность получить сейчас отставку мучит меня тоже. Мне жить нечем, духовно жить решительно нечем.

— Нечем? А поэзия? Ваш талант?

Лермонтов горько ухмыльнулся.

— Литература! — презрительно проговорил он.— Наша литература так бедна, что я ничего не могу от нее заимствовать. В двадцать шесть лет ум не так быстро и легко принимает впечатления, как в детстве, а они мне нужны, необходимы. Где мое литературное бытие? В казармах, в предосудительных проделках переросших себя мальчишек. Я трачу фантазию, чтобы позлить какого-нибудь старикашку коменданта, чтобы позабавить двух-трех изнывающих от скуки приятелей. А если бы мое бытие даже и было там, в так называемых литературных кругах, среди избранных знаменитых литераторов,— вы думаете, это спасло бы меня?

Опять он усмехнулся безнадежно и горько.

— Может быть, было бы только противнее жить, вот и все. Вон Гоголь, великий Гоголь, как его теперь уже пробуют называть друзья, нашел, что в «Мцырях» недостаточная игра воображения. Он, видите ли, читал мою «Сказку для детей» и ждал от меня большего. Эта старая... Жуковский так исправил мою «Казначейшу», что мне хотелось изорвать книжку, где она была напечатана. Белинский наставлял меня, как нужно понимать Купера, и похваливал мои собственные писания. Представьте теперь, Константин Карлович, что было бы, если бы я целиком отдался им в опеку. «Героя нашего времени» никто не хотел читать, пока бабушка не догадалась послать Булгарину книжку, вложив в нее пять сотенных ассигнаций. Если бы она разослала таких книжек побольше, меня уморили бы похвалами. Вот, дорогой полковник, какова наша литература, вот как делают в ней теперь славу.

— Вы увлекаетесь: Булгарин еще не вся литература,— осторожно вставил Данзас.

— Но без Булгарина она не может существовать. Это еще того гаже. Я не могу, не хочу, Константин Карлович, быть русским литератором — это унизительно.

— Тогда не пишите ни стихов, ни прозы, замкните поэтические уста и дразните сколько вашей душе угодно стариков комендантов, забавляйте приятелей...

— О, не смейтесь, Константин Карлович! — взволнованно перебил его Лермонтов.— Может, это даже не стоит вашей иронии,— так жалко и презренно мое само-

любие, ничтожна гордость. Но что тут делать? Видно, такой уж уродился. А если бы не это самолюбие, если бы не оно,— как бы замечательно, как бы по-невозможному хорошо было мне теперь! Увы, до самого последнего времени я даже не знал этого.

— Вам сказали об этом? — серьезно и тихо спросил Данзас.

— Да, сказали... Но это неважно. Я отравлен, погублен этой проклятой моей гордыней. Да вот вам пример — слушайте, чего еще больше...

Он вдруг остановился, посмотрел на Данзаса испытующе и недоверчиво. Возбуждение как будто улеглось, дальше он говорил ровно и спокойно.

— Это случилось в Тифлисе, когда я еще служил в нижегородских драгунах, в первую мою ссылку. Я стоял возле бань с двумя моими приятелями татарами. Вдруг проходит грузинка. Я не вижу ее лица, но по движениям, походке догадываюсь, что она должна быть прекрасна. Мне показалось, что она сделала мне знак рукой. Мы все трое идем за нею, но в баню не входим, потому что была суббота. Выходя, она опять мне делает знак, я следую за нею, но теперь уже один. И вот без вопросов, без просьб, без одного с моей стороны слова она мне просто говорит «да». Я приближаюсь к ней совсем, беру ее за руку, тогда она говорит мне, чтобы я поклялся сделать все, что она велит. Я обещался. Она приводит меня домой, показывает завернутый в какую-то ткань труп. «Надо его вынести, бросить в Куру». Я решился, но на мосту мне делается дурно. Меня нашли и отнесли на гауптвахту. На всякий случай я все-таки догадался снять с мертвого кинжал как доказательство. Мои татары дознались у Геурга, что он делал этот кинжал одному русскому офицеру. Мы разыскали денщика этого офицера, и он рассказал, что его барин долго ходил по соседству к одной старухе, жившей с дочерью, но дочь вышла замуж, а через неделю этот офицер пропал. Это утвердило меня в моем решении. Я не требовал выполнения условия, это меня оскорбляло, я просто пришел к ней. О, Константин Карлович, уверяю вас, я в жизни не знал другой такой женщины. В ней кипел,— для всех или для меня только? — целый океан страсти. Тогда я решил — для всех. Дальше вы понимаете: прямо от нее я пошел к коменданту, привел с собою моих татар, представил кинжал, снятый с убитого. Вот она, моя проклятая гордыня. Ведь это могло быть и иначе?

— Вы это считаете гордостью? — презрительно проронил Данзас.

Лермонтов оживился. Глаза заблистали беспокойным, трепетным блеском.

— Вас это не убеждает? Вот вам другой, но такой же, совершенно такой же пример. Помните, месяц тому назад мы с вами встретили здесь у источника даму. Я подошел к ней, помните? Это жена Бенкендорфова адъютанта, так, приятная женщина, разумеется, не слишком строга. С ней мой роман был в Кисловодске... Исключительно лишь с целью подразнить, запутать в моей интриге еще одну даму, в которую я чуть-чуть был влюблен. Ну, вот, я повторяю — это очень приятная и даже милая женщина, но я вспомнил, что слышал о ней когда-то в Петербурге. Вы понимаете: любовник у нее царь, муж — жандарм, меня гноят на Кавказе,— словом, судьба давала мне в руки хоть маленький случай отомстить. Но нет, это не было местью. Мне не равняться с царем, но разделался я с ней по-царски. В нее был влюблен один плюгавый юнкеришка. Я наговорил ему кучу всякого романтического вздора, он поверил. Словом — роста он был такого же, как и я, шторы у меня в комнате были опущены, как нужно вести себя, я его научил. Кажется, он остался доволен.

Лермонтов смолк, пытливым взором уставился на Данзаса. У того на лице не дрогнул ни один мускул, прямо смотря в глаза, раздельно и твердо он сказал:

— Если бы все это было правдой, вы знаете, я бы не терпел вас у себя в доме. Но ведь это все ложь. Вы лжете на себя. Зачем?

С минуту он смотрел на него с мягким и снисходительным укором. Потом сказал:

— Эх, Лермонтов, что сейчас-то свихнуло вас? Кто обидел?

— Не обидели, Константин Карлович, именно не обидели. Ах, если бы обидели, я знал бы что делать! Но нет, я не слышал даже ни одного слова, которое могло бы задеть, оскорбить мое самолюбие. «У меня было два великих любовника (так и сказала: великих), и этим последним я буду больше гордиться, чем гордилась до сих пор де Мюссе». Это она сказала при расставании, Константин Карлович.

— Кто она-то? Гоммер де Гелль?

— Да,— глухо ответил Лермонтов.

— И вы безумствуете из-за того, что она уехала или

уезжает? Что, вы не знали до нее женщин? Что, это последняя благосклонность, которою вас подарили? У вас их будет еще много, больше, чем нужно. Чем только прельстила вас эта вертлявая, чтобы не сказать больше, француженка?

— Это — единственная женщина, которой я мог бы быть предан,— по-настоящему предан,— раздельно и тихо выговорил Лермонтов.

— И что же? Вы сосланы? Вас не отпускают с Кавказа? Вы под опекой Третьего отделения? Действительно, какая жестокость судьбы! Бедный, несчастный влюбленный!

Данзас даже рассмеялся.

— Именно, что не влюбленный. Что Кавказ, что все жандармы в мире! — Лермонтов с досадой махнул рукой.— Я не мог, не сумел полюбить. А без моей любви,— даже лучший, чем Мюссе,— я не нужен ей. Ах, Константин Карлович, если бы вы знали, какая это женщина! Ну, вот, это я говорю серьезно: я никогда не думал, что могут на свете быть женщины, которые и умнее и тоньше меня.

Было в его взгляде, в лице что-то такое, что у Данзаса даже нервный живчик сбежал от угла глаз по щеке.

— Это опасно, Михаил Юрьевич,— тихо проговорил он.— Я достаточно хорошо отношусь к вам, чтобы не встревожиться. Поезжайте-ка, милый, обратно в отряд, поезжайте скорее, пока еще в этом вам не препятствуют. Я боюсь, что здесь с вами может быть хуже.

Лермонтов, казалось, не слушал. Голова бессильно свисала на грудь, пальцы рассеянно теребили выпушку на панталонах.

— Скажите, Константин Карлович,— вдруг оторвался он от своей задумчивости,— что это значит, что это должно значить, когда женщина, душевно многоопытная, достаточно изведавшая любви и не утомившаяся ею, с тоскою и ненавистью отмахивается от своего прошлого?

— Что это значит? — повторил Данзас, удивляясь его ясному и грустному взору.— Думаю, что это бывает только тогда, когда любовь не только наслаждение, но и обязанность, служба.

— Обязанность? Но ведь у ней есть муж, она никогда не нуждалась! Она дама общества! Не профессионалка же в самом деле, не актриса!

Данзас усмехнулся.

— Вы думаете, только ради хлеба насущного? Женщины могут служить своим полом многому. Кто знает, кому и в каких целях служила им ваша подруга.

— Многому,— тихо, как бы с самим собою, заговорил Лермонтов.— Многому. Кажется, вы мне даете идею.

— Ну вот и слава богу, значит, не зря из Кисловодска скакали. Но чего опять-то задумались? Э, бросьте, все равно это прошло и нужно забыть!

Данзас встал из-за стола, прошел к буфету, достал бутылку.

— Итак, значит, немедля в отряд? — спросил, разливая вино по рюмкам.

— Да, да, в отряд,— рассеянно, думая, очевидно, о другом, ответил Лермонтов и с грустною улыбкой потянулся чокнуться с Данзасом.

V

Крутые облака плыли по запыленной синеве. Оранжевым зноем выгорали пески, и лес, серый и увядший, был полон сухого шуршанья, словно в нем перебирали бумагу.

Все эти дни дул упрямый западный ветер. Он был настолько стремителен,— сила его не ослабевала ни на минуту,— что никакого занесенного им запаха не улавливало обоняние. Нес он с собою только мельчайший, как пыль, песок. Песок набивался в рот, в ноздри, в уши, слепил глаза, верблюды и лошади опускали головы к коленям, и глаза у них постоянно гноились.

На море, за много верст отсюда, за преградой поросших колючим кустарником гор, этот ветер развел большую волну. Счастлив тот, кто, выплывая, сумеет удержаться на гребне последнего, девятого, вала,— первый же следующий, первая в новой наступающей колонне фаланга будет его относить и относить дальше и дальше от берега.

В лагере вечернего деловитого шума не нарушил и ветер. Сквозь нестройный гул голосов прорывалось нетерпеливое конское ржание, у воды громыхали, звенели ведра и котелки, где-то певуче и часто стучал топор.

В палатке тесно метались тени. Пламя воткнутой в бутылку свечки трепыхалось, как бабочка с оборванными крыльями, полы палатки, как паруса, надувал

ветер, а у самого входа кого-то, не спеша и без злобы, материли за плохо спакованный вьюк.

— Так. Весело.

Лермонтов отбросил перо, встал с ящика, на котором сидел, зевая, потянулся.

С земли, из палаточной тени откликнулся насмешливый голос:

— Составил наконец? Это, брат, не того, не поэма: попотеешь.

Ветер хлопнул полотнищем у входа. Кто-то ткнулся в палатку и быстро отошел. Снаружи все еще ругались. И, подхватывая брань, словно заражаясь ею, Лермонтов многословно и сложно обругал и насмешливый голос, и рапорт, который нужно составить «хитро и тонко», и ветер, который доводит до исступления, и бабушку, целый месяц уже не высылающую ему ни копейки, и, наконец, начальство, трусящее отпустить его без разрешения свыше в Петербург и едва-едва согласившееся дать двухнедельный негласный отпуск, и вообще все на свете.

— А не дадут — и черт с ними! Без денег, думаешь, не поеду? Как же! Вон смотри.

Он поднял руку. Ее черная и неуклюжая тень проползла по полотну, перекинулась из стороны в сторону над головою, словно благословляя.

— Ты смотри только! — весело закричал он.— Прямо на рапорт. Это что-нибудь да значит. Ах, паучишка миленький, знаешь, когда нужно спуститься, знаешь, когда мне нужна удача!

Он осторожно подставил ладонь спускавшемуся на длинной нити паучку, и тот, замерев на секунду, вдруг стремительно опустился на нее.

— Matin à chagrin, midi aux amis, soir aux bons espoirs [1],— раздумчиво проговорил Лермонтов, с улыбкой разглядывая паучка.

В то же мгновение порыв ворвавшегося в палатку ветра загасил свечу, со всех сторон разом ринулась темнота. Лежавший на земле человек разразился ожесточенной бранью. Лермонтов неистово кричал:

— Иван! Свечей! Свету!

И вдруг почти с такой же мгновенностью, с какой наполнила палатку темнота, непонятно и бесследно стих

---

[1] Утром — к горю, в полдень — к друзьям, вечером — к надеждам (*фр.*).

ветер. Это было так странно, так неожиданно, словно его на лету наповал сразили метким выстрелом. Разом иными голосами заговорил лагерь. Можно было слышать, как в соседней палатке, старчески смакуя, рассказывали:

— ...Однажды ему доложили, что приказание противно закону, а он и говорит: «Если бы здесь нужно было только исполнять законы, государь бы послал сюда не меня, а полный свод законов». Так-то, батенька, вот какая это сторона, а вы говорите... А кому ж это понимать, как не ему? Ему однажды керченский городской голова,— из армян он был, голова-то,— так и отмочил в приветствии: «У вас,— говорит,— ваше превосходительство, душа аглицкая». Это он вместо ангельской-то. Здорово?

Там захохотали, задыхаясь не то кашлем, не то смехом.

— И тоже не глупо,— проворчал Лермонтов.— Стреляют горцы по нас порохом английским, снаряды к пушкам у них английские, за голову какого-то Белля обещают на линии русские деньги, а душа у кого-то оказывается тоже английской. Однако...

Он остановился, грозя кому-то в темноту пальцем, помолчал и продолжал:

— Однако ты, мальчик, в политике разбираться не вздумай. Нельзя, нельзя. О чем можно здесь думать, когда вон и ветер стих только первый раз за неделю.

Принесший свечи денщик не уходил, с терпеливой миной выслушал до конца все рассуждения своего барина, и только когда тот кончил, совершенно необъяснимо почему угадывая его намерения, набросил ему на плечи бурку. Лермонтов кивнул головой, и денщик подал лежавший на ящике написанный рапорт. Барин его откинул полу палатки и вышел.

— А почему ж сегодня нужна тебе такая удача, так и не сказал,— напутствовали его из палатки насмешливым голосом.

— Сказать вам — спать не будете,— небрежно ответил Лермонтов, скрываясь в темноте.

На небе просеялись редкие мутные звезды. Костры выжигали во тьме раскаленные дыры. Лица окружавших их людей отливали медным и неестественным загаром. В тишине безветренной ночи голоса казались непонятными и таинственными.

В трех шагах от палатки, поставленной отдельно от других и ярко освещенной внутри, Лермонтов вдруг остановился, замер как бы в испуге. Воспоминание, одновре-

менно и радующее и невыносимо тоскливое, внезапно перехватило дыхание.

Пять дней назад на фуражировке за Шали он со своею командою охотников, набранной от всей кавалерии, натолкнулся на конную неприятельскую партию. На горизонте сизым дымком поднимались к небу горы, перед глазами, пересеченная в двух местах лесистыми оврагами, простиралась песчаная плоская равнина. Сухую, спаленную солнцем траву, как старческие, разметанные седины, трепал ветер. Оттуда, от задымленного горами горизонта, как стая воронья, готовая приземлиться, летели на них десятка два всадников. Оранжевые пески жгли глаза. Он разглядел даже обмотанные белым папахи у некоторых: хаджи. Всадники росли, увеличивались в размерах. У крайнего с правого фланга споткнулась лошадь, и он вместе с нею отлетел далеко в сторону. Одновременно Лермонтов услышал певучий множащийся звук шашки, оставляющей ножны. Команду «к бою», кажется, подал он раньше. Корпус его сам, без его воли, переместился в седле. Конь словно хотел вырваться из-под него. В ушах свистел ветер,— или это шашка рассекала воздух? Черная птичья стая превратилась в одного рыжебородого, громадного роста чеченца, скакавшего прямо на него. Свою улыбку он ощущал пальцами, кожей на лице, на плечах, коленях, ощущал ее всем телом. Рука как бы выронила шашку. Еще мгновение, и он осадил бы коня. Улыбка вот-вот уже не сможет сдерживать дальше дикого хохота.

— Ну, Данзас, смотри,— лучше ль мне было ехать в отряд!

Рука так же, как роняла, без мысли, без всякого участия воли, высоко занесла над головой шашку. Оранжевые пески сверкались и зыбились в глазах. Шашка, как глину, прошла что-то плотное и вязкое, только на миг отдавшись в руке коротким сопротивлением: в глине, очевидно, были камни.

Дальше все было весело и просто, совсем просто. По равнине, обрамленной седою травой, в беспорядке скакали одинокие, догоняющие друг друга всадники. Неизменные синели на горизонте горы, и от одиночных выстрелов словно лопался зной.

Эта фуражировка была внесена в наградной список поручику Лермонтову. А через два дня он первый со своею командой прошел Шалинский лес, блестяще атаковав превосходные силы неприятеля, и это тоже было зане-

сено в наградной список, но только воспоминанье об обрамленной травою равнине, о шашке, падавшей и поднимавшейся в руке без его воли, наполняло сердце такой мучительной радостью и болью.

И сейчас, по сходству ощущений, он должен был вспомнить тот незабвенный день и оттого замер как бы в недоумении и испуге. Ему показалось, что он даже рассмеялся вслух. Решительно шагнул вперед и вошел в палатку, где помещался штаб начальника отряда.

Эту ночь Лермонтов спал спокойным и крепким, без сновидений, сном.

Утро наступило, застланное ленивыми и рыхлыми облаками. Моросил дождь. Писарь из штаба принес его вчерашний рапорт.

— Молодчина. Все-таки, как обещал, вчера доложить ухитрился.

Он протирал глаза и улыбался.

— Так-так, вот и с паучишкой не выгорело, вот и... Ах, не все ли равно: еду, еду! — выкликнул он с упрямством отчаянья.

На рапорте в углу имелась карандашная помета:

> Его превосходительство приказал в просьбе отказать, а ходатайствовать перед начальником штаба командующего войсками Кавказской линии и Черноморья о выдаче вам ста рублей заимообразно из сумм, находящихся в распоряжении его превосходительства.

С минуту Лермонтов пристальным, испытующим взглядом смотрел в глаза своему денщику.

— Денег, брат, у меня пятнадцать рублей ассигнациями, а ехать, брат, так далеко, что и двухсот не хватит. И все равно поеду. Спасибо, хоть в документах не написали, куда отпущен. Собирай-ка в дорогу, братец.

И он тяжело вздохнул.

В тот же день Лермонтов отбыл из отряда в двухнедельный, разрешенный по «крайней надобности в домашнем устройстве» отпуск.

Трое суток трясла его и мотала почтовая тележка. Он так щедро давал на водку, понуждая к быстрой езде ямщиков, как будто получил ссуду не в сто, а в тысячу рублей.

На четвертые сутки где-то внизу, много ниже дороги, открылась темно-зеленая взрытая волнами поверхность моря. Небо над нею было таким голубым, что казалось —

оно хочет впиться в глаза. Не покидавшие со дня отъезда веселость и возбуждение сменились смутным и тревожным беспокойством. На последней версте он все еще погонял ямщика.

Маленький городишка лепился на самом краю берега с застенчивостью прирожденного бедняка. В воздухе пахло рыбой и гнилью. Ветер гнал с моря тяжелую, больше зноя утомлявшую прохладу.

Покачиваясь, чертили небо голыми мачтами стоявшие в гавани суда. На берегу, в сомнительной тени развешанных на кольях рыболовных снастей, сидели и лежали оборванные загорелые люди. Прибой шумел глухо и деловито. На дальних волнах завивались белые гребешки.

Валявшиеся на берегу оборванцы указали Лермонтову низкого, беспрерывно шмыгавшего носом армянина. Тот жесткими и быстрыми глазами в одно мгновенье словно раздел его. Воскликнул так, как будто ему самому не было большего удовольствия:

— Ва, это можно!

Потом долго думал, шевелил губами, что-то прикидывая и соображая про себя.

— Сто рублей. Как хочешь, меньше нэлзя,— выпалил он наконец и засверлил глазами.

— Сто рублей!.. Да, ты знаешь!.. Да ты у меня!.. Дальше это оборвалось неистовой непристойной бранью.

Армянин только повел плечами и сумрачно поглядел в глаза.

— Зачем карантин? С карантина́,— он в родительном падеже ставил ударение на последнем слоге,— с карантина́ и так все лодки смотрят. Зачем не ездишь с казенным, если так кричишь?

И повернулся уйти.

— Постой!

Лермонтов сам испугался своего голоса.

— Постой же, болван! Мне ехать нужно, а не ругаться с тобою.

В голове, как испуганное стадо, одна сбивая другую, мчались мысли.

«Проклятый паучок! Вот принес удачу! Отпуска вне всяких правил добился, а в Крым перебраться не сумею?! Да, как же, как раз сумеешь,— дразнил кто-то другой.— За беглеца примут, попробуй только сунься к начальству. Здесь-то не вотрешь очков. А, армянин проклятый! Сколь-

ко ему могу дать? Сорок, пятьдесят? И того уже нет».

Армянин презрительно и лениво, должно быть, в последний раз, ощупал его глазами, уныло сказал:

— Бэз дэнэг ничэго нэ сдэлаешь. Опасно возить, с карантина все лодки смотреть будут.

Может быть, он ударил бы его,— душило бешенство, судорогой сводило руку,— но в этот момент солидный, с ленцой голос позвал армянина.

Они разговаривали тут же на берегу, где сушились сети и валялись на песке загорелые оборванцы. Некоторые из них теперь лениво и без особого любопытства прислушивались к их перебранке. Один,— Лермонтову приметилась крутая седина в потных, прилипших ко лбу кудрях и жесткие, по-солдатски стриженные усы и баки,— приподнялся с земли.

— Петрович! В чем тут у вас дело? — окликнул он армянина.— Ехать, что ли, офицеру нужно, а ты в цене уперся?

Он оглядел Лермонтова, и Лермонтов оглядел его. Глаза, тяжелые и черные, смотрели умно и насмешливо, в колючих жестких усах застряла улыбка неоспоримого превосходства.

— Вы, сударь, ехать желаете? — обратился он к Лермонтову, чуть дотрагиваясь рукой до фуражки.— На Петровича вы обижаться не извольте: каждому заработать хочется. А вы, как я примечаю, барин горячий, ну, я и подошел, а то, думаю, никогда они так не столкуются. Вы вот что, сударь,— все не отводя насмешливого взгляда, весьма учтиво продолжил он,— дайте Петровичу-то какой ни на есть билет, ну хоть бы пятерку,— с него хватит. А я сам сегодня в крымские порта ухожу. Судно у меня хорошее, мы с вами столкуемся.

Ничего в его лице не изменилось за эти пять минут: и улыбка все та же, ироническая и неповоротливая, шевелила усы, и глаза, насмешливые и испытующие, смотрели не отрываясь, но было в его голосе такое спокойствие, в словах такая деловитая серьезность и скупость, весь облик его дышал таким сознанием собственного достоинства и превосходства, что Лермонтов усомнился только на одно мгновение.

— А ты-то сколько возьмешь за проезд?

— Того, что заплатить не можете, просить не стану, уж мне-то вы поверьте.

И усмехнулся опять. Но сейчас же лицо сделалось серьезным, он обстоятельно и толково стал объяснять,

как и когда удобнее всего перебраться к нему на «дубок», что нужно сделать, чтобы не заметил таможенный досмотр: словом, все, что должен был знать и к чему следовало приготовиться его добровольному пассажиру.

Теперь пришла очередь Лермонтову испытующе посмотреть на него.

— Как же ты это так берешь с собою?! А может, у меня и вовсе ничего нет? Заработать не заработаешь, а себя опасности подвергнешь.

— Себе убытка не сделаю-с, будьте покойны,— не спеша проговорил тот.— А не помочь человеку тоже, как хотите, нельзя. Вижу-с, что ехать вы нужду большую имеете. Ну-с пока что, сударь, до свидания,— вдруг неожиданно прервал он себя.— У меня тут еще дела кой-какие остались, а вы к вечеру, как только солнышко садиться начнет, сюда же приходите. Кажись, погоды быть не должно — сегодня ж выйдем.

И он, коснувшись рукой фуражки, не спеша и вразвалку отошел на прежнее место. Лермонтов только сейчас смог рассмотреть его. Был он высок и плотен, на вид ему не могло быть больше пятидесяти, на обветренной загорелой шее надувались толстые желваки мышц, и руки и плечи говорили о силе необычной. Он шел походкой такой же уверенной и спокойной, как и слова, как будто и ею он презирал кого-то. Но, странно,— эта походка совсем не походила на раскачивающуюся грузную походку старого моряка. Было в ней что-то едва уловимое, уже стирающееся, почти исчезнувшее, но прямое, широкое и легкое. Такой шаг, как болезнь, на всю жизнь прививают гвардейская муштра и парады, в этом шаге не участвуют, живут от него отдельно и спина, и плечи, и грудь, и шея. Не участвовали они и у этого странного владельца рыбачьего «дуба». Шел он прямо, с развернутыми и неподвижными плечами, не сгибаясь, не горбясь. Теперь Лермонтову показалось, что и голос у него не морской, густой и резкий, словно просоленный ветром. Говорил этот человек мягкой глухой хрипотцой, какая остается у вышедших в «бессрочную» младших солдатских начальников, унтеров и фельдфебелей. Но еще более странно было то, что говорил он не их языком, умеренно вставляя частичку «с», обращаясь «сударь» и призывая «пожалуйте».

«Странно, очень странно,— подумал Лермонтов, смотря ему вслед.— А не утопит, не ограбит?» — мелькнуло тут же тревожное и подозрительное.

Но солнце светило весело, дыхание уже привыкло к тяжелой влажности, человек, неожиданно предложивший свои услуги, самым своим появлением как бы отстранил неприятность досады и разочарования. Лермонтов ухмыльнулся беззаботно и весело.

— Паучок!

Он неохотно и лениво отошел от берега. Город был такой крохотный, жара такая нестерпимая, что не было ни сил, ни желания бродить или искать чего-либо. Странный судовладелец наказывал запастись на дорогу едой и вином. Лермонтов не без приятности вспомнил, что в чемодане еще есть кой-какая провизия, а вино, положенное заботливым денщиком, даже и не тронуто. Нет, и без своего человека можно, решительно можно путешествовать.

Нетерпение усугубляло тяжесть жары. Солнце упорно не хотело перемещаться на небе. Мысли, рождавшиеся беспрерывно, походили на белые гребешки дальних волн. Они налетали стремительно, возникали из ничего, но он суеверно и испуганно отгонял их, и они растворялись в сплошной однородной массе необъяснимого даже себе желания и беспокойства.

«Ехать, ехать, только бы ехать. Не надо ни о чем думать, только бы ехать».

Когда наконец солнце стало бесконечно медленно падать к воде и сразу прохладою сменился зной, он уже был на условленном месте.

Ждать пришлось долго. И солнце уже краем окунулось в море, и с берега уже начинали сползать хмурые и холодные тени, а хозяина «дуба» все еще не было. Появился он, как это всегда бывает, когда ждешь слишком нетерпеливо, совсем не оттуда, откуда ждал его Лермонтов. Пришел усталый и хмурый.

— Ну, часа через два либо три будем отходить. Можно теперь и на «дуб» перебираться. Вещи у вас какие есть?

— Один чемодан да бурка.

— Чай, на станции оставили? Так я вам мальчика дам: он принесет.

Мальчик, необычайно угрюмый и неразговорчивый, притащил чемодан и бурку, свалил их в вытянутую носом на песок лодку, сказал кратко:

— Садитесь.

И голой пяткой ловко столкнул лодку с песка. Потом так же ловко и проворно он прыгнул в нее

сам, стоя заработал веслом, крутя его, как винт, на корме.

«Дуб» оказался невзрачным, глубоко, чуть ли не по самые борта, сидевшим в воде суденышком. На голых мачтах висели подвязанные грязные свертки парусов. От самого носа до половины «дуб» положительно был завален крупными темно-зелеными арбузами, его сильно качало, и арбузы кряхтели страдающе и тихо. Лермонтов перепрыгнул через борт, балансируя и останавливаясь каждую минуту, чтобы не упасть, прошел вслед за хозяином на корму. Здесь, откидывая шаткую дверцу какой-то будки, тот сказал:

— Извините, сударь, почище места у нас не найдется. Конечно, потом, как будем в море, можно будет выйти на палубу, а пока лучше вам все же здесь посидеть, чтоб греха какого напрасно не вышло. Досматривать нас уже больше не будут, а все ж так-то спокойнее.

В неприглядной и тесной рубке сидело еще двое. Оба недоверчиво покосились на Лермонтова, переглянулись,— очевидно, они только что говорили,— и потом уже не произнесли при нем ни слова.

— Вот здесь, сударь, вам будет удобнее,— говорил хозяин, устраивая в углу лермонтовский чемодан.

— Спасибо, и так хорошо, только б доехать. Как звать-то тебя, хозяин, прикажешь, я и не спросил?

— Люди зовут Михаилом Ивановичем. Ну, вам, может, так и неудобно покажется — зовите Михайлой.

Он услужливо постелил на чемодан бурку, огляделся кругом с таким видом, как будто хотел сказать: «Ну, лучше тут ничего не придумаешь»,— и занес уже было за порог ногу, но Лермонтов его окликнул:

— Ты скажи, Михаил Иванович, когда выйти можно, а то здесь сидя задохнешься.

— Будьте покойны, лишней минутки не продержу-с.

В рубке было жарко и душно. Стоял тяжелый запах непроветренного человеческого жилья. От качки или от этого запаха начинало мутить. Двое других пассажиров сидели, как набрав в рот воды. Иногда в тишине раздавались слабые, похожие на стоны вздохи. Видимо, одному из пассажиров было совсем плохо. Отплытие почувствовалось по лязганью, крикам и шуму на палубе, по отрывистому рывку всего судна, по качке, сразу же ставшей и глубже и плавнее.

«Вытягивают лодкой? Или нет, сразу поставили парус»,— подумал Лермонтов.

От качки или от радостного волнения сердце подхватило, как на качелях. Все еще плохо верилось, что плывут, что он уплывет туда, к чему-то такому заманчивому и чудесному, что даже для себя он не смог бы определить.

Казалось, сейчас могло бы быть так же беззаботно и весело, как не бывало даже в детстве,— вот только эта проклятая качка: она пугала странным, тянущим и вязким ощущением. Ему хотелось засмеяться: так это было забавно. Едет он без денег, даже без своего человека, один, крадучись, как преступник, запрятанный в эту вонючую рубку. Расслабляющая дурнота, которую чувствовал во рту, в голове, в теле, превозмогла смех. Он не помнил, долго ли он пробыл в своем заточении. Только когда в рубку вошел хозяин, когда ворвавшийся в распахнутую дверь свежий морской ветер коснулся лица, он смог поднять глаза, спросить усталым, разбитым голосом:

— Ну что, за мной, что ли, пришел?

— Так точно, за вами. Да уж не плохо ли вам, сударь? Всего и идем-то, часа не будет. Это от воздуха: душно здесь и запах скверный. Вы выйдите на палубу, там сразу легче станет.

На двух других пассажиров он даже и не посмотрел. Поддерживаемый под руку, вылез Лермонтов из рубки.

За бортом буравились черные волны. На самом горизонте из-под полога низко свисавшей тучи выглядывал краешек луны. Темная мутно-красная кровь, дымясь, растекалась от него по воде.

— Вы, сударь, здесь присядьте и за борт не смотрите,— мягко выговорил Михаил Иванович.

Лермонтов взглянул на него и даже отшатнулся. Черные тяжелые глаза были полны сейчас такой тоской, так жалко и скорбно молила об участии трудная улыбка, что ему стало страшно.

«Так вот почему он так ласков со мной»,— пронеслось в голове нерадующим, тяжелым открытием.

Михаил Иванович все еще медлил от него отойти.

— Вы, сударь, мое любопытство мне извините,— заговорил вдруг он.— Я так еще давеча заприметил. Не должно быть, думаю, что этот офицер только кавказский. Не иначе как с гвардии сюда прибыл.

— Из гвардии. А что? — вяло ответил Лермонтов, с трудом ворочая языком.

— Так, так. Сразу это видно, ничем не скроешь.

Он оглянулся по сторонам, как будто страшился, чтоб его не подслушали, тоном, словно виноватым, продолжал:

— Любопытно было б узнать мне, может, кого из моих старых офицеров знаете. Вы-то, осмелюсь спросить, сами на Кавказе недавно?

Как выпавший из кучи арбуз, который теперь метался с борта на борт, возникла в голове мысль. Поднять ее не было силы.

«Штрафной, вероятно, здесь муку дослуживал. О чем же тоскует? Неужели мало шкуру драли?»

Силясь улыбнуться, Лермонтов все же спросил. Слабость и непрекращавшееся чувство тошноты стерли с голоса оттенок насмешки:

— С чего тебе-то офицеры интересны?

Ответ последовал немедленно, вместе с тяжелым глухим вздохом:

— Каждый человек, сударь, должен свой дом иметь и к нему привязанность. А у солдата какой же дом может быть, окромя службы! Конечно, как вы старых преображенских солдат знать не можете, то я про офицеров спрашиваю. А узнать все равно любопытно.

Лермонтов назвал несколько фамилий. Некоторых из них его собеседник знал, откликался на них немедленной репликой:

— Как же, отличнейший барин и офицер храбрый,— помню, помню.

Или:

— Этот так себе был: хорошего не скажу.

Лермонтов назвал и Самсонова. У его собеседника словно потемнел голос.

— Самсонова Евгения Петровича еще подпрапорщиком помню, как их из школы дяденька ихний, Николай Александрович Исленьев, в польскую кампанию брали. У жандармского генерала теперь адъютантом, говорите? Этот своего добьется. Души в нем нет — одно самолюбие. Вот в чем причина.

Михаил Иванович опять вздохнул.

Луна теперь переползла свисавшую на горизонте облачную завесу, холодными серебристыми бликами испещрила на палубе тень. В ее мутном молочном сиянии и лицо у Михаила Ивановича казалось и страдающим и страшным. Той же неуемной тоской горели глаза.

С кормы, перепрыгивая через валявшиеся снасти и мешки, к ним подошел босоногий рослый матрос.

— Михаил Иванович, что с эстими-то, с англичанами, делать? Всю рубку как есть заблевали: оба лежком лежат. Ты б их хоть на палубу вытащил.

При лунном свете улыбка делала лицо Михаила Ивановича суровым и жестким.

— Это не причина,— насмешливо проговорил он.— А если они на палубе за борт свалятся, кто за них нам с тобой деньги платить будет? Ты это, дурья голова, подумал?

Парень отошел.

Михаил Иванович, совсем близко склонясь к Лермонтову, глухим срывающимся шепотом спросил:

— Вот вы сказали: поручика Самсонова, капитан он, что ль, теперь, знаете. А вы про такую Дарью Антоновну Красавину не слыхали? В полюбовницах он, сказывают, ее держит.

И остановился, словно задохнувшись.

Эта, вот эта волна, шлепнувшая, как пощечиной, суденышко, смыла с тела слабость. Сердце сжималось тревожной, ноющей болью, и в висках, в голове застучала медленная тяжелая кровь. Как в испуге, Лермонтов привстал с своего места.

— Нет, не знаю,— ответил отрывисто и резко.

Но сейчас же, мучаясь и не в силах подавить в себе тревоги, спросил:

— Кто рассказывал-то тебе про Самсонова?

— Тут один исленьевский бывший дворовый в Азове как-то попался. Сбежал, должно быть,— устало и как бы с неохотой ответил Михаил Иванович.

— Давно?

— О прошлом годе как будто.

Лермонтов облегченно откинулся на скамейку.

— Что, сударь, совсем вам нехорошо-с? — участливо и с тревогой спросил Михаил Ивонович.— Вы вот лягте, совсем вытянитесь и в небо смотрите, как будто там что увидели. Так оно и пройдет. А здесь посередке самое лучшее место: меньше всего качает. Погодите, вот я вам вашу бурку принесу постелить.

Он торопливо отошел от Лермонтова. Чуть пробеленное тонкою лунною мутью небо над головой, казалось, истекало черной неиссякаемой влагой. Падавший с парусов на лицо ветер исцелял от немощи.

«И опять и всегда жизнь отравит мне самое лучшее мгновение. Ах, если б не эта мука» — тоскливо отозвалось в душе.

Он думал о качке, даже себе не решался признаться в том, что радость и детскую беспечность в сердце убила вовсе не качка.

Красный укрепленный на мачте фонарь прыгал в черном небе, как мяч. Он и в сон отскочил упругим проворным мячом.

Проснулся Лермонтов от утреннего застылого холода. О вчерашнем дурнотном состоянии напоминали только головная боль и слабость во всем теле. За бортом море было гладко, как вода в пруду. Голубое до блеска небо застыло над головой, но паруса все же тяжело выпирались грудью. В утренней сплошной тишине отчетливо слышался каждый звук: скрип снастей, осторожный плеск рассекаемой носом воды. Заглушенным, словно натруженным, голосом Михаил Иванович говорил кому-то:

— ...Вот, парень, я тебе что скажу. В рудниках со мной один кавказец работал. Конечно, ни зимы, ни работы тамошней здешнему человеку не снести, так и свял бедняга. А как совсем отходить начал, вдруг как забьется, затрепещет, как птица подстреленная, и глазами и руками все молит чего-то: дайте, мол, дайте мне. А чего — никто понять не может. Насилу я разобрался: винограду, виноградинку, понимаешь, одну он просил. Это чтоб родину хоть по чем-нибудь было вспомнить. Родина-то, брат, может, это вовсе и не страна или земля какая, а, скажем, семейство, обычай, которым жизнь ведется, или другое что. А у меня вот родины этой, как хочешь, нет — какая же у солдата, да еще у каторжного, может быть родина? А тоска, парень, тоска мне всю душу выела. Я через эту тоску и из Сибири вон куда убечь не побоялся. В жизни я только крепок, сам знаешь,— а отчего? Помирать, брат, боюсь, боюсь — перед смертью, как тому кавказцу, просить будет нечего...

Он смолк. Лермонтов напряженно, весь обратившись в слух, ловил каждое его слово. Что-то неловкое, унизительное и страшное закрадывалось в душу. Казалось, вот-вот Михаил Иванович начнет говорить о нем, унизит, оскорбит несмываемо. С минуту на палубе царило молчание. Потом тот же натруженный заглушенный голос заговорил снова:

— Насчет этого тоже — пустое. Я, брат, это еще вон когда понимал. Четырнадцатого декабря тысяча восемьсот двадцать пятого года, когда в Петербурге

на Сенатской площади гвардейские полки бунтовали, вон когда. Преображенский полк тогда усмирять их выслали. Так у меня и рука не дрогнула по своим стрелять, как команду подали. Потому дураков жалеть нечего.

Голос у него звучал уже по-другому, старчески ворчливо и скрипуче.

— Да-с. Вот хоть и это. К чему эти англичане здесь? Добро или зло какое придумывают? Нам с тобой никакого дела нет. Нам деньги получить, коль мы их в порядке доставим и от начальства укрыть сумеем, а что они там подстраивают: за царя ли, против ли царя — это наплевать. Нам с тобой все равно от того лучше не будет.

Лермонтов закрыл глаза, притворился спящим, когда Михаил Иванович, крякнув, сказал:

— Пойду посмотреть, не проснулись ли.

Противное чувство неловкости и смущенного стыда, как будто он отнял у нищего рубашку, не оставляло его.

«Это Дарья, Дашенька, нигоринская Долли — потерянная родина»,— стыдной, унижающей мыслью не выходило из головы.

Михаил Иванович, гася насмешливый блеск в глазах, подошел к нему.

— Ну-с, сударь, к тому самому месту, откуда вышли, опять подходим.

Лермонтов смотрел на него широко открытыми глазами. Он не знал, что сказать, как отозваться на это. Он даже не мог понять — шутит ли или говорит всерьез Михаил Иванович. И то, и другое было б ужасно. А Михаил Иванович, словно издеваясь, совсем не меняя тона, говорил:

— Посоветую вам здесь, однако, высадиться: вряд ли и в эту ночь счастливее будем: видите, вон их там сколько.

Он показал рукою на горизонт, Лермонтов там ничего не увидел. Только белый одинокий парус тонул в голубом просторе. От сознания собственного бессилия, от невозможности ответить мутился разум. От чувства детской, беспомощной обиженности хотелось плакать. Он закричал визгливым, показавшимся ему самому чужим голосом:

— Что ж ты сделал со мной?! Что ты сделал! Ведь у меня и времени-то всего две недели!

Михаил Иванович усмехнулся, но не обидно, наоборот снисходительно, ласково, как улыбаются закапризничавшим, но еще не нашалившим детям.

— Вы, сударь, понапрасну сейчас горячитесь. Четыре катера с карантина вчера на сторожевку вышли. Этого никто предвидеть не мог. А это не шутка-с. Все равно и помимо меня вам отсюда отплыть не удалось бы.

— Как же мне быть теперь, ты скажи? — с отчаянием воскликнул Лермонтов.

Улыбка и спокойный рассудительный тон как будто примирили его с Михаилом Ивановичем. На Михаила Ивановича он уже не сердился.

— А вот как, сударь, если моему совету последовать пожелаете.

Он остановился. Внимательно посмотрел на Лермонтова.

— Не надо вам, барин, в Крым ездить.

В голосе была неподдельная задушевность, и Лермонтов растерялся.

— Почем ты знаешь это? — воскликнул он, как в испуге.

— Вижу, сударь, и потому вам сказать решаюсь. Тоска вас сердечная гонит. А ее ничем утолить невозможно. И в Крыму ее не утолите. Не стоит из-за этого жизнью кидаться.

«Паучок»,— пугая и радуя, пронеслось в мозгу.

Утро горело солнцем и голубым простором. Над «дубом» кружили чайки. Полоска далекого берега казалась вызолоченной. Уже можно было различить лепившийся у самой воды городишко. Лермонтов тяжело вздохнул и отвел глаза.

«Он прав, этот беглый каторжник,— подумалось равнодушно и лениво.— Знаю же, что там нет ничего».

А Михаил Иванович говорил:

— Не ездите, сударь. Я ночью сегодня про вас подумал. Я человек решенный. А вы-с...

Он не договорил, и Лермонтов, не отводя от его взгляда глаз, спросил встревоженно:

— Это вы про что? Не понимаю.

Михаил Иванович все еще смотрел на него.

— И понимать не нужно. Груз не тяжелый у меня здесь на «дубе»,— он усмехнулся,— а поймают с ним, хорошо если повесят только...

Тогда засмеялся Лермонтов:

— Вон про что? А я думал...

— Что вы думали, сударь?

— Да по совести сказать — ничего. Только вот что забавно. Три года назад здесь же меня одна русалка чуть не утопила и ограбила до нитки, а сейчас...

Михаил Иванович перебил с поспешностью:

— Ни от чего я вас, сударь, не спас и не спасаю. Только вот поездочка наша с вами не удалась. Так и запомните вы об этом.

VI

Лермонтов не ездил в Ялту. Лермонтов не бывал в Крыму. Никогда. Сорок шесть лет спустя после его смерти в «Русском Архиве» появилась фальшивка. Жанна Оммер де Гелль описывала неизвестной подруге прогулку верхом по Южному берегу — «Я ехала с Лермонтовым, по смерти Пушкина величайшим поэтом России», свое пребывание в Мисхоре — «Лермонтов сидит у меня в комнате в Мисхоре, принадлежащем Ольге Нарышкиной, и поправляет свои стихи. Я между тем пишу мое письмо к тебе». Лермонтов, исполняя кисловодское обещание, по секрету от начальства примчался с Кавказа, с фронта в Крым, чтобы вручить ей лично свои стихи. Так с легкой руки публикатора записали в биографию поэта.

«Как я к нему привязалась! Мы так могли быть счастливы вместе!» — это из письма Оммер де Гелль.

Дальше она рассказывала тому же неизвестному адресату о своем романе с Тет Бу де Мариньи, французским и нидерландским генеральным консулом в Одессе, о его ревности к Лермонтову, о предстоящем рейсе яхты Тет Бу к кавказским берегам с военной контрабандою для «непокоренных» еще черкесов — «мне ужасно жаль моего поэта, ему несдобровать. Он так и просится в истории. А я целых две пушки везу его врагам».

Публикатор этой фальшивки князь Павел Петрович Вяземский не дал французского оригинала писем, не указал, каким путем они к нему попали, он только рассказал в примечании, что в зиму 1840—1841 гг. в последний свой приезд в Петербург Лермонтов «набрасывал» свои стихи (т. е. те, французские, которые приводятся в письмах, те, которые посвящены Оммер де Гелль),— «он все чертил их, как будто сочинял».

«В письме г-жи Оммер, в конце 1840 г.,— осведомленно сообщает князь,— мы их находим не в том же отчасти виде, но, видимо, они те же самые». Фальшивка была сделана грамотно и старательно. В 1887 году были еще живы многие из современников и свидетелей последних лет жизни поэта. Никто из них не выступал с опровержением. Эмилия Александровна Шан-Гирей, падчерица генерала Верзилина, та самая, которую долго, но неосновательно считали виновницей последней дуэли поэта, полемизировала с «легкомысленной, чтоб не сказать больше, француженкой». Но она спорила о мелочах кисловодского письма, встречи и даже увлечения Лермонтова Оммер де Гелль она не отрицала. Барон Егор Майдель, двадцатилетним мальчишкой болтавшийся около лермонтовской компании на Кавказе, еще и семь лет спустя после публикации писем говорил Мартьянову:

«— Знаете ли, барон, говорил он (т. е. Лермонтов) мне,— я прошлой осенью ездил к ней в Ялту, я в тележке проскакал до двух тысяч верст, чтобы несколько часов побыть наедине с нею. О, если бы вы знали, что это за женщина! Умна и обольстительна, как фея. Я ей написал французские стихи.— И он стал припоминать их, но прочитать не мог и, рассмеявшись, сказал: — ну, вот подите ж! Забыл... а стихи ей понравились, она очень хвалила их».

В шестьдесят пять лет Майдель помнил еще, да и не мог не помнить, «молодой, красивой, обаятельной дамы, кружившей безустанно головы своих многочисленных поклонников».

Оммер де Гелль была в Кисловодске и в Пятигорске. Шестидесятипятилетний Егор Майдель, не забывший лермонтовского признания относительно нее, не смог припомнить, однако, ничего такого, что выделяло бы поэта из среды многочисленных поклонников француженки. Но тот же Майдель не забыл рассказать, что «она имела живой и веселый характер, много путешествовала по России и была известна как поэтесса. В разговорах она поражала большой начитанностью и знанием русской истории и литературы. Ее определения и характеристики известных лиц были типичны, злы и метки». Вариант французского стихотворения, приведенного в публикации Вяземского, сохранился в альбоме поэта, подаренном ему В. Ф. Одоевским перед последним отъездом на Кавказ. Адъютант шефа жандармов Е. П. Самсонов в ревнивых страданиях не забыл записать в дневник,

что его жена на Кавказе соперничает с какой-то «проходимкой-француженкой». В Кисловодске и в Пятигорске Жанна не помогала Тет Бу в его шпионских и контрабандных операциях, в Кисловодске и Пятигорске она отдыхала. В Кисловодске и Пятигорске невозможно было даже предположить, что не в качестве пассажирки только возит ее Тет Бу на своей яхте, что ее парижские туалеты и она сама в первую очередь нужны ему для поездки к «князю адыгеев» не меньше, чем пушки и порох. Невозможно было допустить, чтобы эта малопочтенная профессия его возлюбленной осталась бы для Лермонтова секретом, если бы он появился в Крыму. Тет Бу и Жанна совсем не стеснялись русских властей. Консульские печати, а Тет Бу ставил их несколько: французскую, английскую, нидерландскую,— были священны для местного начальства. Консульское звание делало неприкосновенным самого Тет Бу. Впрочем, и не побывав в Крыму, Лермонтов уже заподозрил, чему «служит своим полом французская путешественница». Беглый Батурин спасал его от позора перед потомством прослыть влюбленным, по-настоящему влюбленным в эту, с позволения сказать, «поэтессу». Князь Вяземский попробовал исправить такую «ошибку». Десятки биографов и романистов сказали ему за это спасибо.

VII

На 15 марта, ровно в одиннадцать часов был назначен высочайший прием специально посланного с докладом от командира отдельного кавказского корпуса.

Часы в приемной уже били одиннадцать, дежурный флигель-адъютант, приглашавший в кабинет назначенных к приему, пропал за дверями. Николай встал из-за стола. Нижняя челюсть дрогнула, скосился рот, он уже готов был разразиться гневным криком, но в этот момент фамилию дежурного словно украли из памяти. Это иногда бывало. Николай прошелся по кабинету, снова опустился в кресло, пальцы нервно забарабанили по столу. Часы в приемной все еще не окончили своего металлического боя. Чуть ли не с последним их ударом распахнулась дверь. Скользнувший к столу флигель-адъютант доложил на лету:

— В звании флигель-адъютанта полковник барон Будберг. С докладом командира кавказского корпуса.

Сказал и так же неслышно, как появился, исчез.

Николай сурово и строго взглянул на вошедшего. Таким лицо делалось у императора, когда перед ним отвратительно маршировали на смотрах полки, когда он замечал какую-нибудь неисправность на отдельном солдате, когда немедленно и тут же никого из стоявших рядом, бывших, так сказать, под рукою, распечь и разнести было нельзя.

— Здравствуй, садись.

Государь не подал руки. Не отводивший от него глаз, словно взглядом прилип к его фигуре, полковник, как автомат, опустился на самый край кресла. Николай ближе придвинул свое, их разделял теперь только угол стола.

— Ну, давай! Чего там намарали?

Полковник проворно, трясущимися руками, расстегнул туго набитый портфель, вскочил с места, хотел развернуть и карту Кавказа.

Николай досадливым жестом остановил его:

— Не надо. Я это наизусть знаю.

Полковник, часто моргая веками, поспешно сложил ее, достал из портфеля бумагу. Бумага ходила в руках ходуном. Николай, брезгливо поморщившись, принял ее из рук.

«Что, Будберга-то на Кавказе совсем разучили говорить, что ли?» — подумал с недоброй усмешкой.

Он, конечно, не знал, что к этому самому Будбергу, в беспокойной тоске ожидавшему призыва во дворец, два раза прибегали с приказанием из военного министерства переменить форму одежды, гадая, в какой государю будет угодно его видеть; он, конечно, не знал, что за два часа до приема Будберг мучительно изнывал в кабинете у военного министра. Военному министру не было никакого дела до тех соображений, которые излагались в докладе командира кавказского корпуса, но, по его глубокому убеждению, что-то в них не совпадало с его собственным мнением и, следовательно, никуда не годилось. На все почтительные возражения и попытки разъяснить со стороны приезжего полковника он, отравляя последнего унынием и страхом, неуклонно твердил:

— Э, батенька, это я должен вам прямо сказать. Государю будет неприятно, очень неприятно, что так мало дали себе труда понять его волю. Я вам говорю, приготовьтесь-ка лучше встретить его большое неудовольствие.

Вначале полковник еще пытался что-то ответить, пробовал что-то объяснить. Военный министр, отмахиваясь от него, как от прилипчивой мухи, несколько раз ткнул

пальцем в карту, указывая на какое-то место на северо-западном побережье Каспийского моря.

— Вот отсюда, с правого фланга, государю именно и желательно, чтобы началось постепенное перечисление.

Полковник понял, что противоречить бесполезно. Речь шла о перечислении государственных крестьян в Ставропольской губернии в линейное казачье войско. Военный министр, очевидно, полагал, что их, то есть русских войск правый фланг, упирается в Каспийское море и войну они ведут, следовательно, против России.

Он с совершенно потерянным и убитым видом собирал свои бумаги. Военный министр, словно издеваясь, напутствовал:

— Ну, вот увидите, как будет гневаться государь.

Сейчас у Будберга в голове творилась невероятная путаница. В одном только он был твердо уверен: из всего, что нужно доложить государю, он уже не помнит решительно ничего. Только вчера ночью прибыл он в столицу. До этого семь суток в распутицу и грязь скакал он на перекладных, не выходя из саней от самого Таганрога. От недельной непрерывной езды и тряски тело болело и ныло, словно его били, к голове, заволакивая все желтым туманом, приливала кровь, распухшая шея отказывалась поворачиваться в тугом воротнике.

Государь бегло одну за другой читал бумаги и раздраженно швырял их прочь. Не прочитав и половины, оттолкнул всю пачку, брови у него грозно сошлись. Полковник, качнувшись, еще прямее вытянулся в кресле. Стараясь смотреть прямо в лицо царю, он напряженно и часто мигал покрасневшими распухшими веками. Впрочем, царь его как бы уже и не замечал.

— Что мне рассказывают,— это было похоже на монолог,— что благосостояние крестьян упадет по передаче их в линейное войско! На Дону военное управление ничуть не мешает народному благоденствию. Я знаю, кому это не нравится. Не могу же я смотреть на этот вопрос глазами управляющего Палатой государственных имуществ, я смотрю на него с государственной точки зрения. Что меня пугают, что придется упразднить Ставропольскую губернию! Ну, да, упразднить! Очень рад, это у меня самая подлая губерния в России, где ни один порядочный человек не мог ужиться. Еще мужицким бунтом пугают. Надеюсь, что там есть кому образумить дураков.

С последними словами он так возвысил голос, что полковник вздрогнул.

Досадливо кривясь, словно это было самое неприятное для него на свете, Николай опять придвинул к себе пачку бумаг. Взял одну, тотчас же отшвырнул, гневно ударил по столу кулаком:

— Б⟨ордель⟩ там у вас, положительный б⟨ордель⟩. Людей нет, чтобы серьезно заняться Кавказом. Вон у Воронцова за Крым так и вовсе я не боюсь ни с какой стороны. Вот у кого нужно бы вам поучиться.

Он помолчал, брезгливо поморщившись, взял следующую бумагу из пачки.

— Это еще что такое?! — крикнул, гневно сверкнув глазами.

У полковника сердце раскололось в груди, отдельные части его бились теперь в коленях, в локтях, в пальцах.

— Представление командира корпуса вашему императорскому величеству,— заикаясь пролепетал он,— с приложением рапорта генерал-лейтенанта Галафеева и наградного списка на всех особо отличившихся в делах против неприятеля за прошлогоднюю летнюю экспедицию.

У царя складками наморщился лоб, одним взлетом бровей он их разгладил, глаза метали молнию.

— Лермонтов! — закричал он, ударяя кулаком по столу.— Опять ко мне лезут с Лермонтовым! Да что там у вас, с ума все сошли?! За отличиями, что ли, на Кавказ ссылают?! Или ваше дело каждого мерзавца непременно представить героем? Вояки!! Дубины, которые не могут понять, что Кавказ у меня вовсе не для прогулок. В отпуск пустили,— мало. Так они еще к награде вздумали представлять! — Голос вдруг осекся, теперь рубил слова хриплым и низким басом.— Передай там, что я приказал генералу Клейнмихелю в двадцать четыре часа выпроводить этого молодчика из столицы. Должен быть при полку, а не обтирать паркеты гостиных. Передай, что я ставлю на вид твоему командиру, что у него люди употребляются не в ту службу, для какой они присланы. Передай, что до сих пор на Кавказе я еще, слава богу, не знал таких умников, которые бы лучше меня знали, что нужно делать. Все. Можешь идти.

Кивком головы отпустил вытянувшегося в струнку Будберга. А когда за ним закрылась дверь, царь разбитым, утомленным движением откинулся в кресле, прошептал с покорным отчаянием:

— Господи, что делать мне с ними! Какие дураки! Боже, какие дураки!

Встал и прошелся по кабинету. Раздражение и гнев проходили. Что-то очень неприятное слышал он на днях. Это неприятное как-то было связано с именем Лермонтова, вспомнил, что это было на докладе Орлова [1]. Вспомнил, что тогда же, взбешенный, приказал дежурному генералу гвардейского штаба удалить его из столицы в двадцать четыре часа. Сейчас это почти уже не раздражало.

— Болваны, они еще пускают его в отпуск,— саркастически улыбнулся царь, шагая по кабинету.— А Орлов тоже хорош! Показывает копии с писем какой-то француженки. Будто не знает, притворяется, что не знает, почему я не желаю, чтобы Самсонова возвращалась в столицу.

Он продолжал шагать и продолжал думать. Напоминание о Лермонтове дало новое направление мыслям.

— Они там только еще больше распускаются. Воздух там, что ли, заражен этим мятежным духом. Дураки, даже в экспедицию послать не сумели. Вон у Ермолова не возвращались.

Шаг сделался четким и твердым, отрывисто печатал по паркету. Усмехнулся самодовольно и зло.

— Фронтовая служба, строгое выполнение своих прямых обязанностей помогает смирению.

Быстро подошел к столу. Не присаживаясь, на клочке бумаги карандашом набросал:

Дежурному генералу.

Переведенный из гвардии в Тенгинский пехотный полк поручик Лермонтов при своем полку не находился, но был употреблен в Чеченской экспедиции с особо порученною ему казачьей командою. Замечание корп. ком. Подтвердить, чтобы оный Лермонтов непременно состоял налицо во фронте, чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в полку.

Бросил карандаш. Опять походил по комнате. За окнами был зябкий мартовский день с мокрым снегом и ветром. Холод, казалось, проник и сюда. Подошел к столу. Нагнулся. От натуги на лбу выступили жилы. Из-под

[1] Преемник Бенкендорфа на посту шефа жандармов и начальника III Отделения собственной его величества канцелярии.

стола вытащил потрепанный кожаный футляр. На коленях открыл его, вынул и бережно обтер куском замши трубу, вставил мундштук. Нота, тоскливая и дребезжащая, словно и она не могла не чувствовать ветра и снега, нудно вырвалась из ее медного горла.

VIII

Апрель золотил вечера теплыми, розовыми закатами. На бледном небесном атласе курчавились мотки шелковистой облачной пряжи. Как оперяющиеся птенцы, покрылись почками деревья. Громады дворцов, прямые, как выстрел, проспекты, каменный и бездушный Петербург тонули в бескрайном и прозрачнейшем воздухе. Смутным томлением и хрустальными в любой перспективе пейзажами в город пришла весна.

В доме Карамзиных, в том самом доме, где ровно год тому назад, смотря на плывущие за окном над Летним садом облака, читал Лермонтов «Тучки небесные, вечные странники», ждали его, снова отъезжавшего на Кавказ.

Вечер наполнил углы голубыми тенями. Желтый, неживой блеск свечей не погасил вечернего розового сияния. На поясном портрете покойного государя Александра Павловича,— в доме в память отца был чтим именно этот государь,— пустынный аттический пейзаж на этом портрете, казалось, один вместил в себя всю несказанную вечеровую тишь. Собрались только самые близкие и обычные посетители дома. Собрались проводить и проститься, потому что разговоры неизменно вращались вокруг отъезжавшего. Ждали его, он не приходил.

Красавица графиня Растопчина, по причине близорукости не отнимавшая от глаз лорнета, отчего томные и беспрестанно щурившиеся глаза казались полными слез, рассказывала о последней мистификации этого очаровательного и гениального — она так и говорила: «гениального» — шалуна.

— Представьте,— говорила графиня,— каковы были наши ожидания, как мы приготовились слушать. Он объявил, что ему понадобится по крайней мере четыре часа для прочтения этой повести, он требовал также, чтобы двери были закрыты для посторонних. Повесть, которую он собирался нам прочесть, называлась «Штосс». Вы представляете, как мы все были заинтригованы и этим названием и предупреждением. Все его желания

были исполнены, и избранники сошлись, числом около тридцати. Наконец он входит с огромной тетрадью под мышкой. Принесли лампу, двери заперли, и затем начинается чтение. Спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне. Написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради была белая бумага. Но и то, что мы слышали, совершенно исключительно. Увы,— тут графиня вздохнула,— и в этой повести те же мрачные настроения. Это какой-то Сведенборг... Нет, нет, теперь у Лермонтова не бывает, очевидно, минуты, когда бы он не думал о смерти...

Эта история, которая, казалось, должна была вызвать серию воспоминаний о проказах и шалостях «неисправимого» Лермонтова, повлекла за собой совсем иные рассказы. Вспоминали случаи, встречи и слова, неоспоримо подтверждавшие, что таких минут, когда он не думает о смерти, у Лермонтова теперь не бывает.

— Да, да, в прошлом году и ссылаемый, и разжалованный он уезжал не с таким настроением.

Появившегося Жуковского обступили, упрекая в суровости к Лермонтову двора, и Василий Андреевич своим мягким, чуть задыхающимся голосом старался оправдать Николая.

— Но вы же, господа, знаете, что государь больше месяца тому назад соизволил приказать в двадцать четыре часа покинуть ему столицу. И это много, и это много — что ему разрешили пробыть здесь до конца отпуска. Великий князь не терпит, когда его просят отменить даже его собственное приказание, а тут он сам ходатайствовал перед государем за нашего милого проказника. Поверьте, что великий князь, снисходя к нашим общим мольбам, сделал все.

Лакей в дверях доложил:

— Поручик Михаил Юрьевич Лермонтов!

Взгляды ожидающе обратились к дверям.

Он вошел улыбающийся и бестревожный, такой, каким его привыкли здесь видеть всегда. Черный армейский сюртук не был застегнут доверху, кавказский, до сих пор не отошедший загар оттенял белоснежность белья. Улыбка была на губах; как всегда, улыбались глаза. Не было только одного — он не был оживленным, и это сразу заметили все.

За столом, как и прежде, ему принадлежали лучшие

в этот вечер остроты и каламбуры, на нем было сосредоточено внимание всех, но...

Он шел сюда проститься; здесь его ждали друзья, по крайней мере большинство из присутствующих считало себя таковыми; здесь его любят и ценят — он знал, или нет, не знал, а так хотелось думать; в памяти были розовые сумерки прошлогодней весны, тучки над Летним садом и тихая бестревожная грусть на сердце. Все как и в прошлом году, только, только вот этого беспокойства, этой беспричинной тревоги не было тогда. А она мешала, мешала даже грустить, делала неживыми, мертвенными, искусственными и веселость и беззаботность. Это заметили. Он почувствовал холодок даже во внимании, с которым обращались к нему. Мысль, ставшая за последнее время привычной, вытеснила все остальное.

«Я — один, совсем один. Никому до меня нет никакого дела. Одному жить нельзя. Надо умереть. И пора».

Как из-под ареста, встал из-за стола.

Пирожным обносили в гостиной. Тотчас же вслед за хозяйкой перешел туда. В гостиной образовались кружки, общий за столом разговор распадался, его разносили по углам. Около Наталии Николаевны Пушкиной место было свободно. Раньше чем кто-либо попытался завладеть им, не колеблясь и поспешно подошел к ней.

В голове, наполняя все тело тяжестью и отчаянием, стучала неотвязная мысль:

«Ей, ей, владевшей такою любовью, видевшей такое страдание, не может быть непонятно это... Она пожалеет...»

В гостиной недоуменно посмотрели на него. Этот его порыв, очевидно, удивлял.

— Наталия Николаевна...— у него дрогнул голос.— Вы не должны удивляться... Я даже не пытаюсь скрывать, что чуждался вас всегда и намеренно... Сколько вечеров, проведенных здесь в гостиной, но в разных углах! Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел в вас только холодную, неприступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу...

У нее улыбка не изменила ни одной черты, только в глазах, черных, напоминавших зимнее ночное небо, прекрасных глазах, опушенных густыми, как мех, и длинными ресницами, в продолговатых прорезах голубых век загорелась едва уловимая насмешка.

— Сегодня вы захотели изменить себе с тем, чтобы потом говорили еще об одной вашей причуде. Не так ли?

Горькая улыбка пробежала по его лицу. Опуская взгляд, проговорил растерянно и тихо:

— Я уезжаю навсегда... Предчувствия никогда еще меня не обманывали... А сейчас мне не кажется, я не чувствую... Нет, нет — в Петербург я уже никогда не вернусь... И я не рисуюсь, поверьте хоть этому. Если бы только это было возможно, ах, как я хотел бы остаться здесь...

Он вздохнул тяжело и глубоко.

— ...И вот с таким-то предчувствием в первый, может быть, в первый только раз в жизни подойти к человеку с раскрытым сердцем и услышать...

Он не договорил.

— Но вы сами сказали о неприязни и предубеждении. Разве может так легко изгладиться такое чувство. Я — женщина, месье Лермонтов.

— Если бы мне казалось, что вы только женщина, если бы я думал, что кроме поклонения себе вы не можете принять ничего другого, я не подошел бы, я не решился бы подойти к вам. Но нет, нет — этого не может быть, не может быть, чтобы и ваше сердце было закрыто для чувств, которым не определено места светом...

Он смотрел на нее с немым и тяжелым вопросом. В глазах она читала страдание, страданием кривился женственный, мягко очерченный рот. В памяти ярко, как будто это было только вчера, проступила другая картина, другие губы, в смертной жажде и тоске просившие морошки. С медленно разгорающимся на щеках румянцем, беззвучно, одними губами, она прошептала:

— Я слушаю вас.

— ...Наталия Николаевна, я не должен был вас чуждаться. Я должен был знать, что моей искренности вы не ответите равнодушным презреньем. Я должен был верить, потому что вам открыто неизвестное даже самой прекрасной царице вашего круга.

Румянец поднялся до самых глаз, им горели кончики ушей. Мех длинных ресниц совсем закрывал глаза, и первый раз, первый раз в своей жизни, увидев это смущение, смутился, испугался своей смелости Лермонтов.

— Вы помните,— проговорил он неуверенно и тихо,— за столом я сказал, что серьезно думаю посвятить себя литературе, мечтаю, выйдя в отставку, издавать журнал. Это неправда, Наталия Николаевна, так я не

думаю и не мечтаю. Кому нужна литература в стране, где на журнал, на новую книжку подписываются, как на билет благотворительного бала!

Остановился. Опять горькая и ироническая усмешка покривила губы.

— ...Талант, ну что ж талант! Сегодня, например, я не принес с собой новых стихов, я не написал, как в прошлом году, экспромта, который читал, чуть не плача. Я весел, поскольку это требуется и... вы видели, как по минутам, словно песок в часах, иссякал ко мне интерес. Что делать в России с талантом, скажите? Мучиться, вдвойне мучиться, ибо и без таланта не мучиться нельзя. Вот эти люди, этот свет, права быть равным которому я так искал и добивался,— вы видите: им я не нужен, и они мне тоже. А других ведь нет. Других читающих стихи в России нет.

Он перевел дыхание. Даже загар, кавказский, неотстающий загар, не мог скрыть проступившей на щеках бледности. Он волновался.

Наталия Николаевна подняла низко опущенный взгляд, медленный, как бы дрожащий, скользнул он по его лицу. В глазах не было ни насмешки, ни удивления.

Мгновение, собираясь ли с мыслями или не решаясь сказать, он колебался. Взгляд черных глаз не отрывался от него. Он решился.

— Впрочем, я попытался искать таких вне обреченного круга. Случай мне помог. Это была женщина, не русская. Русского, от России, от нас, в ней не было ничего, и она была женщиной. Минутами мне даже казалось, что судьба поворачивается ко мне лицом. Я убеждал себя полюбить эту женщину, я делал все, чтобы приготовить для любви свое рано остывшее сердце. И... нет, я не могу осуждать свет за все. Тысячу раз право светское мнение, не допуская такую женщину в свой круг. Есть мудрость в неосуждении самого холодного разврата и в заклеймении самого пламенного хищничества. Может быть, придут времена и то общество, круг тех лиц, которые будут выдавать патенты на гениальность и право творить, может быть, круг тех лиц будет так же расценивать своих гениев, но для меня это омерзительно. Если все то, что мы завистливо называем не-Россией, таково же в своих отношениях, то... умереть нужно здесь. Они и степень одиночества готовы расценивать в одном ряду с имением. О, тогда мы самые богатые и самые гениальные для них люди! Поэтому-то так и летят к

нам от всех стран искатели легкой удачи и авантюристы.

Этих своих слов он испугался. В ее глазах был упрек. Жалкая, беспомощная улыбка просила о сострадании. Срывающимся, волнующимся голосом торопился объяснить:

— Наталия Николаевна, вы единственная женщина из всех, кого когда-либо мне суждено было встретить... Вы знаете, вы не можете не знать, что только в страдании рождается настоящая любовь. Только страданием можно постигнуть прекрасный преображенный мир, а страданию...

Закончил глухим, едва слышным шепотом:

— ...нужна любовь... по-русски любить — это жалеть.

От легкого прикосновения вздрогнул. Ее рука касалась его руки. Губы ее страдальчески шевелились, в глазах были слезы.

— Не надо больше об этом,— едва слышно попросила она.

Он взял ее руку, поднес к губам.

— Благодарю, благодарю за эти мгновения... Ничто не сможет отнять их из моей памяти. Но тем тяжелее для меня будет вечный упрек в близорукости, бесплодное сожаление о даром утраченных часах! Я всегда буду страдать от воспоминания, какое чудесное и большое сердце, какая искренность были скрыты от меня моею гордыней. Не отнимайте от меня, как ни самонадеянна она, последней радостной мечты. Может быть, когда-нибудь я стану вашим другом. Никто не помешает мне посвятить вам ту беззаветную преданность, на которую я чувствую себя способным. Простите меня.

Наталия Николаевна с легким пожатием высвободила свою руку.

— Прощать мне вам нечего,— тихо проговорила она.— Но если вам жаль уехать с изменившимся обо мне мнением, то поверьте, что мне отраднее оставаться при этом убеждении.

Почтительно наклоняя голову, еще раз сказал «простите» и медленным неуверенным шагом отошел прочь.

Хозяйка ждала этой минуты, чтобы подойти к Пушкиной.

— Что это значит, милая Натали? Чем покорили вы этого нечестивца? Всегда так подчеркнуто сторонился вас, а сегодня, кажется, даже забыл, что расстается не с вами одной.

В прекрасных, вызывавших память о зимнем ночном небе глазах светилась тихая, задумчивая печаль. Она не удивилась вопросу. Растроганно и просто рассказала, чему была обязана переменой в отношении Лермонтова. Глубокий вздох заключил слова:

— Случалось в жизни, что люди поддавались мне, но я знала, что это из-за красоты. Этот раз была победа сердца, и вот чем она мне так дорога и почему так глубоко растрогала.

IX

Вероятно, даже Старо-Московская, между Москвой и Питером, дорога не была так изъезжена, как укатали в те годы шоссе за Ставрополем. Бессонные тележки фельдъегерей, мчавших в армию царскую волю и донесения оттуда, почтовые брички, увозившие туда же военную молодежь, разный служилый люд, сновавший беспрерывно из армии в Ставрополь и из Ставрополя в укрепления и крепостцы, мчались по ней и ночью и днем. Да и возили здесь, как нигде. Ямщики, по большей части из молодых осетин, гнали лошадей все время вскачь до тех пор, пока те не останавливались сами, окончательно выбившись из сил. Тогда — случалось это обыкновенно на подъеме — осетин проворно соскакивал с козел, подкладывал под задние колеса камни и ждал, пока кони не передохнут, потом так же гнал их дальше.

Молодой борисоглебский улан ехал в собственной четырехместной коляске со своими лакеем и поваром, то есть с максимумом барской роскоши, какую может позволить себе офицер, едущий с подорожной «по казенной надобности».

Улан ехал не служить. В качестве ремонтера своего полка он уже не первый месяц таскался по южным городам и селениям. Молодость, которую нельзя не ощущать, разъезжая таким образом, не имея непосредственно над собой строгой начальнической руки, разгульное и ничем не стесняемое веселье, потому что на руках почти что не подотчетные казенные суммы, быстрая смена впечатлений, потому что ремонтеру долго задерживаться нигде не приходится,— все это — повод, чтобы постоянно и неизменно быть в прекрасном настроении.

Осетин, покрикивая, гнал лошадей, лакей клевал носом на козлах, уланский офицер мечтал, развалясь в ко-

ляске. Двадцатичетырехлетнему воображению, необычайно легко и быстро сменяя одна другую, рисуются картины будущих успехов, увлечений, неотступного внимания, которыми окружат его, «обстрелянного кавказца», по прибытии в полк, в какой-нибудь Тамбов или Воронеж. В уме сами собой складывались фантастические рассказы о страшных опасностях, которым он подвергался здесь, на этом загадочном Кавказе, о подвигах, которых ему никогда не придется совершить, о роковой и таинственной любви в диких горных трущобах. Иногда эти мечтания перебивались другими: он вспоминал, что далеко еще не от всех радостей жизни, радостей настоящих, о которых он не будет рассказывать, но которые, наверное, будет иметь, он попробовал хлебнуть сладкого напитка; улыбка тогда делалась сластолюбивой и еще более мечтательной. Приятно поеживаясь, он удобнее старался расположиться на подушках.

Лошади с разгона взлетели на крутой подъем. На горизонте из сизых далей выступила снеговая горная цепь. Заходящее солнце покрыло ее золотисто-розовым сиянием, сияние держалось и над нею, сливаясь с синевой неба. Рядом, в провал долины, черным косым полотнищем сползла огромная тень. Дорога, едва поблескивая, спускалась туда волнистой, легко наброшенной лентой. Внизу на ней что-то чернело.

Когда они спустились, улан разглядел свалившуюся на один бок нагруженную доверху дорожными сундуками телегу, понуро стоявшую тройку лошадей, людей, возившихся и хлопотавших возле поломанной оси. Эти люди, еще издали, заметив подъезжавшую коляску, стали махать руками и кричать. Двое из них были одеты кавказцами, в папахах и черкесках, с кинжалами и шашками. Осетин натянул вожжи. Оба кавказца бросились к коляске.

— Ваше благородие, явите божескую милость,— заговорили оба разом на чистейшем русском языке.— Наши господа теперь уже на станции, вы, чай, скоро туда доедете, скажите им, какое у нас несчастье. Пусть вышлют сюда хоть перекладную, чтоб с места стронуться. Иль хоть одному из нас дозвольте с вами доехать. Будьте столь милосердны.

— Да чьи вы люди? — спросил улан.

— Господ Столыпина и Лермонтова.

Одну из этих фамилий улан уже слыхал в Ставрополе. Там в бильярдной его внимание невольно привлек воль-

ностью и небрежностью своего обращения со всеми некий невысокий и сутулый офицер. Ему сказали, что это Лермонтов, лейб-гусар, переведен сюда по высочайшему повелению в прошлом году за какие-то проказы, сейчас возвращается из отпуска. Перспектива знакомства с опальным гвардейцем была слишком соблазнительна, чтобы улан не разрешил его человеку примоститься на козлах.

На станции улана ждало разочарование. Эти господа любезно, но не чересчур, поблагодарили его за оказанную услугу, и только. Он по застенчивости не решился набиваться в знакомые, хотя и здесь Лермонтов еще раз отравил ему душу завистливым восхищением.

Почти следом за уланом в комнату вошел только что прискакавший фельдъегерь с кожаной сумой на груди. Едва он переступил порог, как Лермонтов бросился к нему с криком:

— А, фельдъегерь! фельдъегерь!

И он начал снимать с него суму.

Фельдъегерь сопротивлялся, твердя, что он послан «в армию к начальникам». Бывший с Лермонтовым драгунский капитан стал говорить, что они тоже едут в действующий отряд и что, может быть, к ним есть письма из Петербурга. Фельдъегерь не сдавался. Тогда Лермонтов, сунув ему что-то в руку, выхватил силой суму.

— Ну, Монго, гадай — есть нам что-нибудь или нет! — весело закричал он, потрясая ею в воздухе.

Содержимое сумы было вытряхнуто на стол. Оказались только запечатанные казенные пакеты, писем не было. Лермонтов с огорченным видом отошел от стола, фельдъегерь торопливо бросился укладывать обратно свое имущество.

«Вот что могут позволить себе эти петербуржцы»,— с завистью подумал улан.

Он вздохнул: так было обидно, что эти люди не хотят с ним сойтись покороче.

Но не состоявшемуся на этой станции знакомству суждено было завязаться на следующей. Солнце уже закатилось, когда улан прибыл в Георгиевскую крепость; его напугали рассказами о небезопасности ночного путешествия в этих местах, он решил заночевать. В ожидании самовара улан отправился побродить по крепости, а возвратившись, застал в общей зале заезжего дома Лермонтова и его спутника. Смотритель убеждал их отказаться от намерения тронуться сейчас же дальше, расска-

зывал, что только вчера на дороге и совсем невдалеке от крепости зарезали одного унтер-офицера. Лермонтов кричал, что он старый кавказец, бывал в экспедициях, что его не запугаешь, требовал немедленно закладывать лошадей.

— А вот и наш новый знакомец! — воскликнул он, увидев улана.— Ну, что ж, поручик, надеюсь, вы едете тоже?

Улан закраснел.

— Я, видите ли, на Кавказе только первый раз, мне сказали, я и не решаюсь в такую пору.

— Да что вы, поручик, как вам не стыдно! Едем все вместе, если на нас и нападут, то мы за себя и постоять сумеем.

Улан улыбнулся хитро и осторожно.

— Зачем, господа, рисковать жизнью по-пустому. Не лучше ли будет, если мы прибережем свою храбрость для чего-нибудь такого, знаете ли, героического.

Лермонтов разразился веселым смехом.

— Э, Монго, да это, оказывается, весельчак! К нам, к нам, поручик! Чай будем пить, пока закладывают.

Улан с живейшей охотой принял предложение, за столом он просто замирал от восторга, слушая, как непринужденно и свободно отзываются его новые знакомцы обо всем и обо всех на свете. Но через минуту Лермонтов говорил уже тоном грустным и строгим:

— Все же, Монго, в экспедиции лучше. Там чувства, по крайней мере, живут такой же трепетной жизнью, как какой-нибудь лист на дереве. Порыв ветра — и он уже сорван, унесен в безвестные дали. И страшно и сладостно. Надоело, Алексис, надоело. Питер надоел, а здесь, если б не гнали в отряд, пришлось бы переживать очень скверную питерскую отрыжку.

В этот момент гроза, уже давно погромыхивавшая где-то в отдалении, внезапно со страшной силой разразилась над самым домом. На окна словно кто набросил на секунду и сорвал тотчас же белые простыни. От громового удара в комнате зазвенела и задребезжала посуда. Дождь хлынул бушующим, шумливым потоком. Лермонтов многозначительно переглянулся со своим кузеном.

— Видишь, Монго, на свете все против меня, даже природа. Придется сидеть здесь. Поручик, надеюсь, вы пьете не только чай?

Принесли кахетинское.

Еще возбужденней, еще беспорядочней, перебрасываясь с одного на другое, болтал без умолку Лермонтов.

Улан, слушавший его с почтительным вниманием, все же решился заметить:

— Не согласен, решительно не согласен. Ну подумайте только. Вот я приеду теперь в Пятигорск, остановлюсь в хорошей квартире, все прелести жизни будут к моим услугам. Я так думаю, что нигде, как на водах, хотя там и не был, женщины не бывают столь добры и снисходительны к легкомысленной молодости. Право, господа, поедемте со мной в Пятигорск. Вы ведь как-нибудь сумеете это устроить.

— В Пятигорск? В Пятигорск? — на минуту задумываясь, вполголоса повторил Лермонтов.— Нет, Столыпин, решено: мы едем в отряд.

Облачко грусти только мгновенье держалось на его лице.

— Ну, а еще какие радости жизни вы себе там предвидите? — уже по-прежнему весело обратился он к улану.

— Многого я для себя не требую, но и себя ценю все же. Как хотите, двадцать три года чего-нибудь да стоят.

— Да он мне и совсем нравится! — в совершенном восторге провозгласил Лермонтов.— Нет, поручик, вы прямо чудный: и пьете приятно и рассуждаете утешительно. Откуда только у вас такие понятия, как будто вы четвертый десяток на свете живете?

Улан только скромно улыбнулся.

Наутро Лермонтов поднялся из постели последним. Его кузен и улан уже сидели за самоваром, когда он появился в общем зале. Еще с порога он крикнул Столыпину:

— А знаешь, ведь теперь в Пятигорске замечательно хорошо, какие там сейчас люди, как славно бы мы могли там позабавиться!

Подошел и, обняв его за плечи, ласково стал упрашивать:

— Ну, поедем, Столыпин, ну, что тебе стоит.

Столыпин, осторожно освобождаясь из объятий, ответил с легкой досадой:

— Ты же знаешь, что это решительно невозможно.

— Почему? — удивился Лермонтов.— Ведь там комендант старик Ильяшенко. Являться к нему незачем. Ничто нам не мешает. Едем, Столыпин.

— Ну, что же, решаетесь, капитан? — спросил улан задумавшегося Столыпина.

— Помилуйте, как нам ехать в Пятигорск! — огорченно воскликнул тот.— Мне поручено свезти его в отряд. Вон на столе наша подорожная, а в ней инструкция,— посмотрите.

Лермонтов нетерпеливо махнул на него рукой и вскочил из-за стола.

— Ну! едем!

С этими словами он выкинул кошелек, достал оттуда монету.

— Ну вот, я бросаю полтинник. Если ляжет кверху орлом, едем в отряд, если решеткой — в Пятигорск. Согласен?

Столыпин молча кивнул головой.

Монета упала решеткой кверху.

— Судьба, Столыпин, судьба. Позвать людей, нам уже запрягли.

— Я осмелюсь предложить вам свою коляску: много удобнее, да и ехать всем вместе веселее,— предложил улан.

— Не возражаю, поручик, не возражаю. Вы очень любезны.

Лермонтов находился в каком-то странном, неестественном возбуждении, весь горел и изнывал от нетерпения. Столыпин попробовал предложить переждать только дождь. Он капризно, как маленький ребенок, надул губы.

— Тогда мы не попадем туда сегодня,— проговорил он обиженно.— И то ведь будем только вечером.

В Пятигорск они приехали вымокшие насквозь. Дождь перестал, в воздухе терпко пахло каким-то древесным цветением, по стеклу фонаря у дверей гостиницы струйками стекала вода. Толстый армянин в белой рубашке, перепоясанной тонким ремешком, кланялся и приветствовал Лермонтова, как старого знакомого.

— Это Найтаки, Магденко (улана звали Магденко), лучший гостинщик, каких я когда-либо видел. Верно, Найтаки?

Через час в номер к Магденко явились Столыпин и Лермонтов, уже переодетые, в свежем белье и в халатах. На Лермонтове был шелковый темно-зеленый с узорами. Перебирая и играя концами подпоясывавшего его снурка, Лермонтов весело обежал глазами комнату.

— Вы у нас умница. Все сервировано как следует: ни к чему не придерешься. Да, Столыпин,— с живостью обратился он к кузену,— ты знаешь, ведь и Мартышка

здесь. Я уже сказал Найтаки, чтобы за ним сейчас же послали.

По улыбке Столыпина можно было понять, что он одобряет распоряжение своего друга.

Только через час явился посланный, ходивший за Мартыновым, и доложил, что «его высокоблагородие господин Мартынов приказывали благодарить и сказать, что не будут». У Лермонтова удивленно приподнялись брови.

— Барин был один? Не спал, когда ты явился?

— Никак нет-с, лежали одетыми на диване и курили трубку. Никого при мне у них не было.

Лермонтов перевел удивленный взгляд на Столыпина, тот тоже недоумевающе пожал плечами.

— Ничего не понимаю. Завтра постараюсь повидать его. Это слишком странно — не желает встречи со старыми приятелями.

— Не стоит,— махнул рукой Лермонтов.

Веселое настроение пропало сразу, он стал задумчивым, угрюмым, не говоря ни с кем ни слова, выпил полстакана вина и, пожелав спокойной ночи, ушел к себе.

Еще в Петербурге, чуть ли не в первый день своего приезда, он ощутил в себе какое-то новое, незнакомое чувство. Это не была тоска, не было похоже и на боль самолюбивой обиды,— это была непрерывная мертвящая и изводившая скука. Что-то посягало на его взаимоотношения с миром, нарушало их и мешало жить.

И раньше не все и всегда было гладко. Иногда и раньше назревали и разрешались в безумствовании или диких мальчишеских выходках отчаяние, обида и злость. Но раньше все, что давал мир, все, что шло к нему, имело только свой, единственный, разгадываемый и уловимый смысл. Теперь и люди, и вещи, и тайна, необъяснимая тайна человеческих поступков, словно изменили свою природу. Все, как и раньше, оставалось тем же и таким же, но вместе с тем оно было уже и не то и не такое. Вот, например, бабушка — она встретила его с такими трогательными слезами, с такой неподдельной радостью; бабушку он всегда любил, всегда питал к ней самые искренние и нежные чувства, но сейчас, кроме пустой, гнетущей обиды, от этой встречи ничего не осталось. Конечно, бабушка не лицемерила, не обманывала его,— такой бы мысли он не допустил,— но словно она позабыла сделать что-то самое важное и нужное, чтобы ее радость и им ощутилась по-прежнему. Бабушка не лицемерила, но

это было так неприятно, будто и она уже лишила его своей искренности. Он почувствовал горечь обиды. Так относиться к ней, как относился раньше, он уже не мог, само чувство сопротивлялось этому. Тяжкой и трудной печалью пришло позднее сожаление о своем, равноценно никем не оплаченном отношении, о бесплодно растраченных чувствах. Все самые близкие, самые преданные люди словно умерили свою теплоту к нему, свою сердечность. Мысль о собственной непомерной гордости и требовательности не умещалась в сознании. Прерывались, выцветали человеческие отношения, пропадали отдельные интересы. Мир отходил, оставлял его. С людьми было скучно, в одиночестве страдал их отсутствием. Нужно было беспрерывно острить, казаться для всех веселым и беспечным. Только таким образом, убеждая других в том, чего уже не было, удавалось обманывать и себя. Но это было ужасно трудно. Неизвестно кем и где была сделана против него ужасная гадость. Гадость ветвилась, пустила корни. Теперь даже те, кого всегда считал своими врагами, даже сама непрестанно преследовавшая его судьба имели еще и другую, скрытую причину сделать ему зло. Он не огорчался, что Мартынов лишил его удовольствия встречи. Мартынов — пошлый дурак. Мартынова он презирал. Раньше он просто бы объяснил себе причину: от глупой чванливости, и удовлетворился бы этим. Теперь он не мог допустить и мысли, что Мартынов отказался от встречи не настроенный чем-то или кем-то со стороны против него.

Утром — он постарался скрыть это и от Столыпина — отправился к источнику с определенным, если не единственным только желанием встретить его.

У источника — он все-таки подивился, хоть и на мгновение только,— он увидел Надежду Федоровну. Она сидела на самом солнце возле ванного домика с книжкой в руках. Очевидно, это было предписано врачом.

Она не вскрикнула от неожиданности или удивления, не смутилась и не покраснела, только глаза раскрывались так медленно, что ему показалось — ей дурно. Обмолвился, будто нечаянно, но с горькой усмешкой и иронически:

— Все — как и в прошлом году. Как будто я и не уезжал из Пятигорска.

У ней перестали раскрываться глаза, она наклонила голову, засмеялась тихим, беззвучным смехом.

— Нет только той француженки, которой я была обязана столькими счастливыми минутами.

— Не говорите вздору! — перебил он резко.— Это может вас лишить их навсегда и в будущем... Если только вы на них еще надеетесь, конечно.

Она сразу перестала смеяться, на лице осталась улыбка, пустая, противно-виноватая. По улыбке понял, что он ее ненавидит, ненавидел и тогда, в прошлом году, не ненавидеть не может.

— Ну, как вам здесь? Скучаете? Кто новый любовник? Хорош?

Она опять опустила глаза, прошептала едва слышно:

— Как вам не стыдно? Я ничего вам не сделала.

Он продолжал тем же тоном:

— Вы так и не уехали отсюда?

— Нет, зиму я провела в Саратовской губернии у родственников мужа. Сейчас доктора опять отправили меня к водам.

— А ваш сын? С вами? Здесь?

Она еще ниже опустила голову. Лермонтов едва смог разобрать ответ:

— Нет, он у Самсонова в Петербурге.

Лермонтов покачал головой, прищурившись, вполголоса проговорил:

— Чуднó, чуднó!

Он почувствовал, что ее рука касается его руки нерешительным, робким, осторожным касанием.

— Миша,— это было сказано просто и человечно. Он этим тронулся.— Миша, ведь я не ищу твоей любви. Я знаю, что ты меня презираешь. Ну, что ж, презирай, делай что хочешь, только...

Она вдруг остановилась, словно у ней закружилась голова, откинулась на спинку скамейки. Он едва-едва разобрал среди задыхающегося шепота:

— Мне можно сегодня прийти к тебе?

— Я еще не устроился, не знаю — останусь ли в городе. Устроюсь, пришлю сказать. Кстати, а ты где живешь теперь?

Она назвала фамилию владельца дома. Похоже, что он не слышал. Двое военных и штатский, махая еще издали руками, спешили к нему.

— Лермонтов! Лермонтов! Ты как сюда попал?

Он даже не попрощался с ней, кинувшись им навстречу. С обеих сторон посыпались вопросы:

— Как же тебе удалось?

— А вы-то как? По какому праву бездельничаете?

— Ты знаешь, Глебов привезен сюда. Он тяжело ранен, бедняжка.

— А еще кто здесь?

— Бенкендорф, Левушка Пушкин, Зельмиц, словом, здесь нас целая банда. Теперь тут прелестно. Есть такие милые дома, где всегда и так хорошо принимают. Но ты-то, ты-то как сюда выбрался?

Лермонтов всей своею фигурой постарался изобразить сплошное недоуменье.

— Еду я, братцы, в отряд со строгим предписанием — от полка никуда,— словно раздумывая, проговорил он.— И вот видите... Свернул с Георгиевской...

Дальше он был уже не в состоянии сдерживать душившего его смеха, расхохотался неистово и заразительно. Когда порядком посмеялись и порадовались неожиданному прибытию его в Пятигорск, один из компании сказал:

— Лермонтов, слушай, мы все живем вместе: Васильчиков, Глебов и я. У нас огромная квартира. Перебирайся-ка к нам. Ты где остановился? Ну что, брат, в гостинице тебе делать! С тобой Столыпин? Ну, что ж, и для него место найдется, мы прекрасно вас обоих устроим. Ведь ты же не скоро отсюда уедешь, не ври, пожалуйста. Ты же ведь мастер на такие штуки.

— Мастер-то мастер, а что выйдет — неизвестно. Признаться вам, братцы, ехать охоты никакой.

— Постой, постой! Куда ты?

— Погодите. Тут мне нужно с Мартышкой по одному делу изъясниться.

По площадке медленным чванливым шагом шел Мартынов. Видимо, он направлялся к ним, но, заметив Лермонтова, резко повернул в сторону.

Лермонтов, кивнув головой приятелям, бросился к нему. На лице была самая искренняя радость и даже восторг.

— Мартышка! Мартынов! Николай Соломонович!

Тот обернулся, сделал строгое и страшно достойное лицо, мгновенье колебался остановиться.

Лермонтов подошел к нему.

— Что с тобою, дружище? Ты что, решил не знаться, что ли, со мною?

Мартынов сдержанно кивнул головой, но руки не протянул.

— Я надеялся, из моего вчерашнего ответа вам все

будет ясно,— сухо проговорил Мартынов, выпячивая грудь вперед.

— Вам?! Вы?! Все ясно?! Что за чепуха?! Ничего не понимаю.

Лермонтов говорил с такой неподдельной веселостью, вся внешность его дышала таким дружеством и сердечностью, что Мартынов поколебался.

— Я не знаю, вы... или ты, ну, да это не важно. Словом, ты, Лермонтов, умнее меня, меня ты можешь одурачить. Но все-таки сейчас я готов поверить в искренность твоих чувств. Если действительно нет ничего,— последнее он подчеркнул,— то объяснись.

Лермонтов весело расхохотался.

— Ну как же объясниться, когда сам говоришь: ничего нет. Ну и чудак же ты, Мартышка. Я просто ума не приложу, что взбрело тебе в голову. У нас с тобой даже женщины общей не было, чтоб ты мог меня ревновать задним числом.

Мартынов вспылил:

— Ваших плоских шуток выслушивать я не намерен. Я говорю серьезно. Раз я прошу объяснений, значит, у меня есть к тому основания.

Лермонтов посмотрел на него прищуренным, презирающим взглядом.

— За один такой тон, господин Мартынов, я должен был бы пригласить вас к барьеру. Но я так легко не швыряюсь добрыми отношениями. В чем дело? Я никогда ничего против тебя не имел, ничего не предпринимал, ничем, даже за глаза, не обидел...

— А письмо?

— Какое? Я никогда к тебе не писал.

— Письмо, которое ты взялся доставить от моих родителей ко мне. Это было четыре года назад.

В памяти неясной, обрывочной картиной промелькнула изба под Москвой, сетка дождя, занавесившая дали, дерзкая самовлюбленная юность.

Невольный вздох едва не вырвался у Лермонтова. Злополучное письмо украли вместе с шкатулкой, с кинжалом и с шашкой в Тамани. «И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восемнадцатилетняя девушка чуть не утопила! Это уже не юность. Ее словно тоже украли тогда».

Лермонтов усмехнулся.

— Ну и что же, письмо? Не украл же я его, в самом деле. Я уговорил тогда тебя принять мои собственные

деньги, потому что у меня это письмо украли вместе с чемоданом. Ну каких тебе еще нужно объяснений? Если тебе кажется мало и этих, то теперь уж я буду спрашивать у тебя, но других и в другом месте.

Мартынов как будто смутился.

— Постой, постой, Лермонтов, ты не горячись, пойми же и меня. Я могу показать тебе письмо отца. Я написал им тогда, что ты заставил взять твои деньги, потому что у тебя в дороге украли письмо. На это отец мне написал, что, вложив в письмо деньги, он ничего тебе не сказал об этом, следовательно, знать о деньгах ты не мог, и вдруг ты их мне возвращаешь. Ну, скажи, что же я должен подумать в таком случае?

Лермонтов посмотрел на него с сожалеющей улыбкой.

— Дурак ты, Мартышка,— вот что я тебе скажу. Если бы я заподозрил, что кто-то распечатал и прочел принадлежащее мне письмо, я сделал бы так, что этот человек навсегда потерял бы имя порядочного, а не стал бы требовать у него объяснений. Если же я считал бы этого человека своим другом, то я просто пришел бы к нему и спросил: «Скажи мне, каким образом ты узнал, что в конверте были деньги?» А ты вместо этого сделал страшно достойное лицо и получил за это «дурака». Ну хочешь, я тебе расскажу, как это было, хотя я вовсе и не обязан это объяснять? — он хотел сказать, с усмешкой бросить Мартынову: «Об этой краже будут знать поколения и не усомнятся в ней». Мартынов смотрел на него с таким пустым и напыщенным видом, ему стало противно: не Мартынову же рассказать про Тамань? «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности».

Мартынов как будто все еще ждал объяснения. Лермонтов засмеялся. С самым серьезным видом,— насмешливый огонек только не пропадал в глазах,— заговорил: «Письмо у меня действительно украли. Оно пропало вместе с портфелем, в котором лежало. Через несколько дней как-то обнаружилось, что украл портфель мой же крепостной человек. Деньги, разумеется, у него были целы, но все письма, как мои, так и чужие, которые были у меня, он, дурак, уничтожил. Что мне нужно было делать в таком случае? Сдать его в первом же городе властям? Но он у меня давно, привык к моим требованиям, и я привык к нему. Мой эгоизм пересилил в этом случае гнев, я только пообещался, что в следующий раз отдам его в

солдаты. Кажется, даже и вообще он остался без наказания, потому что в дороге я скоро, признаться, и совсем позабыл об этом. В портфеле моих денег не было, в других письмах, я знал, тоже. Следовательно, те триста рублей, которые оказались у моего Андрюшки, должны были принадлежать тебе. Что же мне было — присвоить чужие деньги? Рассказать тебе всю историю — все равно это ничему бы не помогло; сказал: украли, и действительно украли. Ну, что ты еще хочешь? Прислать тебе Андрюшку, чтобы ты наказал его по своему усмотрению? Хочешь, я пришлю?

Мартынов с минуту как бы соображал, как надо ему поступить.

— Ну, извини меня, Мишель,— наконец с трудом выговорил он и попробовал улыбнуться. Улыбка не вышла: похоже было, что пустая и противно-виноватая, такая же, какой улыбалась полчаса тому назад Надежда Федоровна, пыталась и не могла она пристать к его лицу.

X

С мая по сентябрь месяц крохотный уездный город делавшейся тогда год от году все необъятнее Ставропольской губернии наполнялся приезжими, «некавказскими» людьми.

Комфортабельные, как дома, дормезы, старомодные рыдваны, спорившие с первыми громоздкостью и емкостью, тарантасы и брички, собственные и казенные (от Ставрополя к Пятигорску раз в неделю ходил почтовый дилижанс), везли сюда чающих найти исцеление от действительных или мнимых болезней у «горячих и кислых» кавказских вод.

Съезжались и столичные, всегда и всему задававшие тон, богатые баре; приезжали и помещики, руки совсем средней, и вовсе одичавшие в медвежьих углах каких-нибудь степных губерний — приезжали с целыми обозами разного скарба, со штатом своей домашней прислуги; приезжали и совсем налегке в невзыскательной надежде на комфорт казенного «дома для приезжих». В городе становилось тесно от многолюдства. На бульваре по вечерам играл оркестр полковой музыки. Солдаты инвалидной команды, приставленные к ваннам, с раннего утра грели в огромных деревянных самоварах воду для купающихся. В местной ресторации на столах появлялись

чистые скатерти, содержатель поднимал цены на кушанья и номера. Город оживал.

Водяное общество собиралось по утрам у источника. Одни шли сюда принимать предписанные ванны, другие искать интересных встреч и знакомств. В надежде на встречи и знакомства стремились сюда с Линии — то есть из действующих отрядов — в отпуск и на лечение больные и здоровые офицеры. Подцепить жениха завозили сюда своих перезревших дочек заботливые провинциальные мамаши. Заводились знакомства у источника. На балах, время от времени устраивавшихся в местной ресторации, они закреплялись. Приемами составляли себе репутацию интересных домов, ибо многим из приезжих средства позволяли и на водах жить широко и открыто. Целыми кавалькадами, целыми поездами экипажей выезжали на пикники за город, к «живописным местам». Военной молодежи, слетавшейся сюда, скучать было некогда. Балы, пикники; утром встречи и ухаживания за хорошенькими приезжими; вечером — ресторация, ибо с легкой руки бывших гвардейцев (а их среди этой самой молодежи было чуть ли не большинство) здесь процветали нравы столичных трактиров; ночью — казино, и там игра, ради которой даже матерые картежники не ленились приезжать сюда из столицы. За Подкумком, в слободке, к которой тогда только еще начинало прививаться название Горячеводской,— солдатки.

Кругом Кавказ бушевал в войне, горел пожарами выжигаемых дотла аулов.

Врубаясь просеками в леса, с боями, с жестокими сечами наступали на непокорные области русские войска. Дорогу их выстилали трупы. В гарнизонах и крепостных «гошпиталях» гнили и умирали от ран эриванские гренадеры, кубанские егеря, апшеронские, ширванские, тенгинские стрелки — тамбовские, рязанские, симбирские, московские и еще бог знает какие русские мужики. Из сожженных аулов в горы, на еще более недоступные вершины, уходили чеченцы и адыгеи — женщины, старики, дети. В плен их не брали: топили в реках, вешали на валах вновь отстроенных и строящихся крепостей. Немногих в кандалах увозили в Россию заложниками. Пепелищем сожженных аулов и осьмиконечными крестами братских могил колонизировала Кавказ Россия.

На «воды» съезжались веселиться.

Май доцветал душными, терявшими влажность запахами, день ото дня становился нестерпимее палящий сол-

нечный жар, уже начинала подсыхать зелень и съезд был в полном разгаре, когда Лермонтов со Столыпиным прибыли в Пятигорск.

Этот первый день пребывания здесь, две одинаково утомившие бесплодною скукою встречи словно вынули из Лермонтова весь запас бодрости и веселья.

Расставшись с Мартыновым, он торопливо — точно боялся, что им снова завладеют приятели,— зашагал прочь с бульвара. Голова глубоко вошла в плечи, опущен был взгляд и больше обыкновенного сутулилась на этот раз его приземистая фигура.

Навстречу попадались расфранченные, собравшиеся к источнику курсовые. Внимательными и удивленными взглядами они встречали новое лицо.

Проходя мимо, Лермонтов еще ниже опускал голову. Ему было неловко и даже как бы стыдно встретиться с ними взглядом,— неловко за них. Это беспокойное чувство — смутного стыда и неловкости — появлялось при одной мысли об их самозабвенном убеждении в значительности их собственного существования.

Несмотря на ранний час, уже ощутимой становилась жара, и от этой жары, как сюртук, ставший тяжелым и словно обжигающим, по какой-то странной похожести — жизнь казалась толстой, навалившейся железной проволокой. Проволока изогнулась неправильными тупыми углами. Металл не поддавался усилиям, проволока скользила в потных ладонях и не выпрямлялась.

В гостиницу вернулся он мрачный и неразговорчивый. Столыпин, привыкший к странностям своего кузена, не стал расспрашивать о причинах.

— Ну что же, Мишель, когда мы будем являться начальству? Я тебя давно уже дожидаюсь.

— А ты готов уже? Хорошо. Я сейчас, в два счета переоденусь.

И он пошел в свой номер.

В коридоре к нему подкатился Найтаки. Он, очевидно, ожидал его выхода.

— Михаил Юрьевич,— зашептал Найтаки, склоняясь к его уху,— есть человек. Я нашел тебе, вот он стоит. Он все может. У коменданта писарем служит. Он и к военному доктору уже сбегал, такое слово шепнул, что теперь как хочешь живи, все равно больной будешь.

И Найтаки выразительно посучил пальцами, намекая на небескорыстие сговорчивого доктора.

Лермонтов усмехнулся, похлопал по плечу суетившегося около него Найтаки.

— Ты-то что стараешься? И откуда узнал, что мне докторское свидетельство понадобится?

— А кто же мне-то, Михаил Юрьевич, торговлю делать будет, если вас на водах не оставят. Вы да Алексей Аркадьевич, не будь вас, и гостиницы держать бы не стал.

Лермонтов его уже не слушал. С безучастным видом кивнул он головой приведенному Найтаки писарю — «входи», с таким же безучастием и равнодушием отозвался на осторожный вопрос последнего:

— Рапорток прикажете начернить, ваше благородие, господину коменданту, чтобы он перед отрядным дежурством походатайствовал?

— Пиши. Ты лучше моего знаешь, что требуется.

— Будьте покойны, ваше благородие, все в лучшем виде сделаю. Я и у ординатора военного госпиталя уже побывал...— тут голос писаря оборвался, перешел в не очень уверенный.— Конечно, так не обошлось, пришлось задарить немножечко. Я уж из своих, ваше благородие, решился. Согласен доктор-то...

— Ладно,— досадливо морщась, перебил его Лермонтов.— В убытке не останешься.

Наемный камердинер, рослый гуриец, раскладывал на стульях принадлежности парадной одежды.

— Живей, Саникидзе, нечего возиться,— по-прежнему хмурясь, заторопил его Лермонтов.— Одеваться надо. Мне некогда.

Через пять минут, затянутый в парадный мундир, он вышел к Столыпину. Тот ждал его уже с фуражкой в руке (по нахождению в полосе военных действий к парадной форме полагалась фуражка).

— Вот, Алексис, я тут писаря какого-то комендантского добыл. Он нам с тобой рапорта настрочил. Кстати, кажется, и военному лекарю успел уже взятку сунуть. Свидетельствоваться будем не задаром.

Столыпин с удивлением посмотрел на его словно удрученное чем-то лицо.

Поймав этот взгляд, Лермонтов поспешил восклицанием предупредить вопрос кузена:

— Противно, Алеша, противно! Решительно противно! Неужели все это стоит того, чтобы таскаться по жаре в мундирах, школьничать, выпрашивая себе разрешение остаться, давать через писарей взятки докторам с той же целью, и так далее, и в том же роде. Скучно!

— Но ведь ты же сам заставил меня свернуть с дороги.

— Сам! — Он криво усмехнулся.— А вот сейчас мне так скучно стало...

Он вздохом прервал себя:

— Ну, пойдем: делать нечего, если собрались.

У коменданта их долго держали в приемной. Дежурный плац-адъютант пропадал целую вечность с докладом. Наконец появился, распахнул дверь.

— Пожалуйте, господа, вас просят.

У коменданта, в сущности, добрейшего и бесхарактернейшего старика Ильяшенкова, был преувеличенно строгий вид, когда они вошли в кабинет.

— Здравствуйте, господа,— приветствовал он их сурово.— Зачем и надолго ли пожаловали?

— Болезнь загнала, господин полковник,— начал было Лермонтов, но комендант, неукоснительно выполняя роль строгого начальника, немедленно перебил:

— Позвольте...— и потом с жестом в сторону Столыпина: — Вы — старший. Отвечайте.

Столыпин обстоятельно и спокойно объяснил причину прибытия и подал рапорт, составленный опытным в таких делах писарем. Его примеру последовал Лермонтов.

Полковник долго рассматривал рапорта, сердито морщил лоб и хмурил брови. Наконец протянул их дежурившему у стола плац-адъютанту.

— Представим в штаб: что с ними делать, не высылать же в полк, если больны. А вам, господа,— комендант с начальственной строгостью повернулся в сторону Лермонтова и Столыпина,— придется все же освидетельствоваться в нашем госпитале. Слово офицерское — словом: не верить не смею, а служба — служба: форму соблюсти обязан. Так что извините. Ну, вот. До ответа из штаба оставайтесь; только с уговором: не шалить и не бедокурить. В противном случае вышлю в полк, так и знайте.

— Больным не до шалостей, господин полковник,— с поклоном ответил Столыпин.

— Бедокурить не будем, а повеселиться немножко, господин полковник, все же позвольте,— с едва заметной улыбкой, но соблюдая и голосом и позой необходимую почтительность, промолвил Лермонтов.— Иначе тут со скуки сдохнешь, и вам же придется нас хоронить.

— Тьфу, тьфу! — отплюнулся Ильяшенков.— По-

хорон я, батенька мой, терпеть не могу! Вот если бы один из вас здесь женился, то на свадьбу я пришел бы обязательно...

В глазах Лермонтова пробежала живая усмешка, и, заметив ее, облегченно и радостно улыбнулся Столыпин: лицо его кузена снова приняло проказливое и беззаботное выражение, с ним рядом стоял неисправимый шалун Маешка.

— Что вы говорите, господин полковник! Жениться!.. Тьфу! Тьфу! — неуловимо, но поразительно похоже подражая и жесту и голосу коменданта, воскликнул Лермонтов.

— Ну вот, ну вот. Я же знал, вас к рукам так скоро еще не приберешь,— уже совершенно добродушно засмеялся Ильяшенков.— Идите, господа, идите. И не благодарите! Там еще что бог даст, видно будет. Может, в штабе-то вам еще и не разрешат оставаться.

— А вы походатайствуйте, господин полковник, вам они не откажут...

— Ну ладно, ладно!

Они откланялись. Аудиенция кончилась. В канцелярии, где им писались сопроводительные бумажки в госпиталь, к ним подошел высокий человек в штатском.

— Осмелюсь предложить услуги. Местный домовладелец Чиляев. Будучи наслышан от князя Александра Ларионовича, что вы, господа, нуждаетесь в квартире, решаюсь предложить остающийся у меня свободным флигель.

— Да, князь Васильчиков говорил мне о нем. Они ведь у вас в доме проживают?

— Так точно-с, у меня-с.

— Ну, что ж, Столыпин, зайдем, посмотрим. Только после обеда, сейчас устал. После обеда мы будем у вас, господин Чиляев. Будьте здоровы.

И сейчас же заторопил Столыпина скорее вернуться в гостиницу.

— Что с тобою сегодня, Миша? Тебе словно все не по себе? — тревожась опять наступившей переменой, спросил Столыпин.

— Устал,— было лаконическим и безразличным ответом.

После обеда они смотрели предложенное им жилище.

Одноэтажный в три окна низенький домик стоял во дворе за большим домом. Снаружи он походил на жилище какого-нибудь отставного солдата на окраинной

слободке. Глиняные выбеленные стены, тростником крытая крыша, шаткое в две ступеньки крыльцо, маленький балкончик. В крохотном саду, примыкавшем к домику, густо разрослись кусты акации и черешни. Пустынный двор был чисто подметен.

Внутри дома все соответствовало его наружной скромности. В низких комнатах потолки были положены прямо на балки и выбелены мелом, стены были оклеены простою бумагой, домашним способом раскрашенною в разные цвета. Мебель тоже простая, крашенная масляною краской.

Лермонтов, не замечая или не желая смотреть на эту жалкую обстановку, как будто это его не касалось, прошел на балкончик.

Вечер уже к самой земле пригибал пьяные и сладкие весенние запахи. Белоснежным дождем осыпались отцветающие черешни. Как переполненный грустью взор, тихим, глубоким сиянием наливалось синее небо. И поддаваясь этому вечеровому обаянию, словно заражаясь этой вечерней неподвижной тишиной, безмолвно замер в кресле Лермонтов. На лице играла умиротворенная улыбка.

— Ну, что, Мишель? Тебе нравится? — окликнул его из комнаты Столыпин.

— Ничего,— устало и неохотно отозвался он.— Здесь будет удобно... Дай задаток.

Из комнат доносился разговор. Он раздражал, как надоедливые мухи.

— Сколько вы хотите за этот флигель, господин Чиляев? — спрашивал Столыпин.

— Сто рублей серебром-с за весь сезон-с,— с поспешностью отозвался Чиляев и тотчас же искательно прибавил: — Задаточек я с князя Александра Ларионыча получил за три месяца.

— Вот извольте получить все сто рублей. Расписку? Это как-нибудь потом принесете,— слышал еще Лермонтов.

Потом голоса смолкли. По двору мягко прошуршали по траве шаги Чиляева. Слышно было, как по комнатам расхаживал Столыпин. Лермонтова теперь никто не тревожил.

— Миша, я прикажу людям, чтобы доставили наши вещи. Хорошо?

Он не ответил.

Скоро шаги Столыпина смолкли. И дом, и сад, и чис-

тенький дворик погрузились в ничем не тревожимую тишину. В тишине Лермонтову казалось, что он слышит шаг собственных мыслей. Они, как стихи, шуршали шумом приближающегося весеннего дождя. Может быть, это и были стихи. Мысли упирались и отскакивали от влажного и томящего, как весенний запах, одного короткого «невозможно». Гибкое и влажное, оно не давалось им. Порой оно казалось невесомым и пустым, как этот опавший черешневый цвет, и, как эти легкие, упорно белевшие на темной зелени лепестки, не пропадало ни на мгновение, не скрывалось от мысленного взора. Шаг мыслей делался четче и строже. Казалось, мысли, как ветки, с напевным жужжанием, начинают плавно раскачиваться, обгонять свой прежний шум. Он закрыл глаза.

Дремота и истома овладели сразу. Потом сон глухим и дремучим лесом обступил его. В лесу надоедливо стучал по листве упорно не перестающий дождь. Он упал на сырую землю. Кто-то набросил на него мокрую тяжелую шинель. Дождь забарабанил по ней. Он хотел крикнуть: «Не оставляйте!..» Кто-то — он и во сне узнал по голосу конногвардейца Глебова — крикнул отказывающе: «Пора!» Из последних сил попробовал сбросить с себя тяжелую шинель и... проснулся.

В доме шумели голоса. Уже совсем стемнело.

— Маешка, да где ты спрятался, откликнись! — звенел по комнатам голос Глебова.

— Здесь, сейчас иду! Я заснул, братцы! — со смехом откликнулся Лермонтов и потягиваясь поднялся с кресла.

На столах уже появились свечи. Слуги распаковывали и расставляли привезенные вещи. Шумная компания давних пятигорских и столичных приятелей окружила его.

— Маешка, вот медведь — он спит, когда его по всему городу разыскивают.

— На что он вам понадобился? — весело отвечал Лермонтов.— Соскучились?

— Еще бы не соскучиться. Да и не мы только. Мы за тобой. Пойдем к грациям.

— Это что еще за грации?

— Это — Верзилины. Теперь они будут твои соседи. Вот этот дом. У них во флигеле сейчас квартируют и Глебов, и Мартынов, и Раевский. Вот этот флигелек, прямо против твоих окон. Ну, собирайся же. Там без тебя нам не велели и показываться.

— Да постойте, дайте человеку хоть проснуться как следует. Шашлыки приказать, что ли, изготовить? Нужно бы кахетинским встречу-то вспрыснуть.

— Потом, потом. Сейчас идем к грациям. Некогда. Там уже ждут.

— А почему они, позвольте, грации?

— Отец их так зовет. Три сестры. Все три премиленькие.

— Мартышка в старшую влюблен по уши.

— Ладно. Это, друзья, мы разберемся потом. А сейчас...

И, проведя по лицу, по волосам, словно срывая с себя какую-то маску, ударил в ладоши:

— Вертюков! Саникидзе! Где вы, черт бы вас побрал! Игристого! Игристого скорее! Встречу вспрыснуть! Скорее, дьяволы!

На мгновенье, словно от внезапно налетевшей мысли, замер неподвижно.

— Итак, друзья...

Молчавший до сих пор и, очевидно, все еще дувшийся после утренней встречи Мартынов, пытаясь чем-то съязвить, подхватил:

— Веселая... Итак, веселая пятигорская жизнь началась.

— Да, да, началась. За веселую пятигорскую жизнь, друзья!

XI

Июль накапливал грозы. По ночам испуганно метавшиеся зарницы с громовым треском раздирали пополам небо. Днями ползли тяжелые свинцовые тучи, далеко в горах гремел гром. Грозы ждали каждый день. Но горячий, как из печки, ветер упорно тянул с собою тучи; скрываясь за горами, они ползли на горизонт, земля и зелень задыхались и темнели от зноя. От духоты и жары люди не находили себе места. Даже ночью трудно было ходить,— так сомнительна была ее прохлада.

Лермонтов, как возвратился домой в первом часу, так сейчас же разделся и лег в постель. Окно было открыто. Во флигеле напротив, где жили Мартынов, Глебов и Васильчиков, был свет. На белой занавеске, как на экране, метался, вздрагивал,— то воспрянет, то опять упадет,— абрис человеческой головы. Через открытые окна

до слуха Лермонтова долетали голоса. Говорил Мартынов, Глебов только иногда, перебивая его, задавал вопрос о том или другом.

— Ты понимаешь,— захлебывался возмущением голос Мартынова,— с самого своего приезда в Пятигорск он не пропускал ни одного случая, где бы он мог сказать мне что-нибудь неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счет, одним словом, все, чем можно досадить человеку, не касаясь его чести. Я показывал ему,— ты знаешь,— показывал, как умел, что вовсе не намерен служить мишенью для его ума, но он делал, как будто не замечает, как я принимаю его шутки. Недели три тому назад, во время его болезни, я говорил с ним об этом откровенно, просил его перестать, и хотя он не обещал мне ничего, отшучиваясь и предлагая мне, в свою очередь, чтоб я над ним смеялся, но действительно перестал на некоторое время. Потом взялся опять. Сегодня ты слышал этот глупейший бестактный выпад у Верзилина, в то время, когда Трубецкой играл на рояле?

В голосе Мартынова просочилась горечь самой настоящей обиды.

— Нет, не слыхал,— сказал Глебов,— а что?

— Ну, то же самое, в чем он всегда изощряет свое остроумие, что изображает в своих глупейших карикатурах на меня, что рассказывает в дурацких своих анекдотах. Когда мы вышли, я удержал его за руку,— вы все были уже впереди, мы отстали, и тут я сказал ему, что я и прежде просил прекратить эти несносные для меня шутки, но что теперь предупреждаю, что если бы он еще вздумал выбрать меня предметом для своей остроты, то я заставлю его перестать. Он не давал мне кончить и повторял несколько раз сряду, что ему тон моей проповеди не нравится, что я не могу запретить ему говорить про меня то, что он хочет, и в довершение прибавил...

Мартынов тяжело перевел дыхание.

— Ну и что же? Что он такое прибавил? — раздался нетерпеливый голос Васильчикова.

— Я ему сказал, что в таком случае я пришлю к нему своего секунданта. Вот затем я и послал попросить тебя ко мне.

— Это чепуха,— не слушая его, сказал Глебов.

— Правильно! Совершенно правильно! Ты иначе и не мог поступить! — Лермонтову показалось, даже обрадованно воскликнул Васильчиков.

— Да как же, князинька, ты посуди сам,— спешил словно оправдаться Мартынов.— Ты же знаешь, какое у нас с ним произошло объяснение в первый день приезда.

— Нет, не знаю. Какое? — почему-то встревоженно и быстро спросил Васильчиков.

Заговорил Мартынов, разом понизив голос. Слов нельзя было разобрать. Потом опять говорил так же тихо Васильчиков. Голоса Глебова не было слышно совсем. Потом наступила пауза, что-то сказал Мартынов, Васильчиков протестующе и громко сказал:

— Нет, мне-то как раз и неудобно быть у тебя секундантом. Кажется, кто-то уже наговорил ему, что я подбивал против него Месановича. Ты понимаешь, если я заявлюсь от твоего имени... Пускай лучше Глебов.

На этот раз отозвался и Глебов:

— Это совершенная чепуха! Тебе драться с Лермонтовым: из-за чего? Ты же знаешь, каков он,— тут его голос стал тише.— Он никого не может видеть спокойно. Разве над нами он не смеется? Над любым из нас? А в сущности, ты же знаешь, какой это прекрасный товарищ. Неужели нужно, чтобы из-за этой глупейшей вашей ссоры разбилась наша дружеская компания, чтобы вместо веселого и приятного отдыха мы все разъехались с самыми неприятными воспоминаниями? И потом, я не понимаю, чем он так затронул твою честь, чтобы не видеть другого выхода.

Его перебил Васильчиков:

— Ты же из его собственных слов можешь видеть, что в сущности не Мартынов его вызывает, но он вызывает Мартынова. Неужели после этого Николай еще должен первый делать шаги к примирению...

Дальше Лермонтов слушать не стал. «Так, князь-умник, теперь я понимаю, кому это нужно, чтоб я дрался на дуэли, однако я похитрее вас». В темноте он соскользнул с кровати, накинул на плечи халат и вышел за дверь.

В коридоре растолкал спавшего на ларе слугу.

— Ступай сейчас к князю Васильчикову, скажи, что я его прошу прийти ко мне сейчас же. Понял? Сейчас же, он мне очень нужен, так и скажи.

Через пять минут Васильчиков был уже у него.

— Князь, извини, я тебя побеспокоил, и вот по какому делу. Господин Мартынов вздумал читать мне проповеди о том, как я должен вести себя. Я сказал ему, что, если мое поведение ему не нравится, он может поступать

как ему угодно, но слушать его дальше я не намерен. Тогда он сказал, что пришлет секунданта. Вот, князь, я и послал за тобою, думаю, что ты не откажешь мне в чести быть моим.

Васильчиков посмотрел на него удивленно.

— Ну да, в чести быть моим поверенным. Что ты так смотришь? Не шутил же я, в самом деле, указывая ему такой выход. Врачи свидетельствуют мои болезни, начальство требует прибыть к полку, а тут еще этот дурак со своей фанаберией. Будь добр, избавь меня хоть от этих бесполезных и утомительных разговоров.

— Ну, это-то мы уладим, быстро вас примирим,— весело заявил Васильчиков.

— Нет, нет, князь, об этом довольно. Если ты оказываешь мне эту честь, то сговорись с тем, кого заблагорассудится выбрать Мартынову, я заранее согласен на любые условия. Только сейчас и вообще до самого поединка и перед поединком тоже не приставайте и не надоедайте мне. А сейчас я смертельно хочу спать,— он зевнул.— Ты уж извини меня, князенька. А за то, что не ломался и был умником, разных глупостей не наговорил,— спасибо.

Как только затихли на дворе шаги Васильчикова, Лермонтов встал и прошел в соседнюю комнату. Столыпин еще не спал. Лежал в постели с книжкой, впрочем, кажется, ее не читая. Нагоревшая свечка коптила.

— Ты что? — тихо спросил он Лермонтова.

— Понимаешь, я совершенно изнемог от этой духоты. Вообще я не могу переносить предгрозье. Ох, разразилась бы, что ли, наконец гроза, а то полыхает, полыхает, и все без толку.

— Зачем ты сейчас звал к себе Васильчикова? — спросил, посмотрев ему в глаза, Столыпин.

— А,— Лермонтов досадливо махнул рукой,— глупость какая-то. Мартынов, кажется, собирается послать мне вызов. По правде говоря, я даже рад тому. Надоел он мне, как хвост собаке. Кажется, он всерьез вообразил, что я подсмеиваюсь над ним, уязвленный его успехами. Сейчас после Верзилиных он вздумал мне читать наставления. Понимаешь, это уже походит на то, что он думает — я спущу и это.

Столыпин улыбнулся, немного подумал и сказал:

— Да, пожалуй, проучить не мешает. Это невыносимо, когда дурак делается заносчивым. Дуэль, разумеется, кончится у вас ничем, а ему все же будет урок

на будущее. А почему ты меня не позвал в секунданты?

— Я думал, Алеша, но раз дело доходит до поединка, неприятности будут непременно. А на тебя и так царь уже довольно сердит. Ну, я и решил не впутывать тебя в историю. Во всяком случае, если что — с Васильчикова не в пример меньше взыщется, чем с тебя...

Лермонтов посмотрел на Столыпина, и тот посмотрел на него. Улыбка, ласковая и заботливая, скользнула одновременно по лицам обоих.

— Ты бы, Маеша, велел дать себе вина. Это помогает от духоты, и спать будешь лучше,— с нежностью глядя на него, сказал Столыпин.

Лермонтов только махнул рукой.

— Ничто не поможет. Если б разразилась гроза... Я даже сказать тебе не могу, как я жду эту грозу.

Они еще с полчаса проговорили друг с другом о разных предметах. Ничто и никак не относилось в этих разговорах к предстоящей дуэли. Казалось, оба об ней и забыли.

Наутро — Лермонтов еще был в постели — явились Васильчиков с Глебовым. Только для виду, как показалось Лермонтову, они попытались склонить его к примирению. Он рассердился.

— Я сказал вчера Александру, чего я хочу от того. Нет,— будем драться.

— Но ты же этим еще больше задеваешь его честь.

— Э, что он понимает в чести, кроме того, чему его выучили?! А я его переучу. Поняли? Хотите заняться сами? Пожалуйста, на отсрочку я согласен. Сегодня же уезжаю в Железноводск, и до пятнадцатого вы можете образумлять его, как хотите: целых два дня в вашем распоряжении. Пятнадцатого же я буду утром. Назначить час и место — ваше дело.

...Пятнадцатого рано утром он был в Пятигорске. Оба секунданта, казалось, имели огорченный и расстроенный вид. Мартынов, по их словам, решительно отказывался от примирения.

Лермонтов рассмеялся:

— Ладно, согласен на любые условия. Я уже раньше сказал. Ну, значит, слава богу, с этим делом покончено. Довольно, до шести часов есть еще время, и его нужно использовать. Я захирел совсем в Железноводске. Скучища там адская.

Глебов посмотрел на него и сокрушенно сказал:

— Эх, Лермонтов, напрасно ты это. Все равно поеди-

нок так ничем и не кончится, а себя ты подводишь. И так на тебя все зубы точат.

— Это еще мы посмотрим: кончится ли он ничем,— сверкнув глазами, сказал Лермонтов.— А что касается до меня, то хуже того, что есть, даже сам царь сделать не сможет. Но довольно об этом. Я голоден, как черт. Пошли подкормиться.

В ресторации собралась вся компания, за исключением Глебова, которому, как секунданту противной стороны, быть с ними вместе было неудобно.

Лермонтов был в таком настроении, в каком его давно уже никто не видел. Его фантазия по части всевозможных дурачеств, шуток над теми, кто только попадал в его поле зрения, была поистине неистощима. В конце концов он так заразил, начинил всех своею веселостью, что смеялись теперь чуть ли не каждому его слову, чуть ли не каждому жесту. Он пододвинул к себе с накрытого стола все тарелки, и всем это показалось очень смешным. Потом по очереди одну за другой он быстро, коротким сухим ударом ударял об голову и ставил на место. Тарелки оставались целы, но на каждой появилась тонкая черта трещины.

Зачем это?

— Погодите — увидите,— ответил с загадочным выражением.

Когда прислуга собрала со стола посуду, Лермонтов приказал Магденко:

— Ты самый расторопный, выйди-ка в сад, посмотри под окном, что делается сейчас на кухне, и скорей доложи нам.

Магденко возвратился, покатываясь со смеху.

Надтреснутые тарелки, как только их опускали в горячую воду, немедленно лопались. В окаренках образовалась груда черепков. Естественно, что на кухне бранили и всячески грозили ни в чем не повинной прислуге. Об этом, к великому веселью собравшихся, и доложил Магденко.

— Надо все-таки пойти возместить хозяину убытки,— сказал Лермонтов, когда взрыв хохота немного утих.

— Стоит ли? — с хитрой усмешкой заметил Магденко.

— Вот, товарищи, с кого пример брать надо. Этот далеко пойдет,— похлопал он по плечу Магденко.

В саду, под кустом отцветающей акации, сидела на скамейке Надежда Федоровна. Он не сразу свернул, что-

бы подойти к ней. Подойдя же, проговорил приветливо и с ласковой улыбкой:

— Ну, вот, как хорошо, что я тебя сейчас встретил. Бывает ведь так: вдруг неизвестно почему захочется во что бы то ни стало увидеть какого-нибудь человека, и только его одного.

Даже в недоверчивости, которая была в ее взгляде, было что-то от умиленья и счастья.

— Я мечтала,— сказала она тихо,— поехать куда-нибудь с тобой вдвоем, где никого не будет. Ведь ты знаешь, с тех пор как приехал ты, я даже нигде, кроме ванн, не бываю, никого не вижу.

— Когда ты хочешь поехать? Сейчас?

— Мне все равно: сейчас ли, завтра. Когда только ты скажешь.

— Сейчас не могу. Да, между прочим, который час?

Была какая-то мысль. Она раздражала своей неотвязчивостью. Что-то нужно сделать, что-то сказать, чтобы унижением этой женщины умерить свою боль и невзгоду. «Но только сейчас, ведь...»

Он вдруг заспешил.

— Сейчас мне нужно ехать. Вечером я пришлю сказать, когда нам встретиться. Ты что думаешь? Обманываю? Нет, нет, вечером ты увидишь.

В шепоте, которым оборвалась фраза, было желание, нежность, тоска. Она вздрогнула, посмотрела почти с испугом, медленный восторг не успел разгореться в глазах.

— Итак, до вечера.

Он наклонился, поцеловал ее руку, встретясь взглядом, улыбнулся кротко и нежно.

Расплатиться с хозяином он пришел на кухню, и вся прислуга с недоумением смотрела на офицера, который совершено серьезно рассказывал, отчего перебились тарелки.

К столу вернулся как будто чем-то обеспокоенный и встревоженный.

— Саша, нам не пора? — обратился он к Васильчикову.

Васильчиков посмотрел на часы.

— Уже шестой.

Лермонтов налил себе бокал.

— Кто за что, а я за то, чтоб наконец разразилась гроза.

На него посмотрели удивленно. Один Столыпин, протягивая свой бокал, сказал с улыбкой:

— За то, чтобы прошла гроза.

Этот бокал Лермонтов пил страшно медленно, рассеянным, отсутствующим взглядом устремясь куда-то вдаль. Вдруг, не допив его до дна, он озабоченно вскочил с места:

— Саша, пошли, пошли.

Васильчиков поднялся из-за стола. Кто-то сказал:

— А как же сегодня будет с Кисловодском?

— Я, может быть...— Лермонтов на мгновение задумался.— Нет, наверное, я сегодня не поеду, не смогу. Прощайте, друзья, желаю веселиться. Пойдем, Васильчиков.

Один Столыпин проводил их до дверей. В дверях, пожимая руку, он вдруг наклонился порывисто, в лоб, в губы поцеловал кузена.

— Маешка, ты чего вдруг опечалился? Мне это не нравится. Сегодня ты ведь обещал Верзилиной старшей,— шепнул ему на ухо.

Он усмехнулся.

— Я просил уже тогда у ней тур вальса, говоря, что это последний раз в жизни. В последний раз она согласилась. Что ж, ты хочешь, чтобы я оказался лжецом?

И еще раз поцеловав Столыпина, быстро пошел за Васильчиковым. Столыпин с грустной улыбкой смотрел им вслед и, только когда красная канаусовая рубашка его кузена скрылась совсем из глаз, вернулся к столу.

— Трубецкой,— шепнул он, занимая свое место.— Мы тоже поедем за ними. Нужно только, чтобы не обратили внимания, переждем немного.

Воздух был душен и раскален, тишина стояла такая, что было слышно, как где-то очень далеко, может, в Горячеводской, стучал топор. С севера из-за Машука ползла чудовищная туча. Тень от нее перекатилась через гору, тяжелая и тоже горячая, дотекала до города. Почти около дома встретился Глебов. Он ехал на мартыновских дрожках и на мартыновской лошади, кучера с ним не было. Приостанавливаясь, он крикнул им озабоченно и деловито:

— Ну, что ж вы? Николай уж давно уехал. Лермонтов, я тебе велел оседлать моего Баязета. Твоя, мне сказали, сегодня хромает.

Лермонтов закивал головой, махнул рукой.

— Поезжай, поезжай. Не беспокойся, мы не задержим.

Во дворе конюхи держали двух оседланных лошадей — Васильчикова и Глебова.

— Ну, Саша, с богом. Надо бы, а мы забыли, по русскому обычаю, посидеть перед дорогой,— улыбнулся Лермонтов, вскакивая в седло.

Выезжая за ворота, Лермонтов, улыбаясь, сказал:

— Дуэль по всем правилам. Даже не захватили доктора. Значит, либо будем сегодня пить мировую, либо...

Он не договорил.

Вступая на край сползшей с горы тени, шарахнулась в сторону лошадь. Он поводом выправил ее. Воздух был налит тяжелым предгрозовым удушьем. Солнце уже касалось края тучи. Косые лучи его стрелами кололи засохший колючий кустарник.

— Термидор.

— Что? — удивленно переспросил Васильчиков.

— Термидор, я говорю. Сегодня по французскому революционному календарю должно быть десятое термидора.

— А что тогда случилось?

Лермонтов пожал плечами.

— Ничего особенного. В пять часов дня десятого термидора в Париже на Гревской площади был обезглавлен Робеспьер.

— А,— протянул Васильчиков.

— Что «а»? Ты, чай, и забыл думать, кто такой Робеспьер.

— Ну вот еще,— обиженно проговорил Васильчиков,— прекрасно помню. Самый добродетельный.

Лермонтов засмеялся.

— Действительно, оказывается, помнишь. Верно, верно, самый добродетельный, который хотел всех сделать добродетельными.

Невдалеке от них послышалось конское ржание. В стороне от дороги стояли дрожки, на которых уехал Глебов, рядом с ними была привязана оседланная лошадь.

— Ну, вот и приехали,— весело сказал Лермонтов, сворачивая с дороги и соскакивая с коня.

Навстречу им из-за кустов вышел Глебов. Он подошел к Васильчикову, таинственно пошептался с ним.

— Ну, что же? — нетерпеливо спросил Лермонтов.

Глебов, одновременно и смущаясь и в то же время стараясь выдержать официальный тон, начал было гово-

рить о возможностях бескровного исхода. Лермонтов раздраженно выругался.

— Да что, в самом деле! Шутки ради, что ли, тащились сюда по такой жаре? Приступайте же.

С вершины горы потянул легонький, едва ощутимый ветерок; Лермонтов рванул, разорвал ворот рубашки, подставил грудь под его дуновение.

Васильчиков подошел к нему, шепнул отрывисто, избегая смотреть в глаза:

— Идем... те.

Он улыбнулся, быстрым и легким шагом прошел за кусты.

На маленькой полянке, еще освещенной косыми лучами солнца, стоял Мартынов. При их появлении он поклонился свысока и церемонно. Лермонтов, оборачиваясь к Васильчикову, спросил глазами и шепотом:

— Здесь?.

— Сейчас узнаем,— отвечал тот растерянно, видимо не зная, что нужно делать, и чувствуя,— что-то делать нужно, иначе все это делается бессмысленным, смешным, а смешным это быть не должно.

Глебов с деловитым видом большими шагами измерял в это время полянку.

— Ничего не выходит,— сказал он, дойдя до крайних кустов,— здесь всего двадцать три шага.

Мартынов с деланно-равнодушным видом пожал плечами.

Лермонтову вспомнилась его улыбка в первую встречу здесь, в Пятигорске, он почувствовал, как в сердце поднимается слепая ко всем и на всех злоба.

«Сегодня прогоню к черту эту рыжую стерву,— подумал он даже с каким-то удовлетворением.— Надоела. Довольно, пора кончить. Вечером же сяду писать».

Глебову он бросил с досадой:

— Ну, чего там еще искать. Идем на дорогу. Там места хватит.

Опять хрустели сухие кусты. Крайняя, привязанная к кустам лошадь, повернув голову, проводила их взглядом. На небе туча совсем закрыла солнце. С земли поднялся тяжелый, неповоротливый ветер. Когда секунданты уже отмерили барьер, отметив его воткнутой в землю веткой, и разводили противников на позиции, вдалеке вдруг послышался стук копыт. Глебов предупреждающе поднял руку. Противники сошли со своих мест. Все напряженно и в молчании смотрели в ту сторону, отку-

да доносился приближающийся конский топот. Из-за поворота показались два скачущих карьером всадника. Мартынов шумно вздохнул. Вероятно, это был вздох облегчения. Васильчиков обрадованно уже кричал:

— Слава богу! Это — Столыпин и Трубецкой! Можно начинать. По местам, господа.

Столыпин и Трубецкой, доскакав, проворно спрыгнули с коней. Глебов рукой показал им, чтобы они не переходили круга. Они отошли к кустам, где были привязаны лошади, остановились, держа своих коней в поводу.

Солнечный свет сгущался и темнел. Ветер снова дохнул едва уловимой прохладой. Лермонтов вдруг почувствовал, как на лоб ему упала крупная дождевая капля. Обрадованно вскинул голову, жадно посмотрел на небо. В воздухе была все та же неподвижная тишина. Васильчиков подал ему пистолет. Он рассеянно взял его. С ясной и кроткой улыбкой смотрел в ту сторону, где застелившая небо туча сделала дали лиловыми и холодными. Кто-то,— он не разобрал: Васильчиков или Глебов,— крикнул: «Марш!» Он не тронулся с места. Мартынов прямым и твердым шагом, как на параде, шел на барьер. Лермонтов удивился, что тот в одном бешмете. Когда Мартынов сбросил черкеску, он не заметил. Кругом все стало лиловым, белый шелк мартыновского бешмета казался намеленной на темной стене целью. Потом на этом белом пятне появилась маленькая черная точка, черная точка, как безразлично равнодушный глаз, смотрела на него. Лермонтов взвел курок, хотелось отвести глаза от белого бешмета, не смог и поднял пистолет дулом вверх.

«Подумают, что заслоняюсь стволом и рукою»,— мелькнуло в голове. И он спокойно и даже лениво повернулся левой стороной к противнику.

Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил.

Лермонтов упал, как будто его скосило, не сделав ни одного движения, не успев даже схватиться за больное место, как это обыкновенно делают раненые. Все, кроме Мартынова, бросились к нему. В правом боку у него дымилась рана, с левой стороны рубашка намокла кровью. Столыпин взял его руку, рука безжизненно отпала в сторону.

— Конец!

Мартынов словно только и ждал этого слова, шатающимся, неуверенным шагом подошел он к мертвому. Перекрестился, рука у него дрожала, и, крестясь, он клал

пальцы выше плеч. Потом быстро, словно подломились ноги, он опустился на колени, поцеловал труп в губы и, так же быстро поднявшись с земли, бегом устремился к своей лошади. На том месте, где он стоял вначале, темным бесформенным пятном осталась лежать брошенная на дорогу черкеска. Стук копыт его лошади вывел из оцепенения стоявших над убитым.

— Нужно ехать за доктором,— растерянно пробормотал Васильчиков, порываясь идти.

— Зачем?! Он же мертвый. Нужно позаботиться о подводе, не на дрожках же повезем тело.

В этот момент страшный удар грома, казалось, потряс до основания Машук. Словно целая туча камней летела с его вершины, перекатываясь с грохотом и ревом. Лениво перебегавший до сих пор по земле ветер вдруг поднялся вверх, неистово погнал на неподвижно стоявших над трупом людей, на самый труп, лежавший на дороге, полосу косого частого дождя.

— Вот она разразилась...— начал и недоговорил Столыпин. Голос у него оборвался хриплыми и глухими рыданиями.

XII

Уже давно собственная жизнь стала представляться Евгению Петровичу как бы птицей, у которой перебили одно крыло. Такими же жалкими и беспомощными, как и у той, попытками взлететь казались ему старания отделаться от чего-то, мешавшего ему жить, ходить, видеть, интересоваться жизнью. Выглядел он постоянно страшно озабоченным, страшно занятым, хотя на самом деле никаких особых забот, никаких неразрешенных вопросов у него теперь не бывало.

За пять лет совместной службы с Бенкендорфом он так освоился с кругом тех дел, которые были поручены его ведению, так привык с полуслова понимать волю и желания своего начальника, что служба казалась таким же несложным, не обременяющим никакой думой занятием, как сон или принятие пищи. Правда, было и еще одно обстоятельство, делавшее ее не только не обременительной, но даже приятной. Он полюбил Бенкендорфа. Как и когда это произошло — он не сумел бы рассказать и себе, но вызвать на его лице улыбку каким-нибудь по собственному побуждению сделанным распоряжением.

услышать похвалу или одобрение доставляло ему настоящую радость. Сам Бенкендорф за эти годы решительно переменился в его глазах. Его бестолковость, его постоянная манера говорить с подчиненными одними полунамеками казалась особо тонким, особо совершенным приемом, чуть ли не верхом административной мудрости; его совершенно необъяснимые пристрастия и неприязни — проявлением рыцарски благородного характера; мямлящая, запинающаяся речь — признаком мудрой, все постигнувшей опытности. Бенкендорфу он разрешил бы говорить с собою и о том, в чем не решался признаваться даже себе самому. Еще бы: Бенкендорф был великим сердцеведом, и потом он его любил.

Он не возмутился внутренне, не поспешил уклониться от откровенности, когда весной прошлого, 1840 года, в первый раз за все время совместной с ним службы, граф завел с ним разговор об его семейных делах.

Бенкендорф, очевидно, давно уже заметил и оценил новое отношение к себе со стороны своего адъютанта и фаворита. Но. тем не менее. приступил он к этому разговору весьма и весьма осторожно. Он начал с того, что похвалил внешний вид Самсонова, подивился, чему бы приписать его еще недавнюю удрученность и подавленность, высказал живейшую радость по поводу таковой перемены настроения, похвалил его за какую-то неважную составленную им бумажку и только потом, как бы невзначай, спросил:

— А кстати, mon cher, где сейчас твоя жена? Помнится, ты куда-то ее отправлял?

Самсонов ответил, что жена на водах, на Кавказе, что здоровье ее как будто поправляется, что сам он выглядит таким веселым и бодрым, вероятно, оттого, что имеет возможность упиваться самой подлинной радостью, наблюдая, как подрастает его маленький сын, который «решительно во всем походит на него...»

Бенкендорф заговорил о сыне. Самсонов даже не заметил, как его принципал с разговора об его сыне перешел на сыновей вообще, на растущее и подрастающее поколение.

— Воспитание дорогого тебе ребенка, mon cher, можно поручить только человеку, которому ты безусловно веришь и доверяешь. Только...

Самсонов внимал мудрому и значительному опыту, которым сейчас с ним делились, старался запомнить слова начальника, как добрый совет.

А Бенкендорф уже говорил о том, что склеить разбитую посуду невозможно, нужно обзаводиться новой, что, если у тебя вырван из тела кусок мяса и болтается на ниточке, нужно, не побоявшись боли, оторвать его совсем, иначе рана никогда не заживет. Закончил, так участливо, так вкрадчиво и нежно смотря в глаза, что у Самсонова не могло даже и возникнуть сомнений насчет бескорыстности его советов.

— Тяжело мне говорить тебе об этом, но что делать,— тут Бенкендорф вздохнул,— ...если начал говорить правду, то нужно ее говорить до конца. Ты, mon cher, еще молод, будущее в твоих руках. Ну, не удался твой брак, обманула нас Львова,— а ведь как мы с покойником ее отцом о вас думали! — ну что делать, нужно примириться и забыть.

Бенкендорф опять вздохнул, ласково посмотрел на Самсонова. В его взгляде Евгений Петрович прочел и нежность, и страдание, ему сделалось вдруг так хорошо и вместе с тем так сладко-печально, что его нагрудный знак даже отделился от мундира от тяжелого вздоха.

— Нужно кончить, кончить нужно, mon cher...— опять заговорил Бенкендорф.— Человека переделать нельзя, ведь ты убедился в этом, убедился, значит... нужно о нем забыть... Просить государя о разводе... ммм... это скандал: нельзя... но у тебя есть выход. Все знают, что твоя жена больна, все знают, каким хорошим был ты мужем. Кого удивит, что ты готов терпеть даже с ней разлуку только затем, чтобы поправить ее здоровье! Оставь ее там, на Кавказе, или устрой на зиму где-нибудь в деревне у хороших и порядочных людей... Э, mon cher, повторяю, ты слишком еще молод, чтобы не забыть этого скоро... Послушайся моего совета.

Самсонов послушался. Самолюбие не позволило писать с той же осторожностью и мягкостью, с какой поучал его граф. Письмо, отправленное Надежде Федоровне, стилем и тоном больше напоминало казенное отношение или приказание, какие рассылались из управления делами императорской Главной квартиры. Этой зимой Надежда Федоровна в Петербурге не появилась.

Действительно ли так хорошо понимал человеческие сердца Бенкендорф, или это случилось от чего другого,— но многие нашли в ту зиму, что Евгений Петрович совсем уж не такой бука и что он даже может быть, если захочет, интересным для общества.

На Кирочную в скромную квартиру, где хозяйничала

все та же, только еще сильнее подряхлевшая за последние годы, Андреевна, иногда вечерами, соблюдая строжайшее инкогнито, приезжала дама. Евгений Петрович даже в мыслях остерегался называть ее по имени, так ревниво хранил он чужую тайну. Эта дама с нежностью ласкала маленького Петю, всегда привозила ему игрушки и гостинцы. Пете запрещали называть ее, и Евгению Петровичу иногда казалось, что ее он любит больше, чем отца. После ее визитов всегда оставалось такое ощущение, как будто близки праздники: в доме начались приготовления, все — суматошно и весело, вещи, мебель, обои, занавески на окнах словно помолодели, выглядят по-новому и страшно симпатично. Себя Евгений Петрович ощущал тоже помолодевшим, спокойно и весело возбужденным, но тем не менее следующего визита он ждал терпеливо и не скучая.

Птица с перебитым крылом не стала летать, но вполне освоилась и примирилась с землею.

Весна поразила Евгения Петровича большою — с ней трудно было примириться — неприятностью. Уже давно прихварывавший Бенкендорф этой весной уезжал для лечения за границу и, по-видимому, надолго, если не навсегда. Временно исполняющим его должность был назначен граф Алексей Федорович Орлов.

Орлов был бесконечно ленив, беспечен и равнодушен, больше всего на свете дорожил своим покоем, вкусным обедом, рюмкой старого и редкого вина, в котором он понимал толк. Воспитанный Бенкендорфом Самсонов, иначе и не представлявший себе своего принципала, как иссыхающим в непрерывных служебных заботах, никак не мог примириться с новыми, установившимися в его управлении порядками. Служебным девизом графа Орлова было «авось да небось». Поэтому летом, когда двор по обыкновению переехал в Петергоф, а войска выступили в лагеря, и, как всегда, для Самсонова наступило самое трудное и самое беспокойное время, он приходил прямо в отчаяние от безучастного равнодушия, в котором пребывал его новый принципал.

Как на грех, это лето, как никогда, изобиловало парадами, смотрами и маневрами. Особенно много их было в июле.

При Бенкендорфе Евгений Петрович всегда заранее знал, к чему нужно быть готовым. Об этом заботился сам граф. Теперь о намерениях и планах государя он мог только гадать, читая приказы по гвардейскому корпусу.

В одном из них он прочел, что 28 июля государь «изволит объезжать лагерь под Красным Селом». Приказ был от 26-го, а у них по Главной квартире еще не было никаких распоряжений. Евгению Петровичу показалось, что даже кожа у него на руках, как старые перчатки, только мешает осязанию. Не было даже времени предаваться отчаянию здесь, не выходя из канцелярии. Он полетел в Стрельну, где теперь пребывал на даче его начальник. Тот встретил его на террасе, в легком халате, обставленный ведрами со льдом и прохладительными напитками, изнемогающий от жары, но как всегда — благодушный и невозмутимый.

— Здравствуй, мой архангел. Что скажешь хорошенького?

— Ваше сиятельство, послезавтра государь объезжает лагерь в Красном Селе!

— В самом деле? Ну, с чем тебя и поздравляю.

— Но, ваше сиятельство, ведь по этому случаю нам нужно сделать много распоряжений, нужно нарядить туда дежурных, сообщить все сведения о сборе в Красное село, сообщить на главную конюшню и много еще другого.

— Это для чего? Ровно ничего не нужно, я вчера видел государя, и он мне ничего не сказал. Пусть же он знает, что я не святой дух: угадывать его мысли не могу!

— Но, ваше сиятельство, этого никогда не бывало, чтобы государь находился в лагере без дежурных и свиты.

— Ну, дежурных, пожалуй, назначь, а свиты отнюдь не надо. Пусть в другой раз, ежели захочет, сам прикажет.

Орлов мутными глазами посмотрел кругом, потянулся было за графином, но не доставала рука.

— Дай-ка, мой милый, вот того лимонаду. И кому только в голову придет в такую жару смотры делать?!

Он как-то чересчур внимательно поглядел на Самсонова, отвел глаза и сказал:

— Да, скажи мне, пожалуйста, что такое там у тебя с женой? Государь мне вчера сказал, чтобы я дал тебе понять, что он не желает ее возвращения в столицу. Это почему? Ты, брат, уж меня извини, говорю прямо: я — русский человек, не умею такие вещи обиняком высказывать.

Если бы Евгений Петрович был в состоянии в этот момент делать какие-либо сравнения, если бы он мог и хотел определить свое ощущение в данный момент,

то «птице перебили и ноги» — было бы самым верным.

Значит, не из доброго расположения Бенкендорф, не от участия подал ему такой совет! Хотелось убежать, запереться в четырех стенах, никого не видеть, не слышать,— нужно было скакать в Петербург, оттуда в Красное готовить все для царского смотра.

Если бы Орлов не сказал ему этого, может быть, как-нибудь и сбыли бы этот смотр. Но теперь валились из рук не только бумажки, не приходило то, что нужно, на ум,— из рук вываливался день.

Государь был недоволен решительно всем. По его приказанию Орлов был вытребован из Стрельны специальным фельдъегерем. Утомленный и рассерженный и ездой, и зноем, и нагоняем, граф ворчливо стал выговаривать Самсонову:

— Знаешь? Государь очень прогневался, что не нашел здесь никого, и изволил выразиться, что мне это простительно, по новости дела, а тебе, так давно занимающемуся им,— нет.

Он не слез, а свалился с лошади, растянулся во всю свою длину в тени первого попавшегося кусточка, извергая самые энергичные ругательства.

Самсонов пропустил замечание мимо ушей.

— Ваше сиятельство,— почтительно доложил он,— государь изволил приказать поставить свою палатку вот здесь, недалеко, на правом фланге бивуака Преображенского полка.

— С чем тебя и поздравляю!

Это была обычная поговорка, поэтому Самсонов не отставал:

— Ваше сиятельство, не угодно ли присутствовать при исполнении этого приказания? Граф Бенкендорф никогда и никому не доверял постановку палатки государя, всегда сам распоряжался.

— Покорно благодарю. Нет, брат, я свои руки и ноги не в дровах нашел, чтобы так легко ими жертвовать.

С палаткой дело не совсем гладко, но все же сошло. Евгений Петрович наконец мог прилечь и отдохнуть после двух бессонных ночей.

«Завтра, завтра! Что такое еще завтра? На завтра, кажется, назначено что-то еще»,— силился вспомнить Евгений Петрович, но так и не вспомнил: для завтрашнего маневра от него ничего не требовалось. Он заснул.

Следующий день как будто немного исправил на-

строение Николая Павловича. По окончании маневра государь объезжал вызвавшую в этот день особое его одобрение конную артиллерию, по несколько раз благодарил батареи. Ударили отбой, «по домам».

«Слава богу,— у Самсонова сердце маленьким холодным комком застыло в груди, томленьем заныли руки и ноги.— Все кончилось. Можно ехать домой и думать, думать...»

Вдруг государь тронул своего коня, догоняя разъезжавшиеся батареи, своим звучным голосом скомандовал:

— Конная артиллерия! Стой! Равняйся!

В грохоте скачущих в карьер орудий команду не расслышали. Николай дал шпоры, стараясь заскакать в середину движущейся артиллерии, еще раз повторил команду. Опять никакого результата. Он обернулся, ища за собой глазами трубача.

Назначать к государю трубачей входило в обязанность Самсонова. Увы, в этот день за государевой лошадью не ездил ни один трубач.

Николай Павлович круто повернул коня и возвратился на прежнее место.

— Орлов! — раздался снова зычный голос.

Орлов, с рукою под козырек, галопом подскакал к нему. Государь что-то говорил раздраженно и гневно.

— Государю коляску! — крикнул Самсонову Орлов, и тот, сломя голову, поскакал по направлению, где должен был стоять экипаж.

Едва он отъехал саженей на сто, как снова голос:

— Самсонов! Самсонов!

Вслед за Евгением Петровичем скакал дежурный флигель-адъютант.

— Ступай, государь тебя спрашивает.

Самсонов повернул коня.

Государь и вся свита стояли теперь спешившись, одной тесной группой. Конная фигура, одиноко маячившая возле этой группы, преградила дорогу Самсонову. Это был герцог Максимилиан Лейхтенбергский.

— Ecoutez,— проговорил он вполголоса.— L'émpereur est furieux contre vous, ne lui répondez pas un mot, ou vous êtes un homme perdue [1].

— Monseigneur,— отвечал Самсонов со слезами на глазах,— jamais tant que je vivrai, cet acte d'interêt et de

[1] Послушайте, император сердится на вас, не отвечайте ему ни слова, иначе вы погибший человек *(фр.)*.

bonté, que vous daignez me témoigner, ne sortira ni de mon coeur, ni de ma mêmoire [1].

Но раньше, чем он тронул коня, государь его уже заметил.

— А, пожалуйте-ка сюда!

Он соскочил с лошади и вышел на середину кружка.

— Что это значит, что, как я ни приеду, всегда застаю какие-нибудь неисправности? — загремел знакомый и грозный голос.— Пора бы, кажется, вам привыкнуть к вашей обязанности! Ступайте-ка на гауптвахту!

В этот момент внимание всех привлек столб пыли, показавшийся над дорогой. Евгений Петрович не помнил, были ли выставлены в этот день заставы, а это тоже входило в его обязанности. Кто мог скакать по военному полю, когда на нем происходили маневры?

Из облака пыли вырвалась загнанная, взмыленная тройка, фельдъегерь, цепляясь палашом, еще раньше, чем она остановилась, выскочил из тележки, бегом устремился к окруженному свитой государю.

— Ваше величество, донесение с Кавказа.

Николай посмотрел кисло.

Только через четвертые руки попадали к нему бумаги от фельдъегеря. Первый, кто выхватил пакет, успел надломить печать, у второго в руках бумаги высвободились из конверта, третий, развернув их, успел перетасовать по степени важности.

Из рук Лейхтенбергского Николай брал и читал их по очереди.

Первые две, бегло просмотрев, он сунул кому-то, не глядя, с коротким:

— Это Чернышеву.

Когда подъехала коляска, у Лейхтенбергского в руках еще оставалась одна бумажка.

— Что еще? — нетерпеливо спросил Николай, уже ставя ногу на подножку.

— Вашему императорскому величеству рапорт пятигорского коменданта генерал-майора Ильяшенкова,— ответил Лейхтенбергский.

Царь только слегка повернул голову в его сторону:

— Ну?

[1] Государь, никогда, сколько бы я ни жил, этот акт внимания и доброты, который вы удостоили оказать мне, не уйдет ни из моего сердца, ни из моей памяти (*фр.*).

Лейхтенбергский прочел:

№ 1427 июля 16-го дня
Его императорскому величеству
пятигорского коменданта

РАПОРТ

Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу, что находящиеся в городе Пятигорске для пользования болезней, уволенный от службы из Гребенского казачьего полка майор Мартынов и Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, сего месяца 15-го числа в четырех верстах от города у подошвы горы Машука имели дуэль, на коей Мартынов ранил Лермонтова из пистолета в бок навылет, от каковой раны Лермонтов помер на месте...

Николай Павлович досадливо махнул рукой. Лейхтенбергский перестал читать.

— Собаке собачья смерть,— долетели до слуха Евгения Петровича внятные, разрубленные паузами слова.

Царь сел в коляску и отбыл с поля.

Евгений Петрович все еще стоял. Группа, окружавшая царя, шумно обмениваясь впечатлениями, постепенно расходилась.

Евгению Петровичу вспомнились другие маневры на этом же самом поле шесть лет назад, он вспомнил себя. Стало жалко безвозвратно ушедшую молодость, так жалко, что хотелось плакать. Вспомнил, что тогда же ему и встретилась впервые фамилия Лермонтов, по ней вспомнил ту запись, которую сделал тогда в дневнике. Память стремительно, словно ее преследовали, бежала по всем этим шести годам, ни на одном из них, ни на одном дне, ни на одной минуте она не захотела остановиться.

— Как глупо-то, ужасно как глупо,— вздохнул он. Это относилось, очевидно, к дневнику.

— Ужасно глупо.

Он вздохнул еще раз и пошел объявиться арестованным на Красносельскую гауптвахту.

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЭМА СОБЫТИЙ

Юрию Александровичу Эгерту

ПОСВЯЩЕНИЕ I

Нет, здесь не Вам... и бархатный околыш.
Тульи голубоватой желтый кант, и грустный взор,
И тонких пальцев хруст, и хрупкий голос
Фарфоровый, как сон... костер,
Зажженный из сердец, серебряные елки
Нас обступили, ждут,—
Вчера — драгун, дремавший по проселку,
Сегодня — маятник минут.
Чуть розоватыми снегами в дали
Уходит грусть полей.
Вам шепоты печали
Моей.

Все в Вас
От удивленности пробора
До глаз,
Похожих на топаз...
Минут моих минуты слишком скоро
Несутся... А у Вас?
У Вас таких томлений названные сестры
Ткут счастья медленную нить,
Но кто так остро
Мог любить?

ПОСВЯЩЕНИЕ II

О, темный шелк кудрей, о, профиль Антиноя,
И грудь, и шея, вы, о, пальцы хрупких рук,
О вас, лишь помня вас, сегодня сердце ноет
Одним предчувствием томяще-сладких мук.
Единственый, как свет, бесценно-милый друг,
Вы, чьи глаза, как день, наполненные зноем
Июльской синевы, две чаши сладких мук,
И Вы пройдете в тень, и профиль Антиноя
Забудется, как все, как пальцы хрупких рук.

Май 1915 г.

ПРОЛОГ

Эхо «Сердца в перчатке».

Как вздох,
Вы, выходя из померкшей были,
Нити жемчужных стихов.
По нервам электричество строчек пролил,
И каждая строчка билась в истерике слов.

Улицы заплаканные нахмурились,—
Слезы, как дождь, на тротуары прокапали,
Будто дрожит в лазури лист
В хрустальной осени Неаполя,
Будто шуршанье торопливых резинок,
Стирающих на улицах лица и глаза,
Среди незаметных дождливых слезинок
Вытекла огромная, как время, слеза.
Пролившее ее глазище
Витринной скуки, где,
Хлопая галошами, разбежалось кладбище
По улицам и лицам избитых площадей,
Сморщилось, и сегодня, быть может, на подоконнике.
С канарейкой сдружившаяся герань
Вырастила для вас одних, покойники,
Цветочек хилый и простенький, как Рязань.
Быть может, сегодня не тех отыщете,
Кто с газетных объявлений спустился к вам,
Может, не для вас сегодня тысячи те,
Что строились в роты по набранным петитом словам,
И, быть может, мне, нежному, с последним ударом
Башенных часов уже не много с этих пор
Осталось обрызгивать, как росой, тротуары
Хрустальным звяканьем шпор,
А говор часов, как говор фонтана,
И вы узнаете в его серебре меня...
Время, ведь рано!
И в костлявых пальцах времени
Высохла, как цветок, душа.

Не спеша,
Об ней на маленькой свечечке обедню
Выстроить склепом великолепным у Иверской.
Шурша,
Пробежали меж пальцев в последний
Раз обо мне все газетные вырезки.

ГЛАВА I

Шаги тревоги

Как некогда Блудному Сыну отчего
Дома непереступаемой казалась ступень,
Сквозь рассвет, мутным сумраком потчивая,
К самому окну просунулся небритый день,
И еще в июле чехлом укрытая люстра,
Как повешенный обездоленный человек,
Замигала глазенками шустро
Сквозь ресницы зубами скрежещущих век.
В изодранных газетах известия штопали,
Толкаясь лезли в последние первыми,
А тоска у прямящегося тополя
Звенит и звенит серебряными нервами.
Кто-то бродит печальный и изменчивый.
У кого-то сердце оказалось не в порядке,
И мертвый покатился удивленно и застенчиво
По скрипучим перилам лестницы шаткой...
В черный вечер прошел господин и вынес
Оттуда измазанный и громадный ком,
А когда спросили: что это? — «Дыня-с»,—
Расшаркался, а потом
Мутью бездумья с утра исслюнявил
Закапанную чернилами ручку скуки,
Как будто седой апостол Петр или Павел
Простер костлявые пергаментные руки.
И в чем уплыл, как не в кровати ли,
В пространство внемирное, прочитав в газете,
Что штыками затопорщились усы у обывателей,
И тяжелую артиллерию выкатывают дети.
Это все об нем: как он простенький и серенький,
Житель равнодушья и потомок городов рода,
Никогда не слыхавший об Иеринге
И об его определении абсолютной свободы,
Вскинулся и затопал,
И его шагами ночь хохотала гулко,—
«Смотрите, смотрите: я землю заштопал
Извилистой ниткой глухого переулка...»
Утро снимало синие кольца
С измученных взоров, одевшихся в бледный свет,
И смотрело, как падали и падали добровольцы
На звоны убитых побед.
А Вы молчали,
Ведь здесь же не Вам, смотря на них,

Потому что жемчужины Вашей печали.
Как капли берилла, падают в стих.
Скажите! Скажете? Улыбкою Цезаря,
Не вынесши этой ночи упорной и беззвездной,
Распустившаяся на Вашем лице заря
Поплыла над качнувшейся бездной.
Рассчитывая удары,
Над сумраком взвился багряный топор.
Ах, не обрызгивать, не обрызгивать больше тротуары,
Как росой, хрустальным звяканьем шпор.
Теплое слово, как ласку, приготовил
К выкованной из стали земле.
Дай же коснуться ран струящейся крови
Второму неверующему Фоме.
Ведь и для меня событья воздвигли распятье,
Это сегодня и моя Голгофа.
Душу живую отдать ей,
Как свеженаписанные строфы.

ГЛАВА II

Город в телеграммах

Одеваются в ночную мглу дни,
Перегнувшиеся наподобие Z'а.
Ах, сегодня только пополудни
Вышли утренние газеты.

Снегом выращенный город сутулится,
Закиданный выкриками телеграммных вестей,
И костлявые и тощие улицы
В хрустящем блеске белых костей.
А с экранов кинемо и столбцов набора
Гордо раздулись выкрики о победе,
Орущие в треске разрушенных ветром заборов
Поющей трамвайной меди.
Город в огнях и золоте, белые шляпы
Гордо вздувшихся стеклянных крыш,
Как некий дракон, свои черные лапы,
Лениво разбросив, ты спишь.
И ко всему безразличною пастью вести,
Схваченных на лету убитых и побед,
Ты рассасываешь в жилы предместий,
Черные от копоти десятков лет,
Чтобы там над рушащимся гулом
Неустанных фабрик и заводов слез
Чья-то раненая душа уснула

Просто, как дети, без трагизма и поз,
Чтоб она окровавленным следом мостить
Лощеные улицы никогда не смела,
Седое и серое, как «Русские ведомости»,
Вывешено праздничным флагом небо.

А где-то в лабиринтах косящих предместий
Ветер проносит чей-то неуместный плач
О кем-то, когда-то и где-то забытой невесте
В осеннем молчаньи пустеющих дач.
А с экранов кинемо и столбцов набора
Не устало глядеться известье,
Орущее в треске разрушенных ветром заборов
В косящих лабиринтах предместий...
Ах, сегодня только пополудни
Вышли утренние газеты.
Что из того, что одеты в ночную мглу дни,
Перегнувшиеся, как изображение Z'a?

ГЛАВА III

Она

Как Прекрасной Даме дни
Посвящали поэты и любовники,
Тебе, рожденной в ликующем пламени,
В багряных ранах, как куст шиповника,
Тебе одной — газетную истину
Поворачивая, как кули на кранах,
Где-то в южных морях затерянной пристани
Слепящимся глазом на брызжущих ранах
В громаде черной глухой бессонницы
Ты разрубила дыханье артерий
Разящим летом гремящей конницы
Громовым кашлем артиллерии,
Над телом Польш и Бельгий элегию вымыслов
Одела в лохмотья газетных сенсаций
И за земною осью вынесла
Вращенье судеб двенадцати наций...
Шлешь ли умерших в волны лазури
Полк за полком... и сколько?
Ты разбила хрустальное имя «Юрий»
Дымом орудий на тысячу осколков.

Ах, в каждом осколке, как иголка боли,
Жалобные ручонки, из моря просящиеся на сушу,
И не довольно, не довольно, что раскололи
Хрустальное имя, мою бедную душу.

ГЛАВА IV

Дышат убитые...

Дышат убитые. В восторге трепетом
Мертвые на полях сражений поднимут головы,
Когда багровое солнце слепит нам
Память из олова темного и тяжелого.
День за днем измученно сгорит Вам
Весь в пене жестоким посылом трясущейся лошади.
Эти простые слова, как молитву,
В губы растрескавшиеся вложите:

Как не касаться кубка пыток [1]
Губами, жаждущими губ,—
Простых речей неясный свиток,
Упавший на остывший труп.

Когда никто не потревожит
Истончившийся белый лоб,
Тяжелый вздох к Престолу Божью
Сошел покорно в белый гроб.

Ведь это было, это снилось,
Ведь этим кто-то где-то жил,
И вот Архангел левый клирос
Крылом волнующим прикрыл.

В дрожаньи пенья это ль снится,
Что не вернется, нет? И пусть
В полуопущенных ресницах
Не умерла былая грусть,

Лениво бросить взор усталый,
Когда, открыв бескровье ран,
Седое утро умирало,
Вцепившись судоржно в туман.

Казалось: тусклый свет не брызнет
В решетки окон расписных,
А хор о теле бедной жизни
Тянул рассвету бледный стих.

Это Вам в сумраке отходящего поезда
Девушка рыданья повесила, как крестик,
Мне холодно, холодно, и от холода боязно

---

[1] Стихи Ю. А. Эгерта.

Умереть теперь с Вами не вместе.
Это кто-то теплое слово, как ласку,
Как ласку, приготовил к зимней стуже
И грустит об одном,
Что сердце всегда попросится в сказку,
Что сердцу захочется холода, холода октябрьской лужи,
Лужи с хрустальным и звонким льдом.

ГЛАВА V

У меня глаза — как будто в озере
Утопилась девушка, не пожелавшая стать матерью,
Это мои последние козыри
У жизни, стелющейся белоснежной скатертью.
Над облитыми горечью тротуарными плитами
Грусть, как в оправу, вложу в истомленный взор
Я, бесстрастно смотревший в тоскою залитые
Глаза, зеркала осенних озер,
Я, прошедший сквозь пламя июлей
Тысячей горящих любовей,
Сегодня никну в рассветном тюле
Бесстрастным током холодной крови.
А где-то рудой раскаленной из горна
Текущий тяжко медный закат,
Запекшийся кровью багряной и черной
Выстроил сотни хрустальных палат,
Залил бриллианты текучего глетчера
Дробящийся в гранях алмазный свет,
Девятнадцать исполнилось лет вчера,
А сегодня их уже нет.
Над смертью бесстрастные, тонкие стебли,
Как лилии, памяти узкие руки,
А день извиваясь треплет и треплет
Над городом знамя столетнее скуки,
И в шепоте крыльев ее алтарями победе
Души сложили усталые все мы,
Как из своих и заботливо скрытых трагедий
Открытые каждому и миру поэмы.
Вам, мертвому, как живому,
Памяти Ваших тонких изысканных рук
Сложу в печали померкшую днями истому
В тревоге родившихся мук.
Я нашепчу словами нежнейшими

Вам о том, как в вечерней комнате
Тихие шорохи кажутся гейшами,
Только вспомните, вспомните.
Вспомните, сложен как
С кожей лепестками полураскрытых роз
Ваш единственный, милый Боженька
В ризе улыбок и слез.
Вспомните, как слова, похожие
На глаза грустящих и забытых невест,
Падают и падают, как жемчужины к подножию,
Где воздвигнут грядущих распятий крест.
Вспомните! Вы ведь не умерли!
Каждую ночь,— ведь это же Вы,—
Спускается ангел в снов моих сумерки
С лучистым взором из синевы.

Умру молодой или старый,—
Последнее на земле этот взор.
Ах, не обрызгивать, не обрызгивать больше
тротуары,
Как росой, хрустальным звяканьем шпор.

ГЛАВА VI И ПОСЛЕДНЯЯ

Последнее

Солнце, обошедшее миллиард и больше
Раз землю, посмотри,—
Где-то, кажется в Польше,
Алой кровью сердце горит.
По минутам, как по ступеням,
Сходят молитвы с усталых губ.
Это в них убитых души весенним
Дыханьем ангелы вложат и сберегут.
А сердцу усталому окунаться в сказки,
Как в невиданный и желанный сон,
Только одно, одно — скорее бы пасха,
Такой хрустальный, словно вымытый солнцем звон,
И это последнее, последнее,—
Больше уже не мы, а кто?
За весенней заупокойной обеднею
Стоял и молился «никто».
Все, все умерли,—
И вот он обходит по голой земле,
Кутаясь в свой — не дьявольский юмор ли? —

Круг обнищавших плодородьем полей,
Ведь сегодня событья железной рукою
Вбросили в пламя миллионы мятущихся душ,
И в плаче печали влюбленные скроют
С кровью смешавшийся пьяный туш.
Завтра, быть может, в ярости ядрам
Земля открывавшая грудь,
Воздвигнется новых трагедий театром,
Вонзив в свое сердце пронзительно-долгий путь,
Сквозь щели скелетов убитых, сквозь груду
Тлеющих тел, новые племена
Прорастут, как сквозь нежные девичьи чресла
Мужчин, приходящих откуда
Неизвестно, растут семена.
Памяти купаться весело
В розовой, вечерней влаге всех воспоминаний.
Дни прошли, и что настанет
Новое, если по-прежнему нежданные гости
Приходят к поэтам душистые песни,
Кажущиеся им самим чудесней
Краев вечерних и телесно-розовых облаков.
Когда пожелтеют белые нежные кости
Поднятых яростью на щетину штыков,
Может быть, в чьих-нибудь пестрых одеждах фантазий
Души павших пышно отойдут ко сну.
Ныне я в прилежном рассказе
Кровью и муками вам написал про войну.
Поэты грядущие, которых не похоронят
В памяти строчек, открытых всем,
Вспомните, что Великой войной в таком-то полку
и в таком-то эскадроне
Убита великолепнейшая из великолепных поэм.

Тверь — Москва
XI/914—I/915.

СОЛНЦЕ НА ИЗЛЕТЕ

* * *

Бирюзового моря залив там,
Клонятся к влаге вечерней пальмы,
И гудящим сурово лифтам
Уносили глухую печаль мы.
Мы скользнули с площадки,—
Как быстро
Замелькают в глазах этажи!
О, последнее,
Новые выстрой!
О, последнее, про них расскажи!
Ведь их двадцать прошло,
И не будет
Таких же, как были,
А здесь...
Будто в майском счастливом изумруде
Утонул и расплакался весь,
Но не я, а последний вечер,
Где вечерняя влага, как сон,
Будто хрупкие спрятались плечи
В громаде амвонных колонн,
Будто звон
Со слепой колокольни
Падает в зелень зорких трав.
Порочные звоны невольней
Тянутся к кубку отрав.
Ах, всем в мире оптикам
Сделать таких же нельзя,
Потому что каждый паноптикум
Такие глаза для выставки взял...
И, как волны морей,
Неотступные приступы армий,
Как весенний восторг в каждом новом году —
Эти дни, как запах Violette de Parme [1]

[1] Пармская фиалка (*фр.*).

И... когда же уйду?
Ведь построены все
Прямые, как линии
Домов в столицах,
Серенькие, как мышь,
И небо простое и синее
Легло на ладони крыш,
А вечер придет и повиснет нелепо,
Запутавшись в рощах дымящих труб,
И будет тянуться к городу небо
Кровавым мякишем губ;
Заплещутся стекла на окнах из золота,
И улицам втиснут упругий шум,
А небо и тучи расколоты,
Как мозг, безумьем пылающих дум...
И все, что росли и крепли,
Днем напрягая безволье сил,
Нервы,
Которые были и не были,
Разлились,
В тревоге медленный Нил,
И тот благоговейный,
Что в храме ник,
И те, что нежны, как рисунок на ситце,
Как будто века простоявший памятник
Чугунные хочет раскрыть ресницы,
О, за годом пронесшийся год,
Когда больше ничто уж не снится,
Как гроза, исчертившая зеркало вод,
Как полет
Убегающей птицы.
Над землею и небом, как сжавшихся рук,
Сквозь ладони закат
Раскаленною пылью промечет...
Это солнце на излете, свершив полукруг,
Огибает последний вечер...
Ведь их двадцать, их двадцать...
А дальше?
Уносимы ласкающим лифтом...
О, поймите, что вечер последний — печаль,
Ведь печаль же!
А вечерняя влага, а пальмы, а залив там?

Пгр. Март 1916 г.

МОЛИТВЫ ЛЮБИМЫМ

Quand vous serez bien vielle.....
Direz chantant mes vers, en vous esmer-
veillant:
«Ronsard me celebrait du temps, que
j'étais belle».

P. de Ronsard [1]

1. МОЛИТВА ЛЮБИМОЙ

Ах, не скрыть густым и грустным ресницам
Глаз, смотрящих только на одну.
Вы по жизни моей, как по книги страницам,
С тихим шелестом тихо прошли в тишину,

Вы прошли в тишину, серебристое имя,
Как неслышная поступь шагов
Богомольно несется губами моими
На алмазы кующихся строф.

Как влюбленному мальчику дороги вещи,
До которых коснулись любимой рукой,
А тоска с каждым днем неотступней и резче,
Каждый день неотступней с своею тоской.

Никогда не сказать серебристое имя,
Никогда не назвать Вас, одну,
Как по книги страницам, Вы днями моими
В неизбежную тихо прошли тишину.

Июль 1915 г.

2. ЕЩЕ МОЛИТВА

Н. Г. Валленбургер

Это сердце, зажженное Вами, сгорит Вам,
Как любимому, милому Богу свеча,
То спускается ангел к альковным молитвам
И в тяжелых драпри его вздохи молчат.

[1] Когда, старушкою, ...
Мою строфу споешь и молвишь ты, мечтая:
«Ронсар меня воспел в былые времена».

П. де Ронсар.—Пер. В. Левика.

Что сегодня? Рассвет после раненой ночи,
Раскаленный, распятый, измученный день?
Или ночь после дня исступленно хохочет
И кивает бесстыдно на каждую тень?

Как на прах эшафота бессильно повержен
В этой сладостной дрожи недвижим, как труп,
Чьей рукой высоко вознесен и задержан
Этот миг, эта пытка измученных губ?

И когда только шепот в тени изголовий,
Как израненный вздох, долетит,
Это сердце, зажженное мукам и крови,
Тихим пламенем Вам догорит.

Июль 1915 г.

3. И ЕЩЕ

В час, когда гаснет закат и к вечеру,
Будто с мольбой протянуты руки дерев,
Для меня расплескаться уж нечему
В этом ручье нерасслышанных слов.

Но ведь это же ты, чей взор ослепительно нужен,
Чтоб мой голос над жизнью был поднят,
Чья печаль, ожерелье из слезных жемчужин
На чужом и далеком сегодня.

И чьи губы не будут моими
Никогда, но святей всех святынь,
Ведь твое серебристое имя
Пронизало мечты.

И не все ли равно, кому вновь загорятся
Как свеча перед образом дни.
Светлая, под этот шепот святотатца
Ты усни...

И во сне не встретишь ты меня,
Нежная и радостно тиха
Ты, закутанная в звон серебряного имени,
Как в ласкающие вкрадчиво меха.

Январь 1916 г.

4

О королева, вчера
Вы, выходя из трамвая,
Подали пятачок оборванцу
И потупили взор....

На голубоосенней вышине
Белый лебедь облако
Над хрустально-четким городом
Плывет, как и над хрустально-четким лесом...

О королева, вчера,—
Лишь вчера,
А сегодня осень
Исхрусталила сердце,
И в хрустальный бокал его,
Я Вас прошу,
Вы налейте Вашей улыбкой
Тягучего и томного ликера мечты,
Потому что теперь — осень,
Потому что все — четко-хрустально.......

И сквозь рубиновую влагу его
Прорубинит рубиновой паутиной
Лампа на моем столе
И фонарь за окном
Рубиновым глазом.....

О королева, вчера
Вы, выходя из трамвая,
Подали пятачок оборванцу
И потупили взор....

Август 1913 г.

5

Пил безнадежный чай. В окне струился
Закатной киновари золотой
Поток. А вечер близко наклонился,
Шептался рядом с кем-то за стеной.
Свеча померкла Ваших взглядов.
Чертили пальцем Вы — какой узор? —
На скатерти. И ветка винограда

Рубином брызнула далеких гор.
Ах, это слишком тихо, чтоб промолвить,
Чтоб закричать,— здесь счастье, здесь,
здесь «ты»!
Звенело нежно серебро безмолвий,
И в узкой вазе вянули цветы.
Ах, это слишком тихо, чтобы близко
Почуять пурпур губ и дрожь руки,—
Над взорномеркнущей свечой без риска
Крылили вы, желаний мотыльки.

Июль 1913 г.

6. ОФЕЛИЯ ИЗ ОБЛАКОВ

Кн. Н. А. В-ой.

Она течет. И плеск над каждым всплеском,
Как на стекле залитых солнцем окон
Свивается, как радуга, в венок он
В хрустальном воздухе хрустальным блеском.
Она течет. И плеск над каждым всплеском.
Нить дней моих, от Севера до Юга,
От чайных домиков до вод валов,
Несет, как ладанку, тебя, подруга,
Офелия из облаков.

Как запах букв в евангельской легенде,
Как шелесты развернутых историй,—
Любимые, любившие во взоре
Небрежного, как летний вечер, денди.
Как запах букв в евангельской легенде,—
Жемчужных строк осенние гирлянды,
Грусть плещущихся об одном стихов,
Как в лунной ночи кружево веранды
Офелия из облаков.

Июль 1914 г.
Константинополь

7. МОЛИТВА ПОСЛЕДНЯЯ

Дней золотых и тяжелых, как мед,
Уже собирать становится некому...
Это — время спокойное дальше течет,
Это память не сдержит радостный бег ему,
Это все далеко, это губы не пьют
Дней моих, предвечерние пчелы,

Это в них, в золоченый и светлый приют
Уже не войдешь царицей веселой...
И пришла отойти, и, как исповедь, в сердце пустом
Над полями несутся тучи, сшитые из клочий,
Это влагу целебную всех истом
Минуты сносят к последней ночи,
Чтобы там так остры, и из памяти год
Вновь выводят измученным криком.
В днях золотых и тяжелых, как мед,
Уже не мелькнет
Твоего лучезарного лика.

Январь 1916 г.

8. МАДРИГАЛ

Мои глаза — преддверье летней ночи,
В июле вечер, тюль из синевы.
В них каждый миг становится короче,
И в каждом миге дышите лишь Вы.

Январь 1913 г.

СЕРДЦЕ В ПЕРЧАТКЕ

Et celles dont le coeur gante six et demi.

Jules Laforgue [1]

1. ПОСВЯЩЕНИЕ

По тротуару сердца на тротуары улицы,
В тюль томленья прошедшим Вам,
Над ленью вечера, стихая над стихов амурницей,
Серп — золоченым словам.

Впетличив в сердце гвоздичной крови,
Синеозёрит усталым взором бульвар.
Всем, кого солнце томленьем в постели ловит,
Фрукт изрубинит вазный пожар.

И Вам, о, единственная, мои стихи приготовлены —
Метрдотель, улыбающий равнодушную люстру,
Разве может заранее ужин условленный
Сымпровизировать в улыбаться искусство.

[1] И те, чье сердце носит перчатки шесть с половиной. *Жюль Лафорг* (*фр.*).

Чтоб взоры были, скользя коленей, о нет, не близки,
А Вы, как вечер, были ласковая.
Для Вас, о, единственная, духи души разбрызгал,
Когда Вы роняли улыбки, перчатку с сердца стаскивая.

Август 1913 г.

2. ГРЁЗНАЯ ВАННА

В ванну грёзную окунули мысли,
В ванне грёзной потопили мечты.
В пудренице сердца мечты сплелись ли?
Мыслить ленью ленятся глаз цветы.

Едва странно ванну душить духами
Лилий розовых и своих грудей.
В ванне грёзной розовыми стихами
Пудрить лилий в пудренице затей.

В ванне грёзной сладко рассыпать бисер
И потупить нежно лукавый взор.
И вступить в действительность, как на рысий
Тот ковер, что перед вами себя простер.

Август 1913 г.

3

Мягко в моторе взорили сердце.
Мягко коснулись кожей перчатки.
Смехом труверить. Сладко смотреться.
Сладко труверить... «Скучно вы сладки».

Скучно поверить только в возможность,
Шпильте гвоздикой трепет загрезный.
Так невозможно — быть осторожным
О, улыбнитесь, вы не серьезны.

Стрелить во взоре нежностью синей,
Мягко в моторе плыли догадки.
Сердце, под гримом бледнея, стынет
В вашей душенной гвоздикой перчатке.

Август 1913 г.

4. АТТРАКЦИОН

Ник. Терзи-Терзиеву

Качели, качели печали, качели печали качали: «Молчи»,
И в плаче печали качели качали, печали качели в ночи.
Опрокинувшись в качке,
Голова закружилась.
Сжались бело фонари.
Ты лицо не испачкай
(Тень тины проходила)
В алом угле платка зари...
Лихач... В пролетке взлет качелей
Печаль почила светлых глаз...
Минуты млели и млели
Там, где стелился фонарный газ...
А дальше? А дальше качели, качели печали качали —
«молчи»,
И в плаче печали качели качали печали качели в ночи.

Июль 1913 г.

5. ИММОРТЕЛЬ

Вы растрелили пудренное сердце,
Оклонясь на медлительности ре́чной.
Опрокинясь тюль улиц вертеться,
Вы смотрели на лица взора встречных.

Вы вошли в осенний цветник из проституток,
Тюль рассвета вуалью соблазнили,
Потому что вертеться веки сомкнуты,
Потому что вертеться в тюль автомобили...

Ваши взоры сомкнуты — плыли тюль минуты,
Потому что вертеться грезится сердце,
Потому что вертеться (ах, не надо бледнеться)
Вы вошли в осенний цветник из проституток.

6. ВЕСНА В КИНЕМАТОГРАФЕ

Минут садистических истомленные гости,
Забытые пленные, где нет победителей,
О, пожалуйста, Ваши руки отбросьте —
Сердце в Вашей перчатке... Вы поверить хотите ли?

Где колени в ажуре, как месяц, не встретятся,
Где носок у влюбленного страшно ботинка,
Наступив на уступчивость, где любовь — гололедица,
Где заклеены взоры рекламою Зингер,

Где над буквою З издевалась боярышня
И вертела в обратную сторону ручку,
Где входила боярышня, выходила боярыня, в магазин
уважения старшим,
А забытые гости — секунды собирались все в кучку,

И играли со смехом в крапленые карты,
И игра называлась игрою в улыбки...
О, пожалуйста, в этом дрябленьком Марте...
Ваши руки, как гости, Ваши руки, как рыбки,

Как аквариум света, гроты блещущих улиц,
Солнце — влага и пламя, трепет солнечных мантий...
Ваши взоры коснулись... О, всегда берегу лиц
Память в сердце воздушных, и воздушною станьте.

Как восторга воздушных, Вы вуали отбросьте,
Душу выпить желаньем и мечтать не хотите ли...
Минут садистических истомленные гости,
Забытые пленные, где нет победителей.

Октябрь 1913 г.

7. АЭРОМЕЧТА

Взмоторить вверх, уснуть на пропеллере,
Уснуть сюда, сюда закинув голову,
Сюда, сюда, где с серым на севере
Слилось слепительно голубое олово.

На шуме шмеля шутки и шалости,
На воздух стынущий в меха одетые
Мы бросим взятой с земли на землю кусочек
жалости,
Головокружась в мечтах кометами.

И вновь, как прежде, уснув на пропеллере,
На шуме шмеля шутки и шалости,
Мы спустимся просто на грезном веере
На брошенный нами кусочек жалости.

Август 1913 г.

8. АВГУСТУ

И снова ты, ничуть не изменившийся,
От пят такой же юный до чела,
И темный взор, навеки чем пленившийся,
Колеблет струны глаз, как черных два крыла.

И снова ты с задумчивой улыбкою
На розах уст, бутонах роз тугих,
И мраморит над синевою зыбкою,
Чуть розовея, мрамор плеч нагих.

И снова ты, и на груди целованной
Мой поцелуй отметили сосцы.
Такой же юный, ты пошли уловы нам.
Твоей мы ночи ранние косцы.

Из зелени пропыленной заглядывай
На улыбнувшийся тобой бульвар.
Смеясь, идешь трамвайной проволокой
обрадовать,
Мой Август, на избитый тротуар.

Август 1913 г.

9

Вы носите любовь в изысканном флаконе,
В граненом хрустале смеющейся души.
В лазурных розах глаз улыбка сердца тонет,
В лазурных розах глаз — бутоны роз тиши.

Духи стихов в мечту, пленительных в изыске,
Пролив на розы глаз в лазурных розах глаз,
Вы прошептали мне, вы прошептали близко,
То, что шептали вы, о, много, много раз.

Вы носите любовь в изысканном флаконе,
В граненом хрустале смеющейся души.
И запах роз мечты моей не похоронит,
Что прошептали вы, что сказано в тиши.

10. БАЛЛАДА О КОРОЛЕВЕ МАЙ

Незнанный друг, так странно близкий,
О чем, склоняясь, Вы мечтали?
Растаял гул органа низкий,
Все тише, тише своды стали,
И дыма тонкие вуали
Плывут, струясь и нежно нитясь,
Перекрестясь, Вы прошептали:
«О, королева Май, вернитесь!»

И свет струился в старом зале,
И глаз струились, глаз записки,
И наклонялись, и шептали
Мечты нарядной одалиски:
«На лунно-красном, красном диске
Не дремлет он, вечерний витязь,
С копьем на сердца обелиске.—
О, королева Май, вернитесь!»

Очаровательная в риске
Самой прийти, чтоб на вокзале
Пленительную Вас в изыске
Духов, покорно провожали,
Чтоб взоры, помня что? молчали,
Чтоб Вам сказали: «Удивитесь:
Ваш паж совсем же не печален...»
О, королева Май, вернитесь!

Ваш паж, герой девичьих спален,
Забыл, что было,— не стремитесь,—
Ведь Вы вернуться обещали,
О, королева Май, вернитесь!

Август 1913 г.

11. АВТОПОРТРЕТ

Ю. А. Эгерту

Влюбленный юноша с порочно-нежным взором,
Под смокингом легко развинченный брюнет,
С холодным блеском глаз, с изысканным пробором
И с перекинутой пальто душой поэт.

Улыбки грешной грусть по томности озерам
Порочными без слез глазами глаз рассвет
Мелькнет из глаз для глаз неуловимо-скорым
На миги вспыхнувший и обреченный свет.

Развинченный брюнет с изысканным пробором
Порочными без слез глазами глаз рассвет,
Влюбленный юноша с порочно-нежным взором
И с перекинутой пальто душой поэт.

12

Милостивые Государи, сердце разрежьте,
Я не скажу ничего,
Чтобы быть таким, как был прежде,
Чтоб душа ходила в штатской одежде
И, раздевшись, танцевала танго.

Я не скажу ничего,
Если вы бросите сердце, прощупав,
На тротуарное зеркало-камень,
Выбреете голову у сегодня-трупа,
А завтра едва ли заедет за вами.

Сердца, из-под сардинок пустые коробки,
Свесьте, отправляясь на бульвары
Волочить вуаль желаний, втыкать взорные пробки
В небесный полог, дырявый и старый.

В прозвездные плюньте заплатки.
Хотите ли, чтобы перед вами
Жонглировали словами?
На том же самом бульваре
В таксомоторе сегодня ваши догадки
Бесплатно катаю, Милостивые Государи.

Октябрь 1913 г.

13

Монету жалости опустит,
Следя за шалостями зорко,
Не для нерасточивших грусть
Под аккомпанемент восторга...

И не тангируют сомненья,
Невинностью припудря лица,
А этот ускользнувший день
Не на автомобиле мчится,

И не единственностью гордо
Сердец, закованных в перчатки,
Сквозь охладившихся реторт —
«Замеченные опечатки».

Март 1914 г.

14. СВЯТОЕ РЕМЕСЛО

.....Мое святое ремесло.

К. Павлова

Давно мечтательность, труверя, кончена,
И вморфлена ты, кровь искусства.
Качнись на площади, пьянь, обыденщина,
Качайся, пьяная, качая вкус твой.

Давно истерлось ты — пора румяниться,
Пора запудриться, бульваром грезя,
И я, твоих же взоров пьяница,
Пришпилю слез к бумажной розе.

Шаблон на розу! Ходи, выкликивай.
Шагов качающих ночь не морозит;
О, не один тебе подмигивал.

Октябрь 1913 г.

15

Загородного сада расходились посетители,
Гримируя секунды в романтическую поэму.
Мягким взором написали улыбку,— «посидите»,
Обрывая задумчивыми губами хризантему.

Окуная сердце в рюмку ликера томительно,
Вы, принцесса грезная, утомились,
Сказали черно-стеклярусным взором,— возьмите;
И на нас, прищурившись, звезды сверху косились.

О, я видел, как с Ваших пальцев капали
Слова, как жемчужины, и их нижут чьи-то губы,
А Ваш взор растаял во мгле под шляпой,
Одетый в тысячи черно-шуршащих юбок.

Ноябрь 1913 г.

МОЙ ГОД

Suivi du Suicide impie
A travers les pâles cités.

A. de Vigny[1]

1. PRELUDE

Конст. Липскерову

Весна, изысканность мужского туалета,
Безукоризненность, как смокинг, вешних прав...
А мне — моя печаль журчаньем триолета
Струиться золотом в янтарность vin de grave[2].

Кинематограф слов, улыбок и признаний,
Стремительный побег ажурных вечеров,
И абрис полночи на золотом стакане,
Как гонг, картавое гортанно серебро,

И электричество мелькнувших зорко взоров,
Пронзительный рассвет раскрытых кротко глаз.
Весь Ваш подошв я от до зеркала пробора,
Гримасник милых поз, безмолвно-хрупкий час.

Февраль 1914 г.

2. ВЕСНА

Воздух по-детски целуется,
На деревьях развешены слезы,
Пробивают, как скорлупу яйца,
Снег шаги. А в сердце заноза...

---

[1] Преследуемый нечестивым Самоубийством через бледные города. *А. де Виньи (фр.).*
[2] Сорт вина.

И Вы проходите и мимо проносите
Мою любовь и воспоминаний тысячи.
Сосульки по крышам хрупкие носики
Заострили. А Вы сейчас....

О, я знаю, что на лето нафталином
Перекладывают все зимние вещи,
Чувствуя, что время становится длинным,
А тоска значительно резче.

3. ВЕСЕННЕЕ

Кто же скажет, что этим бестрепетным пальцам
Душу дано изласкать до безумья?
Кто же назовет колокольню страдальцем,
Позвякивающую сплетнями в весеннем шуме?

Кто же душу на сумерки нежно
Вынес и положил, не беспокоясь,
Что ее изласкают пальцы яблони снежной,
В сладострастьи распускающей пояс?

А, может быть, сумерек взорами хищницы
Мне любовница незнанная откроется...
Погляди, как выпуклые бедра земли пышнятся
И от голубого неба до зеленой земли кем-то лестницы
строятся.

А взору сквозь прорезы листвы, зрачков изумруды
Снится сумасшедших грез и отрав река,
И увозят снисходительные верблюды
Раскапризничавшуюся от зноя Африку.

Вот сегодня нащупаем даль мы,
Вот сегодня опустимся на дно душ,
И сочатся сквозь белые зубки пальмы
Солнечные грузы давно уж.

Июль 1914 г.
Геленджик

4. ЛЕТО

Знаю, что значит каждый
Милого профиля поворот.—
Это в безумьи неутолимой жажды
Пить жадно прильнувший рот.

Это опять и опять летнее небо
Скроют ресницы... И что?
И нет места, где бы
Губы не льнули еще...

Знаю, что дальше... И круче
Склон истомленного дня.
Эти в румянце тучи
Золотым закатом звенят...

Июль 1915 г.

5. ВЕРНИСАЖ ОСЕНИ

Осенней улицы всхлипы Вы
Сердцем ловили, сырость лаская.
Фольгу окон кофейни Филиппова
Блестит брызги асфальтом Тверская.

Дымные взоры рекламы теребят.
Ах, восторга не надо, не надо...
Золотые пуговицы рвали на небе
Звезды, брошенные Вашим взглядом.

И Вы скользили, единственная, по улице,
Брызгая взором в синюю мглу,
А там, где сумрак, как ваши взоры, тюлится,
За вами следила секунда на углу.

И где обрушились зданья в провалы
Минутной горечи и сердца пустого,
Вам нагло в глаза расхохоталась
Улыбка красная рекламы Шустова.

6. ОСЕНЬ

Михаилу Кузмину

Под небом кабаков, хрустальных скрипок в кубке
Растет и движется невидимый туман.
Берилловый ликер в оправе рюмок хрупких
Телесно-розовый, раскрывшийся банан.

Дыханье нежное прозрачного бесшумья
В зеленый шепот трав и визг слепой огня,
Из тени голубой вдруг загрустившей думе,
Как робкий шепот дней, просить: «Возьми меня».

Под небо кабаков старинных башен проседь
Ударом утренних вплетается часов.
Ты спишь, а я живу, и в жилах кровь проносит
Хрустальных скрипок звон из кубка головок.

25.IX.1914 г.

7. ЗИМА

Боре Нерадову

Вечер заколачивает в уши праздник
Тем, кто не хотел в глаза ему взглянуть,
Потому что все души тоскующие дразнит
Протянувшийся по небу Млечный Путь,

Потому что неистово и грубо
Целый час рассказывал перед ними,
Что где-то есть необыкновенные губы
И тонкое, серебряное имя.

Дразнил и рассказывал так, что даже маленькая
лужица,
Уже застывшая, пропищала: — Ну вот,—
У меня слеза на реснице жемчужится,
А он тащит в какой-то звездный хоровод.

И от ее писка ли, от смеха ли
Вздыбившихся улиц, несущих размеренный шаг,
Звезды на горизонте раскачались и поехали,
Натыкаясь друг на друга впотьмах.

И над черною бездной, где белыми нитками
Фонарей обозначенный город не съедется,
Самым чистым морозом вытканo
Млечный Путь и Большая Медведица.

Февраль 1915 г.

8. САМОУБИЙЦА

Ел. Ш.

Загородного сада в липовой аллее
Лунный луч, как мертвый, в кружеве листвы,
И луна очерчивает, как опалы, млея,
На печали вытканный абрис головы.

Юноша без взгляда, гибкостью рассеян,
Пальцы жадно ловят пылкий пульс виска,
А тоска из шумов скрывшихся кофеен
Приползает хрупко хрустами песка.

Юноша без взгляда,— это ведь далеко! —
Ну, почем я знаю загородный сад?..
Юноша без имени,— это ведь из Блока,—
О тебе, мой дальний, грустно-милый взгляд...

Там, где кущей зелень, там оркестр и люди,
Там огни и говор, и оттуда в тень
Проплывает в хрупком кружеве прелюдий,
Как тоска и мысли, лунная сирень.

Этот свет и блики! Это только пятна
На песке дорожек от лучей луны
Или шепот шума вялый и невнятный
В хрупких пальцах цепкой, хрупкой тишины.

И не может выстрел разорвать безмолвья,
Сестры, только сестры — смерть и тишина,
Только взор, как пленкой, весь утонет в олове
И не отразится в нем с вершин луна.

Апрель 1914 г.

— КАКИХ-ТО СООТВЕТСТВИЙ

...Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило лицо.

В. Хлебников

1

Л. М. Лисицкому

Луна плескалась, плескалась долго в истерике,
Моторы таяли, жужжа, как оводы,
И в синее облако с контуром Америки
От города гордо метнулся багровый дым.

А там, где гасли в складках синего бархата,
Скользя, как аэро, фейерверки из звезд,
В стеклянные скаты крыш десятиэтажных архонтов
Пр́олит электричеством безжалостный тост.

И в порывах рокота и в нервах ветра
Металось сладострастье, как тяжелый штандарт,
Где у прохожей женщины из грудей янтарем «Cordon Vert'a» [1],
Сквозь корсет проступало желанье, как азарт.

А в забытой сумраком лунной лысине,
Где эластично рявкнуло, пролетая, авто,
Сутуло сгорбясь, сердито высится
Ожидающая улица в мужском пальто.

Октябрь 1913 г.

2. НА УЛИЦЕ

I

Панели любовно ветер вытер,
Скосив удивленные глаза...
Лебеди облаков, из витрин кондитерской,
В трепете, как однокрылая стрекоза.

И нас обоих рукой коромысла,
Смеясь, сравняли мясные весы.
И кто-то стрелки за циферблат выслал,
Ломая траурные палочки-часы.

---

[1] Железная дорога (название карточной игры) *(фр.)*.

Лебеди-облака в хмуром трепете
Шепотом кутались в тысячи поз,
И вся улица смотрела, как Вы прицепите
К моим губам Ваши губы из роз.

II

Ах, остановите! Все валится,
В сердце рушится за небоскребом небоскреб!
Ах, уберите! Оригинальности
Розовую мордочку спрячьте в гроб!

Снега, как из влажной перины,
Запушили фонарную яркость...
Слушайте! Кажется! Вальс старинный
Сейчас прогуляется по Луна-парку!

Ах, остановите! Все валится,
И остатки расшатала тревога,
Я фонарным золотом и снегом залит сам,
И мои веки белыми пальцами снег перетрогал,

Ах, не много, не много, не много
Минут дайте выпить оригинальности:
Ведь мои веки белыми пальцами снег перетрогал,
Я фонарным золотом и снегом залит сам.

29 ноября 1913 г.

3

Иду сухой, как старинная алгебра.
В гостиной осени, как молочный плафон
Блудливое солнце на палки бра,
Не электричащих, надевает сиянье, треща в немой
телефон.

И осыпаются мысли усталого провода,
Задумчивым звоном целуют огни,
А моих волос бесценное серебро водой,
Седой омывает хилые дни.

Хило прокашляли шаги ушедшего шума,
А я иду и иду в венке жестоких секунд,
Понимаете?! Довольно видеть вечер в позе только негра-
грума,
Слишком черного, чтоб было видно, как утаптывается
земной грунт.

Пóтом времени исщупанный, может, еще не совсем
достаточно,
Еще не совсем рассыпавшийся и последний,
Я могу по пальцам досчитать до ста точно
Из расколотого черепа рассыпавшиеся бредни.

Я века лохмотьями солнечной задумчивости бережно
Укрывал моих любовниц в рассеянную тоску,
А вскисший воздух тогу из суеверий шил,
Едва прикрывающий наготу лоскут.

И, упорно споря и хлопая разбухшим глазом, нахально
качается,
Доказывая: с кем знаком и не знаком,
А я отвечаю, что я только скромная чайница,
Скромная чайница с невинно-голубым ободком.

4

Звезды задумчиво роздали в воздухе
Небрежные пальчики своих поцелуев,
А ночь, как женщина, кидая роз духи,
Улыбку запахивает шубой голубую.

Кидаются экипажи на сумрак неистово,
Как улыбка пристава, разбухла луна,
Быстрою дрожью рук похоть выстроила
Чудовищный небоскреб без единого окна.

И обрывая золотистые, свислые волосики
С голого черепа моей тоски,
Высоко и быстро пристальность подбросила,
Близорукости сметая распыленные куски.

Вышитый шелком и старательно взвешенный,
Как блоха, скакал по городу ночной восторг,
И секунды добросовестным танцем повешенных,
Отвозя вышедших в тираж в морг.

А меня, заснувшего несколько пристально,
У беременного мглою переулка в утробе торопит сон
Досчитать выигрыш, пока фонари стальной
Ловушкой не захлопнули синего неба поклон.

5. LE CHEMIN DE FER[1]

Л. Ю. Брик

«Выпили! Выпили!» — жалобно плачем ли
Мы, в атласных одеждах фигуры карт?
Это мы, как звезды, счастью маячили
В слезящийся оттепелью март,

Это мы, как крылья, трепыхались и бились
Над лестницей, где ступени шатки,
Когда победно-уверенный вылез
Черный туз из-под спокойной девятки,

А когда заглянуло в сердце отчаянье,
Гордыми взорами дам и королей,
Будто колыхнулся забредший случайно
Ветерок с обнажающихся черных полей.

Это мы золотыми дождями выпали
Мешать тревоги и грусть,
А на зеленое поле сыпали и сыпали
Столько радостей, выученных наизусть...

«Выпили! Выпили!» — жалобно плачем ли
Мы, в атласных одеждах фигуры карт?
Это мы, как звезды, счастью маячили
В слезящийся оттепелью март.

Март 1915 г.

6. ДЕВУШКА

...Или я одна тебе отдана.

Цесаревна Елисавета Петровна

Страсть водила смычком по лесу
На пробор причесанных и вовсе лысых сердец,
А у загрустневшей сумеречно пальцы укололись,
Надевая хрупкие грезы брачных колец.

Окуная в изгибы вечера узкие плечи,
Плакала долго и хрупко совсем одна,

[1] Железная дорога (*фр.*).

А вечер смотрел, как упорно мечется
Смычок страсти, будто пьяница с грузного сна.

И ей шептали, что кто-то фиалок у рва
Нарывал и бросал подножием рифм,
Что ее душа — элементарная алгебра,
А слезы — нулевой логарифм.

Что раздеты грезы и фиолетово-сумеречно
Наструнили стаканы ленно вина,
А она уронила в страстном шуме речь,
Плакала долго и хрупко совсем одна.

Февраль 1914 г.

7. НОВОБРАЧНАЯ

Л. А. Ш — вой

Строго смотрят на нее святые
Из-за красных сумерек лампад,
Наклонила кудри золотые,
Уронила взгляд.

Смотрит семицветным, ярким блеском
На груди волнуемой кулон,
А во взоре ласковом и детском —
Испугавший сон.

Желтые мигают смутно свечи,
Алый блеск немым стенам дарят,
Как вуаль, упавшая на плечи,—
Смутен ей обряд.

Кончилось. Свершилось заклинанье,—
И склонила бледное лицо,
Как далекое воспоминанье,—
На руке кольцо.

Промелькнул весь вечер, как в угаре,
Утро вновь блаженно расцвело,
В плен давно звучавших, страстных арий
Что-то повлекло.

А когда проснулась в перламутре,
Золотившем голубой плафон,
Ты смотрел в лицо, отбросив кудри
Тот же детский сон.

Июнь 1912 г.

8. ЖЕНЩИНАМ

Вы ведь не поверите,— я только фикция,
Уличный вечерний дым,
Расскажете, что на Египет нападали гиксы,
И он все-таки не остался пустым.

Вы ведь не поверите, что мрамор душен
И что мраморную душу мо́жно задушить,
Это тем, которым так послушен
Из алмазов капель бриллиантовая нить.

А вам капель шум казался ли уменьшенным
Ледяным бесстрастьем снежных гор,
Это всем, в глаза глядевшим женщинам,
Мой ответил взор.

Напишу, а потом напечатаю.
И родное будет далеко.
Ведь смешно обкладывать мраморную душу ватой,
А это так приятно и легко.

9

Поднимаюсь и опускаюсь по зареву
Распалившихся взоров тысячных толп,
И, нелепо аплодируя, в глаза ревут
Уличные суматохи, натыкаясь на трамвайный столб.

Затыкаю уши рукоплесканиями слепых аудиторий,
И гул мостовых обрушивается, как тяжелый и мокрый компресс,
А в моем тоскующем и нарумяненном взоре
Есть еще много и много разных чудес,—

Голые женщины в бездонном изумруде,
За́мки и академии седобородых королей —
И по пустыням бестрепетности уносящаяся на верблюде
В равномерном качании путаница мировых ролей.

И все разыграно до миниатюры мизинца,
И голоса упакованы в изящный футляр,
А я небрежностью реверанса атласного принца
Перепутываю па́ подернувшихся пылью пар.

10

...Сердце разрежьте,
Я не скажу ничего.

К. Большаков

Вы вялое сердце разрезали
И душу выжали, как лимон,
И ко мне, задумавшемуся Цезарю,
Вы подносите новый Рубикон.

Ах, не ступит нога вчерашнего гаера
На дрожащие ступени мгновений. У меня
Вчера на ладони вечность растаяла,
А сегодня обязательство завтрашнего дня.

И нищему городу в обледенелые горсти
Я подаю, как мелочь, мой запудренный плач,
И на обнаженном сердце, как на мускулистом торсе,
Играет устало безликий палач.

Февраль 1914 г.

ГОРОД В ЛЕТЕ

Et les Assis, genoux au dents, verts pianistes,
Les dix doigts sous les sièges aux
rumeurs de tambour,
S'écoutent clapoter des barcarolles tristes
Et leus caboches vont dans ales roulis d'amour.

A. Rimbaud [1]

1. ГОРОДУ

А. А. Боровому

Из электричества и пыли
Ты ткешь волнисто-млечный путь,
Багровый бег автомобилей
И лун прикованную муть.

[1] И так Сидящие, поджав, к зубам колени,
По днищу стульев бьют, как в гулкий барабан,
И рокот баркарол исполнен сладкой лени,
И голову кружит качанье и туман.

А. Рембо.— Пер. с фр. В. Парнаха.

Разорван взрывами безмолвья,
Грохочущий, закован в сталь,
Ты проливаешь в летнем олове
Из сумерек свою печаль.

Изранен светами в неволе
Ты, солнца ударяя в гонг,
Скликаешь клумбами магнолий
На незацветший горизонт.

Когда ж проснутся, и упряма
Домов шагающая тень,
А над тобой багетом рамы,
Как верный страж, недвижим день,

Сил задохнувшихся восторгов,
Зубчато-сгрызшихся колес,
Как под стеклянным тентом морга,
Дыханье тяжело пронес.

Несовладаньем непослушных
Следишь единый страж мечты,
Как вытекают равнодушно
Из «Институтов Красоты».

И по румянам и белилам,
Прикрывшим дряблости морщин,
Вдруг застучишь упругим пылом
Распухших сладострастно шин.

Когда же в тень твоих бульваров
Опустится твой грузный вздох,
Ты, отвратительный и старый,
Заснешь под чуткий стук стихов.

Нам, проституткам и поэтам,
Слагать восторги вялых губ,
Чтоб ты один дремал рассветом
В короне небоскребных труб,

Чтоб был один и чтоб хранили
Тревогой дышащую грудь
Багровый бег автомобилей
И л у н п р и к о в а н н а я м у т ь.

Май 1914 г., Москва

2. ГОРОД НОЧЬЮ

Город ночью — девушка, где на бархатное платье
Фонари рассыпали бриллиантовое колье,
Истомленная шелками вздохов и на кровать ей
Взлезали, громоздясь, версты, мили и лье,

А ночная душа исступленно шаталась
И сжимала световые круги на земле,
И мгновений под нежными пальцами жалость
Ваших ласк дрожала на звенящем стекле.

Это все ожиданья томлений, на трауре перьев,
Вам кивавших улыбок хрустальные руки,
Это губы убитых в восторге преддверий,
Это фильмы из серий израненной скуки,

Это сон в кружевное преддверье каприза
Впивается рябью мельчайшего шрифта,
Это Вы ласкали душу Мюр-и-Мерилиза
Скользящим поглаживаньем лифта,

И раздавались исступленно серенады
И в зрачках этажей удивленным озерам проснулись,
Это щелкали счетами рублевые взгляды,
Вырезывая инициалы на плечах Июля.

Июль 1914 г.
Геленджик

3. ВЕЧЕР

Л. Б.

Огни портовой таверны,
Бриллианты улыбок и ругань.
В волосы звуков вечерних
Пыль вплетена. Сон запуган.

Дремлют губами на ругани люди.
Вечер, как узкий рельеф.
Безмолвно-окунутый спит в изумруде
Кем-то потерянный гнев.

Кокетки-звезды вдоль гавани.
Мертво за стражею парусов.
Над молом фонарь в белом саване
Задвинул безмолвья засов.

Ночь, женщиной еще не причесанной,
Морю склоняясь на плечо,
Задумалась и, тысячу поз она
Принимая, дышала в лицо горячо.

Июль 1914 г.
Одесса

4. ВЕЧЕР

Ю. А. Эгерту

Вечер в ладони тебе отдаю я, безмолвное сердце.
Шагом усталых трамвай на пылающий запад
Гибкую шею дуги не возносит с печальным упорством.
Рты дуговых фонарей белоснежно оскалили зубы.

Вечер — изысканный франт в небрежно помятой
панаме
Бродит лениво один по притихшим тревожно панелям,
Лето, как тонкий брегет, у нёго тихо тикает в строгом
Кармане жилета. Я отдаю тебе вечер в ладони,
Безмолвное сердце.

Апрель 1914 г.
Москва

5. НА ЛИХАЧЕ

Эти бестрепетные руки,
Эта удивленно поднятая бровь,
И глаза, бесстрастные от скуки,—
Это не любовь.

Но ведь это утро только первой ночи,
А над парком шум тревожный и весенний...
Каждое новое горе непонятно жесточе,
Каждое новое счастье непонятно мгновенней.

А рысак рассыпается искрами
Сухо рвущих дорогу копыт,
Не продлить поцелуями быстрыми
Час, что до дна допит.

Города ропот стихнет.
Вы взглянете просто и прямо.
Ах, там, где святых нет,
Вы — только усталая дама.

Петровский Парк

6. РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Вл. Маяковскому

Вечер был ужасно громоздок,
Едва помещался в уличном ридикюле,—
Неслышный рыцарь в усталый воздух,
Волос вечерних жужжащий улей,

Отсечь секунды идет панелям,
И медлит меч по циферблату.
Пролетая, авто грозили,— разделим, разделим...
Закован безмолвием в латы,

Закрыв забралом чудесной грусти
Лицо, неведомый один,
Как будто кто-то не пропустит,
Не скажет ласково «уйди».

Апрель 1914 г.
Москва

7. НОЧНОЕ

В. О.

Взор, шуршащий неслышно шелк,
Вечер, согретый дыханьем голоса,
Это кто-то голос расплел и умолк,
И весь вечер звенит в тонкой сети из волоса,

Это кто-то волос волн растрепанных грив
В сетях запутал зданья и улицы,
А на тротуары громоздился людей и шумов прилив
И бил в стены рева огромной палицей.

И на девичьей постели метнулась испуганно
Звавшая и ждавшая, потому что голос скосила ночь,
И одна из еще незнанному подруг она
Звала веселию пыток помочь.

Ночь, распустив вуали из тюля,
Поплыла, волнуя фонарный газ,
И следили упорные взоры июля
Юноши порочных и ясных глаз.

Волнуясь, из вазы возгласов вынула
Только трепет тревоги, томную тишь,
Молилась, что чаша минула,
Шептала: «Желанный, незнанный, спишь?»

Июль 1914 г.
Геленджик

8. ЗАПАХ ПРОСТРАНСТВ

Версты ложились, как дети, в колыбели зелени
На мягкие вздохи изумрудных лугов,
И клочьями дымов, как пухом устелены,
Вскидывались худые ребра канав и мостов,

И над бегом безумья без слез опрокинут
Плещущийся гривами облаков океан,
Где, сложив молитвенные руки, стынут
В муке раскрытые губы пяти очарованных стран.

По тротуарам бульварной зелени в рупор
Седой Колумб отплытье проплакал,
И любовно стелется в небе крошечный Ньюпорт,
И звенит вековой, поросший ржавчиной якорь...

Вскиньтесь, забытые, одичавшим голосом,
Это ночь украли, это вас хотят обмануть,
Ведь велел же седой Колумб, веселый сам,
Ветрами бесплодий паруса надуть.

Прощайте, забытые острия ученичества,
Обманули, украли и теперь
Повешенный взор электричества
Умирающий мечется, как пленный зверь.

Июль 1914 г.
Константинополь

ТЕНЬ ОТ ЗАРЕВА

Syphilitiques, fous, rois, pantins, ventriloques,
Qu'est-ce que ça peut faire à la putain Paris...

A. Rimbaud [1]

1. ВТОРОЙ ИЮЛЬ

Кн. Н. А. В — ой

Идем, и тени в золотистой чаще
Мелькают в золоте, как «нет», как «да»...
Сердца усталые не бьются чаще
Сегодня, чем всегда...

А Вы, мой друг единственный и чудный,
О, хрупкая капризная княжна,
Я знаю, отчего улыбка в сини изумрудной
Так пристально нежна.

И отчего рассеянный Ваш взгляд не ищет
Кого-то милого, кого уж нет,
Кто брошен, тысяч тысячи
На грудь гранитную чужих побед.

Багряный вечер. Ветер с подорожий
В парк забредет ленивый и в пыли...
Кому из нас дороже
Те дни, которые давно прошли.

Любили мы, молились одному, тому же,
Кто волновал один двоих мечты...
Закат померк, и венчики сжимают уже
Дневные кроткие цветы.

20 июля 1915 г.

2. СЕГОДНЯШНЕЕ

Маме

Кто-то нашептывал шелестом мук
Целый вечер об израненном сыне,
В струнах тугих и заломленных рук
Небосвод колебался, бесшумный и синий.

[1] Кликуши, короли, безносые паяцы!
Парижу не до вас: что девке площадной...

А. Рембо.—Пер. с фр. Г. Русакова.

Октябрьских сумерек, заплаканных трауром
Слеза по седому лицу сбегала,
А на гудящих рельсах с утра «ура»
Гремело в стеклянных ушах вокзалов.

Сердце изранил растущий топот
Где-то прошедших вдали эскадронов,
И наскоро рваные раны заштопать
Чугунным лязгом хотелось вагонам.

Костлявые пальцы в кровавом пожаре вот
Вырвутся молить: помогите, спасите,
Ведь короной кровавого зарева
Повисло суровое небо событий.

Тучи, как вены, налитые кровью,
Просочились сквозь пламя наружу,
И не могут проплакать про долю вдовью
В самые уши октябрьской стужи.

Октябрь 1916 г.

3. ПОЛЬШЕ

Михаилу Кузмину

Июльское солнце печет и нежится,
Следя за суетой тревог,
Как пыльным облаком беженцы
Катятся лентой дорог.

День разгорится и будет, будет
Жечь и пылить земную грудь,
А сейчас уходят и уходят люди
В пристально стелющийся путь.

А за ними, как праздник, в лентах и ризе
Взором ясным и кротким следишь,
Как следила шаги многих сотен дивизий,
Твою колыхавших тишь.

И звенели глухо шпоры и сабли,
Звон рассыпался, как кокетливый смех,
Будто хрупкие пальцы, зябли
Ветлы, обступившие бег твоих рек.

Шли, и задушенный, ржавый
Лязг раскует железные кольца.
Видишь, сердце сгорело Варшавы
Горячей слезой добровольца.

Черной птицей год пролетел, как нагрянул,
Полями Польши дымится кровь,
Только сковано сердце в оковах тумана,
Только мукою сдвинута бровь.

Будет, будет... И где бы
Вздох сражений пронесся,— собираются все
Под палящие взоры июльского неба
Громоздить телегами и говором шоссе.

Июль 1915 г.

4. БЕЛЬГИЯ

Б. Пастернаку

Холод мести у бойцов в душе льда,
Вставших броней от Антверпена до Гента.
Не пестрит торговыми судами Шельда
Синей, бесконечно вьющеюся лентой.

Звон невидимых колоколов в тумане
Над умершей тишиной пустого Брюгге,—
То проходят через город англичане
К битве, тяжко громыхающей на юге.

А на севере равнин отцы и братья
Пастью схвачены железною событий.
Спите, наши дочери вплетут проклятья
Вас похитившим в брабантских кружев нити.

Шепот их расстелется по всей Европе,—
В волнах бальных платьев песня о бессмертье,
О сраженных львах маасских черных копей,
О дороге слез, о короле Альберте.

О победах мужество кормить усталых,
О твердынях крепостей, воздвигнутых в сердцах,
О растрепанных страницах на каналах
Из нахмурившихся книг о раненых годах.

Октябрь 1914 г.
Москва

5. БЕЛЬГИИ

Владиславу Ходасевичу

Словно тушью очерчены пальцы каналов,
Ночь — суконная, серая гладь без конца,
Здесь усталое сердце в тревогах устало,
Соскользнула спокойно улыбка с лица.

Черный город заснул безмятежной гравюрой
На страницах раскрытых и брошенных книг,
И уходят, уходят задумчиво-хмуро
За таящимся мигом таящийся миг.

Спи, последняя ночь! Эти хрупкие пальцы
Так пронзительно в плечи земные вплелись,
Эти чуткие дети, минуты страдальцы
Навсегда в этот серый покой облеклись.

И для вечного сна пусть построят легенды
Как ажурные башни суровых дворцов,
И стихи заплетутся в нарядные ленты,
Зазвенят, как набор золотых бубенцов.

Но сегодня, как завтра, сраженный не болен...
Эта кровь, эти пятна не брызги же ран,
А просыпанный звон из твоих колоколен,
Как кровавые маки, в бесцветный туман.

Спи, последняя ночь! И не будет двух Бельгий,
Сон колышат раскаты грохочущих битв.
Этот месяц и год! Даже в детской постельке,
Как узор, были вытканы слезы молитв.

Октябрь 1915 г.
Москва

6. НА ЗАПАДЕ

Вл. Маяковскому

На серых волнах в песке и пене
На дюнах шепчущийся мрак,
То гладко причесанные тротуары Лондона
Кинули сталью пружинящий шаг.

То кто-то, дряхлые сгибая колени,
Молится, шамкая: «Господи,
Со всех сторон дана
В кружеве фландрского золота лени,
Врагу на терзанье страна...»
Сквозь черный и тонущий вечер в каналы
Золотыми ожерельями слез падут
Эти слова усталых
К Господу.
А ветер соленый, путаясь в реях
Вдаль уходивших кораблей,
Запах пороха, украденный на приморских батареях,
Унесет к чужой земле.
Где-то проплачут... О плачьте, плачьте!
Слезы соленого ветра, капайте!
Это на истекающем кровью западе
Вскинуты молящие руки,
Вам расскажут, что даже с самой низкой мачты
Среди дальнего плаванья скуки
Видна
На серых волнах в песке и пене
Умирающая истерзанная страна,
Слышно, как кто-то, сгибая колени,
Молится, молится: «Да, да...
Ах, зачем сквозь вечерние стелющиеся тени,
Задыхаясь, выползает война...»
Года
Стальные раскаленною пастью
Проглотили тысячу лет в один миг,
Ах, не вернуться, не вернуться кем украденному счастью,
Как первым страницам прочитанных книг.

Тверь. Вокзал.
1.XII.1914 г.

7. АНГЛИИ

Валерию Брюсову

Из стали лондонских туманов
Страна, сковавшая народ,
Нависшая над океаном
Арктически-свинцовых вод,

Замкнувшая водами Ганга
Империю в полярный круг,
Ты в целом мире иностранка
В брезгливости небрежных рук.

Всех стран, как в сите, сеешь в Сити
Посевы золота тебе.
О, верить ли? — Просил: «Пустите»,—
Лев, заскучавший на гербе,

Волной прилива, что отрезал
Тебя от них, к ним бросил в даль,
Как на тебя когда-то Цезарь
Своих когорт гранит и сталь,

Чтоб в полдень полутемных лавок
И в тень фламандских мастеров
Внести ликующую славу,
Второго солнце Ватерлоо,

Чтоб на глухой в надменной силе
На вздох Потсдамского орла,
Как на расцвет Бурбонских лилий
Рука спокойная легла.

Твои победы в общем кличе
Сквозь сизый и нависший дым,
Как за шагами Беатриче —
Суровый Данте, мы следим,—

Вы, дети холода и спорта,
Не из объятий рождены,
Но вместе с нами распростерты
На огневом кресте войны.

7.1.1915 г.
Москва

8. ПОСЛЕ...

Юрию Юркуну

Сберут осколки в шкатулки памяти,
Дням пролетевшим склонят знамена
И на заросшей буквами, истлевшей грамоте
Напишут кровью имена.

Другим поверит суровый грохот
В полях изрезанных траншей,
Вновь услыхать один их вздох хоть
И шепот топота зарытых здесь людей.

Осенний ветер тугими струнами
Качал деревья в печальном вальсе:
«О, только над ними, только над юными
Сжалься, о, сжалься, сжалься».

А гимн шрапнели в неба раны,
Взрывая искры кровавой пены,
Дыханью хмурому седого океана
О пленнике святой Елены,

Теням, восставшим неохотно
Следить за крыльями трепещущих побед,
Где ласково стелется треск пулеметный
На грохоте рвущихся лет...

Октябрь 1914 г.
Москва

9. ЦАРЬГРАДУ

А. К. Мариэри

Этой робости раны никто не залечит...
Бронзовые копошатся дети,
И не спрячутся смуглые и острые плечи
В кружевном одеяньи мечетей,

Не прошепчут корявые буквы Корана,
Чертит Босфор лишь лунная фелука,
Как будто капает с лезвия ятагана
Отравленная временем и бессилием скука.

Это Райи Балкан стяг красным по синему
Покрыть лохмотья среди ропщущего гула,
Это Руми заставили мелкими зубами кинемо
Изгрызть древний бархат ночного Стамбула,

Это автомобилей несытые руки
Исщупывают мглу сжавшихся улиц,
Это за горизонтом отравленные каплями скуки
Паруса поникшие лениво встрепенулись.

Не пророют ятаганом янычары
Ярости и крови гордый в веке ров,
И развозят пароходы исчезающие чары
Цепко схваченные пальцами Бедекеров.

16 июля 1914 г.
Константинополь

10. ПОСЛЕДНИЙ ГИМН

Сергею Боброву

...Солнце уже больше не восходит из страны веселья: оно слишком любило Старую Землю...

«Земная Смерть»

Ломкий говор отходящих на покой мгновений,
Вечер в проводах последней радости запутан.
Белые, бескровные глаза, ползите из закатной тени!
Ave, Caesar, morituri te salutant [1].

Вам — душа израненная, истекающая кровью,
Вышитых минут растерзанный и неодетый бред,
Это Вам с вонзившейся стрелой в бескровье лика бровью
Кровью запекшееся время, которого уже нет.

Город в зареве последних умираний и пожаров
Девушка из облака прорезала, летя,—
Пыльные шаги вдруг засверкали в тротуарах,
И бульвары зарыдали хлипко, как дитя,

Выросли мосты израненной и белой ночи,
В кружеве карабкаясь по стершимся минутам,
А зрачки расширились, и миги вдруг короче,—
Ave, Caesar, morituri te salutant.

2 июня 1914 г.
Москва

---

[1] Здравствуй, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя *(лат.)*.

ЛЕРМОНТОВ И ЕГО ЭПОХА В ИЗОБРАЖЕНИИ К. А. БОЛЬШАКОВА

Роман Константина Большакова «Бегство пленных...» может и должен вызвать у читателя недоумение, а приведенное в предисловии замечание автора о книге, строящейся «на материале абсолютных исторических фактов», может и должно возникшее недоумение укрепить. Это если читать роман внимательно, если сверять созданные Большаковым сцены со страницами мемуаров и документов, если соотносить нарисованные им характеры с не такими уж малочисленными данными о прототипах, если поверять гармонию вымысла алгеброй факта...

Ну, а если — просто читать, читать, не задумываясь и веря повествователю, оставив сомнения историкам, филологам, буквоедам. Если так, то... еще хуже. Читатель, вовсе незнакомый с лермонтовской биографией, попросту запутается в прихотливом тексте «Бегства пленных...». Он будет вправе поинтересоваться, что же происходило с главным героем, так сказать, между второй и третьей частями (то есть между началом декабря 1837 г., когда было написано завершающее вторую часть письмо Лермонтова С. А. Раевскому, и началом мая 1840 г., когда Лермонтов отправился в ссылку во второй раз). Он будет вправе спросить, что за дуэль была у Лермонтова с каким-то Барантом и кто такой этот самый Барант. Он будет напряженно морщить лоб, пытаясь понять, кто такая Варенька Лопухина, чье имя возникает в нескольких драматических эпизодах и никак не объясняется. Одним словом — трудно придется читателю, вовсе ничего не знающему о Лермонтове и его эпохе при знакомстве с романом Большакова.

Но на такого читателя Большаков и не рассчитывал. Он вовсе не собирался писать добротную биографию, обращенную к неофитам, равно как и специальный труд, готовый выдержать критику специалистов. Большаков предполагал

своим читателем человека информированного, но информированного лишь вообще. Такой читатель знает, что в 1814—1841 гг. жил в России великий поэт Лермонтов, что был он окружен толпой пошляков и опутан сетями жандармов, что была в его жизни великая, но рано оборвавшаяся любовь, что утрата возлюбленной и мрачность окружающей действительности наложили особый отпечаток на его и без того не простой характер, что поэта дважды ссылали по воле императора Николая I (в первый раз за стихи на смерть Пушкина, во второй — за дуэль с сыном французского посла Э. Барантом) и что роковая дуэль с Н. С. Мартыновым была логичным завершением жизни «гонимого миром странника». Кроме того, читатель знает, что Николай I и граф А. Х. Бенкендорф Лермонтова ненавидели, что бабушка поэта Е. А. Арсеньева его обожала, но не понимала, что немногочисленные друзья Лермонтова были способны им либо безудержно восхищаться, либо тихо недоумевать из-за иных экстравагантностей, что многие женщины по Лермонтову сходили с ума, а он, однажды разочаровавшийся и вечно высокой любви взыскующий, был со своими обожательницами не всегда корректен, что, впрочем, и извинительно. Наконец, читателю ведомо, что Николай I взошел на престол, подавив восстание декабристов, всю жизнь ненавидел любое оппозиционное начало, отличался жестокостью, педантизмом, ханжеством и склонностью к чужим женам, сделал всемогущим III Отделение (наиболее искушенные читатели знают: Собственной его императорского величества Канцелярии) и жандармский корпус и в конце концов довел страну до Крымской катастрофы.

Подобный смысловой фон, в котором истина мешается с удобным правдоподобием, факты с легендами, самооценки николаевской эпохи с переоценками ее, формировавшимися во второй половине XIX века, историческая конкретика с художественно-публицистическим ее переосмыслением, предпринятым великими писателями, прежде всего Герценом и Толстым,— неизменно присутствует в российском общественном сознании. С ним считались, его так или иначе использовали самые разные писатели XX века, обращавшиеся к николаевской эпохе, истории смерти Пушкина, лермонтовской биографии или жизни их современников. Неожиданное и не слишком легко формулируемое сходство, базирующееся на нескольких лейтмотивах (одиночество поэта, пошлость обывателей, жандармы, соглядатайство, узаконенный разврат, жестокость власти, болезненная память о минувшей эпохе — в III главе I части большаковского романа генерал Исленьев роняет в беседе с племянником, будущим жандармским офи-

цером, эмблематичную фразу: «Нет, из вашего поколения декабристам не выйти», сближает такие разнонаправленные по творческим установкам и несомненно художественно яркие, хоть и неравноценные произведения, как «Штосс в жизнь» (1928) Б. А. Пильняка и «Смерть Вазир-Мухтара» (1927) Ю. Н. Тынянова, «Последние дни (Пушкин)» (1935) М. А. Булгакова и «Стихи к Пушкину» («Поэт и царь», 1931) М. И. Цветаевой, «Разливы рек» (1953) К. Г. Паустовского и «Путешествие дилетантов» (1971—1977) Б. Ш. Окуджавы. Предъявляя строгие, подчас излишне, претензии к исторической фактуре этих повестей, романов, пьес, стихотворений, мы ценим силу прорыва писателя сквозь флер привычного смыслового фона, к сожалению, подчинившего себе во многом автора «Бегства пленных...». Но, признав подчиненность Большакова анонимной традиции, мы должны все же разгадать и логику этого подчинения, и выходы из плена мнимой достоверности и общеизвестности, совершенные одаренным прозаиком.

Подчинение стереотипу — уже в названии романа, во всяком случае — во второй его части. Дело даже не в том, что страдания и гибель заранее предречены герою (так сообщение о смерти Печорина в предисловии к его журналу ложится густой и мрачной тенью на события «Тамани», «Княжны Мери» и «Фаталиста»): само сочетание имени Лермонтова и незначительного военного чина звучит для читателя оксюмороном, словно бы отсылает к известной сентенции о «гении, прикованном к чиновничьему столу». Этот эффект (ни в коей мере не соответствующий действительности) не случаен: в самом начале романа будущий антагонист поэта — Самсонов — оскорбляется, увидев в высочайшем приказе о прошедшем летнем сборе гвардии «неславную и малозначительную» фамилию Лермонтова. Разумеется, реальный гвардейский офицер не удивился и не оскорбился бы, читая императорский приказ, ибо понимал, что попадали в него, по представлениям полковых командиров, офицеры вне зависимости от их родовитости. Но негативный двойник Лермонтова, будущий жандарм и обманутый муж любовницы государя и Лермонтова, палач и пленник, низкий раб николаевского времени мало похож на реального гвардейца. Он играет роль, выдуманную Большаковым, и попутно дает понять читателю: в обществе царит иерархия, корнет (пока еще даже не поручик) — это мелкая сошка, на которую смотрят с презрением, до поэзии светско-жандармской посредственности, воплощенной в Самсонове, дела нет, Лермонтова он знать не знает.

А кто знал,— спросим мы,— Лермонтова в июле 1835 года? Кто, кроме близких родственников и малочисленных друзей,

ведал о таком поэте? Разве соученики по юнкерской школе — да и те больше по стихам, до сих пор неудобным для печати?

Роман Большакова чуждается подобных вопросов. В VII главе о Лермонтове-поэте говорят представители высшей аристократии, восхищающиеся поэмой «Хаджи Абрек» (в тексте романа «Гаджи Абрек»). Далее, когда на сцену выступит незадачливый литератор Виктор Петрович Бурнашев (в тексте неизменно именуемый Владимиром), мотив восхищения этой поэмой зазвучит форсированно — именно «Хаджи Абрек» окажется лермонтовским патентом на вакансию первого поэта, заставит видеть в нем наследника Пушкина. Достаточно осведомленный в литературных делах, постоянный посетитель «четвергов» Н. И. Греча, Бурнашев, разумеется, был далек от такого рода мыслей как в 1835, так и в начале 1837 г. На фоне феерического успеха В. Г. Бенедиктова (его первая книга вышла в свет в 1835 г.), громкой славы Н. В. Кукольника или А. В. Тимофеева лермонтовский «Хаджи Абрек» прошел незамеченным. Значение эта достаточно несовершенная поэма стала обретать по мере роста славы Лермонтова, и в 1872 г. Бурнашеву вольно было восхищаться ею в своих беллетризированных мемуарах, которым рабски следует Большаков [1]. (Заметим, что публикация в августовском номере «Библиотеки для чтения» лермонтовской поэмы не могла быть известна Самсоному в июле, а знакомство титулованной аристократии с журналом Сенковского, по меньшей мере, сомнительно.)

Накладки, связанные с «Хаджи Абреком», вовсе не плоды невнимательности (Большаков был честен в работе с «материалом» — воспоминаниями Бурнашева в I части и С. И. Магденко — в части III, он их пересказывал очень близко к тексту и не подвергая анализу), они работают на роднящий писателя и потенциального читателя стереотип: великий одинокий поэт, чье величие всем ясно, но поэта от одиночества не спасает.

Между тем как древние греки не знали про себя самого главного: что они — древние, так и лермонтовские современники вовсе себя лермонтовскими современниками не ощущали. До стихов на смерть Пушкина Лермонтов был попросту неизвестен (поэтому осведомленность тех же Долгоруких в «сушковской истории» сомнительна; вряд ли им было дело до того, что некий корнет скомпрометировал не самую блестящую

[1] Уже при первой публикации воспоминания Бурнашева были сопровождены редакционным примечанием о недостаточной их точности. См.: Русский архив, 1872, № 9. Стб. 1770; ср.: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников (далее: Воспоминания). М., 1989, с. 543. Тынянов, может быть, излишне резко назвал Бурнашева «известным вралем». См.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 303.

барышню [1]). Позднее, после публикаций в «Отечественных записках» в 1839—1840 гг. ситуация изменилась. Но для Большакова подобная динамика не существенна: его Лермонтов всегда велик и всегда одинаков. Поэтому встреча с Белинским в июле 1837 г. в Пятигорске на квартире Н. М. Сатина, аккуратно воссозданная по мемуарам последнего, приобретает символические черты. В реальности два человека разного воспитания и темперамента, толком ничего не знавшие друг о друге (Лермонтов не следил за журналами, в том числе и за «Телескопом», где печатался Белинский; Белинский в лучшем случае мог знать «Смерть поэта» и «Бородино», и еще неясно, как должен он был реагировать на эти стихи; позднейшие его оценки критерием здесь служить не могут), не поняли друг друга и по-человечески раздражились. У Большакова трагически разошлись великий поэт и великий критик, осознающие масштабы дарования собеседника (во всяком случае о Лермонтове говорится: «Он даже волновался перед этой встречей».). Литературное одиночество Лермонтова подчеркнуто не только «опущением» насыщеннейшего петербургского периода (1839 — начало 1840 гг.), не только резким упрощением описания контактов Лермонтова с кругом Карамзиных и полным исчезновением из авторского поля зрения «Отечественных записок» или общения поэта с московскими литераторами в мае 1840 г., но и принципиальной сценой — ночной беседой с К. К. Данзасом.

Заставив Лермонтова продекламировать в 1840 г. заметку, написанную за десять лет до этого («Наша литература так бедна, что я из нее ничего не могу заимствовать; в 15 лет ум не так быстро принимает впечатления, как в детстве...» — Большаков предусмотрительно написал «в двадцать шесть лет»), автор далее пытается воссоздать отношение героя к литераторам-современникам. При этом смешиваются сведения более или менее достоверные (Лермонтова действительно раздражила предпринятая Жуковским публикация «Тамбовской казначейши» с цензурными изъятиями), полудостоверные (похвалы Булгарина «Герою нашего времени» кое-кто связывал со взяткой, якобы полученной им от бабушки автора; впрочем, у Булгарина были основания хвалить роман [2], а Лер-

---

[1] О «сушковской истории» см.: Глассе А. Лермонтов и Е. А. Сушкова.— М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., 1979, с. 80—121.

[2] Об отношениях Лермонтова и Булгарина (в частности, о высокой оценке последним «Героя нашего времени») см. статью: Вацуро В. Э. Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 81—82.

монтов хорошо знал, что роман его интересен не только Булгарину), недостоверные вовсе (у нас нет никаких сведений о том, что известная встреча Белинского с Лермонтовым в Ордонансгаузе в апреле 1840 г. вызвала какое-либо неприятие у поэта; во время этой беседы не Белинский объяснял Лермонтову, как должно понимать Купера, но Лермонтов восхищенно, к радости Белинского, говорил об американском романисте [1]) и вовсе абсурдные (Гоголь, с которым Лермонтов встретился на его именинном обеде в доме М. П. Погодина в Москве 9 мая 1840 г.[2], мог, конечно, недостаточно высоко оценить читанного там «Мцыри» — хотя ведомо это, кажется, только одному Большакову,— но он никак не мог произнести там своего суждения о напечатанной только после смерти Лермонтова в 1842 г. «Сказке для детей»; высочайшая оценка этой поэмы была дана лишь в статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» (1846).

Очень существенно, что монолог этот адресован К. К. Данзасу, существенна и экстраординарность ночного визита Лермонтова к нему с предшествующей скачкой из Кисловодска в Пятигорск (ср. аналогичный — неудачно завершившийся эпизод в «Княжне Мери»; там лошадь пала за 5 верст до Ессентуков), и то, что Данзасу Лермонтов рассказывает о своей любви к Гоммер де Гелль. Лермонтов вовсе не был близок к своему батальонному командиру по Тенгинскому полку — более того, почти не общался с ним, так как был откомандирован в отряд А. В. Галафеева. Не слишком подходит Константин Карлович и для интимных излияний. Большакову же он нужен потому, что, говоря с Данзасом, Лермонтов словно бы получает возможность контакта с единственным достойным его собеседником — Пушкиным. Реальный Данзас не был особен-

---

[1] Об этом Белинский сообщал в письме В. П. Боткину от 16—21 апреля 1840 г.; см.: Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9. М., 1982, с. 364 — и рассказывал И. И. Панаеву; см.: Воспоминания, с. 309. С интересом к Куперу Белинский позднее связывал, основываясь на беседе в Ордонансгаузе, замысел лермонтовского романа «из трех эпох жизни русского общества». Подробнее см.: Лермонтовская энициклопедия, с. 236—237.

[2] Сведения об этой встрече оставлены в мемуарах С. Т. Аксакова, дневниках Ю. Ф. Самарина и А. И. Тургенева; см.: Воспоминания, с. 317, 382, 580—581. Отметим, что Лермонтов никак не мог говорить о Гоголе, дебютировавшем еще в 1831 г. и общепризнанном литературном лидере с оттенком иронического превосходства («великий Гоголь, как его теперь уже пробуют называть друзья»). Гоголя никто не называл в ту пору великим, но положение авторитетнейшего (и старшего по отношению к Лермонтову, а вовсе не идущего ему на смену) писателя у него было.

но близок Пушкину и, видимо, поэтому и стал его секундантом (Пушкину на последней его дуэли был нужен в качестве секунданта человек абсолютно порядочный, надежный — порукой тому было «лицейское братство» — и не слишком хорошо осведомленный в обстоятельствах преддуэльной истории), однако в сознании среднего читателя Данзас — секундант Пушкина вполне может превращаться в хранителя пушкинского духа, чем и объясняется значимость его беседы с Лермонтовым. Аналогичную роль играет диалог Лермонтова с Натальей Николаевной, восходящий к не слишком достоверным воспоминаниям ее дочери — А. П. Араповой [1] и расцвеченный, как и в эпизоде с Данзасом, сюжетом о любви к Гоммер де Гелль и жалобами на одиночество. Вновь исповедь Лермонтова обращена к Пушкину, и, видимо, не случайно вмонтированы в нее слова, звучащие как цитата («Что делать в России с талантом, скажите? Мучиться...» [2]). Пушкин и Лермонтов одинаково одиноки в мире жандармов, пошляков, супружеской неверности, всеобщих подмен — в николаевской России.

Эта тождественность подчеркнута Большаковым несколько раз: семейная драма Пушкина заставляет Лермонтова вспомнить о своем «Маскараде» [3], мертвый Пушкин так же окружен жандармами, как и живой Лермонтов (никакой слежки за Лермонтовым в 1836 г., разумеется, не было, а фигура Нигорина — шулера, шпиона и провокатора — не самое счастливое изобретение Большакова), наконец, трагедиям Пушкина и Лермонтова одинаково аккомпанирует пошлость. Пошло выглядит интерес Бурнашева к смерти поэта и стихам Лермонтова, само распространение стихов проходит словно бы в атмосфере суеты и нечистоплотности, пошлы восклицания Н. И. Греча на похоронах сына, его жалобы на неявившегося «аристократа» Пушкина.

Последний эпизод стоит более пристального внимания: дело в том, что здесь Большаков пошел на небольшой, но очень значимый хронологический подлог. Николая Николаевича Греча хоронили не 27 января, в день пушкинской дуэли, а 28, когда Пушкин уже находился на смертном одре. Греч, разумеется, знал о том, что случилось с Пушкиным, знал

[1] См.: Воспоминания, с. 343—345.

[2] Ср.: «...черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!» Письмо Пушкина Наталье Николаевне от 18 мая 1836 г.

[3] Это сопоставление, проведенное несколько тоньше, но и с гораздо более смелыми выводами, возникает в одной из новейших книг о Лермонтове. См.: Марченко А. М. С подорожной по казенной надобности. Лермонтов. Роман в документах и письмах. М., 1984, с. 205—215. Ср. мои возражения на концепцию А. М. Марченко: Литературное обозрение. 1986, № 4.

хотя бы от бывшего на похоронах А. И. Тургенева, из записки В. А. Жуковского да и мало ли еще от кого. Вероятно, дошло до него и пушкинское слово сочувствия, о котором мы знаем из записки доктора И. Т. Спасского [1]. Так что в мелодраматических эффектах отец, удрученный кончиной юного сына, никак не повинен. Но без сетований Греча контраст поэта и черни был бы не столь выразителен.

Развивая легенду об одиноком Поэте, Большаков следовал традиции, заданной еще в романтическую эпоху и утвержденной «Смертью поэта». В реквиеме по Пушкину Лермонтов отождествил умершего поэта, его героя — Ленского («...Как тот певец, неведомый, но милый,//Добыча ревности глухой,//Воспетый им с такою чудной силой...»), поэтов времен минувших (появление значимой цитаты из стихов Жуковского, оплакавшего горькую участь Озерова [2]) — он писал о вечном поединке поэта и черни, в котором собирался заменить Пушкина. В XX веке легенда об одиноком Поэте успела не только стать штампом, но и возродиться. Именно контраст поэта и толпы оказался той частью классического наследия, которую футуристы не спешили бросать с «парохода современности». В манифесте 1916 г. «Труба марсиан» Велимир Хлебников писал: «Якобы *ваше* знамя — Пушкин и Лермонтов — были вами некогда прикончены как бешеные собаки за городом, в поле!» [3]

Кто же эти *«вы»*, затравившие Пушкина и Лермонтова? Для Большакова это не только чернь, но и власть — более того, понятия «чернь» и «власть» в его романе в сущности неразличимы. Заметим, что Большаков в этом не оригинален; подобное отождествление было едва ли не общим в русской культуре XX века и могло звучать очень по-разному: доста-

---

[1] См.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1974, с. 176; Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1980 год. Л., 1984, с. 74—77; Анненков П. В. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. М., 1985, с. 449 (факсимильное переиздание книги 1855 г.); Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. М., 1987, с. 159, 176, 247, 248.

[2] Речь идет о послании Жуковского к Вяземскому и В. Л. Пушкину (1815): «Пусть Дружба нежными перстами//Из лавров сей венец свила — //В них зависть терния вплела;//И торжествует: растерзали//Их иглы славное чело...» См.: Тынянов Ю. Н. Литературный источник «Смерти поэта».— Вопросы литературы, 1964, № 10.

[3] См.: Хлебников В. Творения. М., 1986, с. 603. Эти слова цитировались в статье «Арзрум» (1917) другого футуриста — Н. Н. Асеева. Статья вошла в его книгу; см.: Асеев Н. Дневник поэта. Л., 1929, с. 5.

точно сравнить высоко исповедальную тональность блоковской речи «О назначении поэта» и типовую кинопродукцию на исторические темы конца 1920 — 30-х гг. (вроде фильма «Поэт и царь»). К сожалению, Большаков был здесь ближе к обличительному стандарту, чем к мечте о «тайной свободе», звучавшей, например, в пушкинских штудиях Анны Ахматовой.

Многоликое зло, равно давящее поэта Лермонтова, солдата, затем генеральского дворецкого, затем вора и каторжника и, наконец, контрабандиста Батурина, гвардейского солдата, затем разжалованного, а затем убийцу и каторжника Потапова и даже верного слугу режима офицера Самсонова,— не только растекается по всей России, не только оборачивается многочисленными жандармами, соглядатаями и трусливыми пошляками, но и концентрируется в фигурах Николая I и Бенкендорфа. Место реального — очень непростого — расклада политических сил занимает однозначная картина: император и шеф жандармов способны только ненавидеть декабристов (отсюда значимая ретроспекция — воспоминания Николая о дне восшествия на престол), Пушкина и Лермонтова.

После смерти Пушкина шеф жандармов выговаривает своему адъютанту Самсонову за появление известного некролога в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду». Монолог, произносимый в романе Бенкендорфом, известен, пожалуй, не меньше, чем сам некролог,— вся беда только, что в реальности этот выговор делал попечитель Петербургского учебного округа кн. М. А. Дондуков-Корсаков редактору «Прибавлений...» Краевскому по поручению министра народного просвещения гр. С. С. Уварова [1]. Большаков не мог «ошибиться» — цитата из статьи Ефремова приведена в важнейшем для любого лермонтоведа своде источников — монографии П. А. Висковатого [2]. И все же он смело превратил одного министра в другого — за словом «Бенкендорф» маячили понятные читательские ассоциации, за словом «Уваров» была пустота, так символ подавлял историю.

Точно так же логика легенды превалировала в описании отношений Николая I к Лермонтову: осенью 1840 г. поэт не мог чувствовать зловещего давления власти, из Петербурга он

---

[1] См.: Ефремов П. А. Александр Сергеевич Пушкин.— Русская старина, 1880, № 7, с. 537; ср. также запись в дневнике А. В. Никитенко от 31 января 1837 г.: Никитенко А. В. Дневник. В 3-х томах, т. 1. Л., 1955, с. 195. Подробный анализ вражды Уварова с Пушкиным см.: Гордин Я. Право на поединок. Роман в документах и рассуждениях. Л., 1989.

[2] Висковатый П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Сочинения М. Ю. Лермонтова (т. 6) М., 1891, с. 238—239.

отбыл в апреле 1841 г. потому, что срок его отпуска истек (кстати, получение этого отпуска, равно как и чина поручика, были отнюдь не знаками неблаговоления), государь распорядился о скорой отправке Лермонтова в полк не потому, что ненавидел поэта, а потому, что по-солдафонски обожал порядок. С этим же связано и вычеркивание имени Лермонтова из наградных списков — кавказское начальство посмело представлять к награде человека, служившего не на том месте, куда его определил государь — такой вольницы император-солдат вынести не мог. Что же до известного указания «дабы поручик Лермантов непременно состоял налицо во фронте»[1], то оно было передано дежурным генералом Главного штаба П. А. Клейнмихелем командиру Отдельного Кавказского корпуса Е. А. Головину лишь 30 июня 1841 г. и в силу вступить не успело из-за смерти Лермонтова. Кроме того, следует учитывать, что Николай I вовсе не считал службу на линии, где действовал Тенгинский полк, недостойной или не заслуживающей поощрений[2] и что Лермонтов, как следует из его февральского 1841 г. письма Д. С. Бибикову, полагал, что он сможет легко заслужить отставку. Суммируя сказанное, можно понять, что отношение Николая I к Лермонтову, будучи достаточно прохладным (а что можно требовать от человека бесконечно самоуверенного, крайне подозрительно относящегося к вольностям любого рода и лишенного вкуса к поэзии?) все же не сводилось к физиологической ненависти.

Впрочем, «физиологичны» все поступки большаковского Николая — в этом писатель следовал за традицией, рожденной многочисленными слухами о донжуанских похождениях императора, поддержанной памфлетами молодого Добролюбова и окончательно закрепленной гениальным «Хаджи-Муратом» Льва Толстого. Амурно-имперская линия «Бегства пленных...» (куда более яркое решение тема эта получает в рассказе Ю. Н. Тынянова «Малолетний Ветушишников») имеет, однако, любопытную особенность. Отражением разврата государя становится общественное падение нравов, захватывающее даже Лермонтова (бывшая любовница Николая, удаленная им на Кавказ, становится — или все же не становится? — любовницей Лермонтова). Утратив Вареньку Лопухину (совершенно непонятно, почему известие о ее замужестве, состоявшемся 25 мая 1835 г., поэт в романе, вопреки общеизвестным фактам, получает лишь осенью; то есть — понятно — Большакову нужна «взрывная», «роковая» сцена),

[1] Цит. по: Лермонтов М. Ю. Соч. в 6-ти томах, т. 6. М.— Л., 1957, с. 870.
[2] Марченко А. М. Указ. соч., с. 293 и сл.

Лермонтов вынужден метаться между демонически-двусмысленной Дашенькой (любовницей каторжника Батурина и шулера-осведомителя Нигорина), государыниной пассией Надеждой Самсоновой, Натальей Николаевной, к которой, естественно, испытываются лишь платонические чувства, и, наконец, таинственной Гоммер де Гелль. Прежде чем обратиться к этой очаровательной даме, заметим, как форсированно проводит Большаков мотив всеобщей повязанности через женщин. Палачи и жертвы соединены одними и теми же возлюбленными: вывихнутые страсти держат в плену не хуже, чем мрачная полицейская государственность, разврат оборачивается демонизмом, а демонизм развратом [1].

Гоммер де Гелль, таинственная чужестранка, манящая поэта в неведомую даль, по Большакову,— главная страсть Лермонтова. На этой страсти держится конструкция романа, ибо несостоявшийся побег Лермонтова — это отплытие с чудесной француженкой к бунтующим горцам. Даже убрав главу о поездке Лермонтова в Крым (а значит, и о брезжущем побеге), Большаков не изменил (но лишь затемнил для читателя) эту конструкцию. Признав очевидное — история встреч поэта с французской путешественницей была мистификацией П. П. Вяземского, разоблаченной Н. О. Лернером, а затем П. С. Поповым [2],— Большаков все же оставил эпизоды кавказских встреч (не менее фантастичные, чем крымские), а главное — монологи об идеальной женщине, обращаемые Лермонтовым к Данзасу и вдове Пушкина. Роковая француженка, увы, разоблаченная, хотя Большаков предпочтет увидеть ее отрицательные черты, придуманные тем же Вяземским, а не абсолютную мифичность (истинная путешественница не была ни шпионкой, ни развратницей, ни музой Лермонтова), нужна писателю для того, чтобы воплотилась, приняла обличье лермонтовская мечта о бегстве из России и, воплотившись, оказалась бы недостижимой. Загадочная француженка в романе противопоставлена всем русским женщинам, способным увлекаться жандармами, шулерами или императорами,— госпожа Гоммер де Гелль любит только поэтов — Лермонтова и Мюссе, она, не зная по-русски, единственная доподлинно ценит великого поэта Лермонтова.

---

[1] Здесь Большаков точно уловил двусмысленную атмосферу 1830-х гг., с входящим в моду «низовым» романтизмом.

[2] См.: Попов П. С. Мистификация (Лермонтов и Омэр де Гелль).— Новый мир, 1935, № 3; подробнее о мистификации Вяземского и ее роли в «лермонтовской» беллетристике конца 1920-х — начала 1930-х гг. см. в моей статье в книге: Вяземский П. П. Письма и записки Оммер де Гелль. М., 1990.

Но Лермонтов не способен последовать за своей мечтой — слишком много привязывает его к этой проклинаемой им — и еще энергичней автором романа — стране [1]. Слишком во многом он сын своего времени. Общественное зло вошло в душу гения и заставило его не только томиться, но и совершать странные поступки, способные шокировать не одних благонамеренных ханжей. Подобного рода наивно-социологические мотивы сочетаются у Большакова с романтическим по происхождению (и футуристическим, если смотреть на ближнее литературное родство) культом вседозволенности гения. В романе немало сцен, которые поборники идеализированного изображения национальных классиков могли бы назвать кощунственными. Вот Лермонтов, только что узнавший о смерти Пушкина и произнесший страстный монолог-конспект «Смерти поэта», вдруг заговаривает о новейшем парижском изобретении, страхующем от венерических болезней. Вот Лермонтов, поддавшийся на жандармские провокации, головой выдает своего друга Святослава Раевского и тут же сочиняет гениально чистую «Молитву» [2]. Вот Лермонтов раскрывает, читает и уничтожает письма родных к Мартынову, а до того едва ли не глумится над его сестрой [3]. Вот Лермонтов повествует о

[1] Сейчас, когда культивируется наивная и агрессивная легенда о Лермонтове — ура-патриоте, а принадлежность поэту стихотворения «Прощай, немытая Россия» оспаривается представителями самых разных профессий (от актера Н. Бурляева до математика и общественного деятеля И. Шафаревича), противоположный миф вызывает не меньшее раздражение. К счастью, мы не лишены возможности читать самого Лермонтова, видеть, что им написаны и «Родина», и «Прощай, немытая Россия», понимать, что реальный облик великого поэта неимоверно далек от идеологических абстракций, вымышляются ли они в 1920—30-е или 1980—1990-е годы.

[2] На самом деле и покаянное письмо Раевскому, в котором Лермонтов явно брал лишний грех на душу, было написано после выхода с гауптвахты, и причина сурового наказания, постигшего Раевского, была связана не с Лермонтовым, а со служебными конфликтами его друга (см.: Воспоминания, с. 503), и «Молитва» скорее всего была сочинена несколько позже, впрочем, передатировка этого стихотворения была сделана уже после смерти Большакова — так что здесь он «виноват без вины». И вся обстановка следствия по делу «Смерти поэта» не была столь кошмарной, как в большаковском описании. Здесь сработал тот аллюзионный принцип, о котором подробно рассказано в предисловии Н. А. Богомолова. Сколь ни неприятным человеком был граф А. Х. Бенкендорф, но подсовывать подследственному версию дискредитации «сообщника» он — российский дворянин и боевой генерал — не мог. Этим занимались другие люди и в другое время.

[3] Здесь Большаков тоже, строго говоря, не виноват. Слухи об этой истории были приняты большинством лермонтоведов за чистую монету, а филигранно точное исследование Э. Г. Герштейн еще написано не было (см.: Герштейн Эмма. Лермонтов и семейство Мартыновых.— Литературное наследство, т. 45-46. М., 1948. М. Ю. Лермон-

зловещей шутке, сыгранной с Надеждой Самсоновой и рядом с ней особенно «по-декадентски» звучит пересказ наброска «Я в Тифлисе...» (1837), и без того жутковатого. Вот, наконец, Лермонтов дразнит Мартынова, ненавидя его за то, что сам прежде совершил бестактность. Все эти поступки не слишком мотивированы — они странны, почти судорожны, но, припомнив роман, видишь, что сходно ведут себя и другие герои. Ни с того ни с сего обворовывает благодетеля-барина Батурин, беспричинно бунтует Потапов, и уж вовсе неожиданным оказывается совершенное им убийство, беззаконной кометой проносится по роману многоименная Дашенька (Долли, Дарья Антоновна), странные чувства обуревают законопослушного Самсонова... Людей дергает, они лишены естественной и достойной грации,— окаменение солдатской (арестантской, придворной) шеренги или бешеный пароксизм — вот состояния, доступные героям Большакова.

Ошибаясь [1], а подчас и передергивая факты, упрощая и психологию, и историю, предпочитая символику конкретике, Большаков все же почувствовал нервный стиль лермонтовской эпохи, эпохи, в которую ломалась в очередной раз судьба российской культуры, эпохи, в словесности которой закономерно актуализовались мотивы безумной карточной игры, всеобщего маскарада, оживающих статуй, манекенов, мертвецов и — заживо превращающихся в статуи, манекены и мертвецов людей. Надвигающиеся 30-е гг. стального XX века сделали тридцатые годы миновавшего столетия близкими, а потому пугающими и одновременно привлекательными. Отсюда проницательность в характеристике эпохи у, казалось бы, равнодушного ко всему, кроме заранее ясной схемы Большакова. Отсюда его схождения с литераторами, обладающими очень острым чувством истории.

Еще в 1921 г. в сугубо теоретической работе «Мелодика русского лирического стиха» Б. М. Эйхенбаум писал, «позволяя себе роскошь критического импрессионизма»: «Он (Лермонтов.— *А. Н.*) лихорадочно бросается от одних форм и жанров к другим, делая опыты сразу и в лирике, и в поэме, и в драме (в стихах и в прозе), и в повести. И он всегда недоволен,

---

тов, II, с. 691—706). И все же показательно, что в конце 1920-х гг. Большаков предпочитал верить сплетне, а Э. Г. Герштейн в конце 1930-х ей поверить не могла (45-46 т. «Литературного наследства» не вышел в свет вовремя из-за начавшейся войны; на последней странице предшествующего 43-44 тома приведено оглавление будущего издания и указано, что оно находится в производстве).

[1] Оговорим еще одну невольную неточность Большакова: письмо поэта к бабушке (II главка II части) ныне датируется не 1840, а 1841 г.

он всегда возвращается к прежним опытам, начиная заново, вставляя старые куски и придумывая новые положения для своих героев 〈...〉 Он напрягает русский язык и русский стих, стараясь придать ему новое обличье, сделать его острым и страстным. Он учится у Шиллера, у Байрона, у Гюго — вводит новые рифмы, новые образы, которые тут же каменеют и давят его самого. Трагичны его усилия разгорячить кровь русской поэзии, вывести ее из состояния пушкинского равновесия — природа сопротивляется ему, и тело превращается в мрамор 〈...〉

Так под руками Лермонтова русская поэзия, с одной стороны, каменеет и, в своей преувеличенной напряженности имеет вид жуткого паноптикума, с другой — превращается в группы бледных теней, черты которых напоминают что-то из прошлой, некогда бившейся в ней жизни. Это не оценка лермонтовского таланта, а толкование его исторической судьбы, его роковой миссии» [1]. Сходные мотивы появились и в опубликованных в 1924 г. статье «Поэзия Федора Сологуба» и монографии «Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки». Комментатор новейшего издания работ Эйхенбаума Е. А. Тоддес проницательно связал эти суждения с появившимся позднее прологом к «Смерти Вазир-Мухтара» [2] — книге, как представляется, повлиявшей на «Бегство пленных...».

Поэзия, политика, психология — составляющие единого историко-культурного феномена (1830-е годы, «николаевская» эпоха) — оказывались подчиненными одним законам. Психологический роман о Лермонтове напоминал (иногда карикатурно) статьи о лермонтовской поэзии и роман о смерти Грибоедова. Решительно уступая «Смерти Вазир-Мухтара», роман Большакова куда больше говорил о своей эпохе, чем о лермонтовской, но ведь и о лермонтовской что-то говорил...

Научное издание «Бегства пленных...» потребовало бы постраничного комментария, резко превышающего объем этого послесловия. Большаков строил свой роман как коллаж материалов разной степени достоверности (подобный коллаж вообще был в духе эпохи; достаточно назвать такие громкие издания, как «Пушкин в жизни» В. В. Вересаева или «Книга о Лермонтове» П. Е. Щеголева). Остается надеяться, что читатель сумеет расслышать цитаты из писем Лермонтова и его сочинений («Княгиня Лиговская», «Маскарад», «Герой нашего времени» и др.), мемуаров и документов, а опознав «чужой»

---

[1] Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л., 1969, с. 409—410. Все подчеркивания сделаны мной.

[2] Эйхенбаум Б. М. О литературе. Работы разных лет. М., 1987, с. 373, 225 и 474 (комментарий).

текст, воздержится и от хулы, и от радости. К сожалению, документальность — не всегда порука достоверности, а о том, что достоверности в «Бегстве пленных...» искать не стоит, написано это послесловие. Но убедившись в «недостоверности» прочитанной книги, тоже не должно сетовать. Достоверность вовсе не цель романа, а тенденциозность свойственна не только художественным произведениям, но и литературоведческим работам. Миф о Лермонтове, созданный Большаковым, не может заменить ни строго научной биографии поэта, ни — тем более — стихов и прозы Лермонтова. Но вовлечь читателя в лермонтовскую орбиту, заставить его перечитать Лермонтова и задуматься над его непростой судьбой книга с прихотливым названием вполне может. А это совсем не мало.

А. Немзер

СОДЕРЖАНИЕ

Мой год

Каких-то соответствий

Город в лете

Тень от зарева

Большаков К. А.

Б79 Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова: Роман; Стихотворения/Вступ. ст., подгот. текста Н. Богомолова; Послесл. А. Немзера.— М.: Худож. лит., 1991.— 334 с. (Забытая книга)
ISBN 5-280-01585-7

Имя К. А. Большакова (1891—1938) принадлежит к числу тех «забытых» писателей, которые сейчас возвращаются к читателю. В молодости он был поэтом и принадлежал к кругу Маяковского и Пастернака, который высоко ценил его стихи. В 1920-е годы он выпустил несколько прозаических книг, одна из лучших — роман о Лермонтове «Бегство пленных...». Этот роман принадлежит к жанру книг, которые пишет поэт о поэте, и именно поэтому она и сейчас представляет интерес для современного читателя.

Б $\frac{4702010206\text{-}031}{028(01)\text{-}91}$ 10-91

ББК 84Р7



КОНСТАНТИН АРИСТАРХОВИЧ БОЛЬШАКОВ

**БЕГСТВО ПЛЕННЫХ,
ИЛИ ИСТОРИЯ СТРАДАНИЙ И ГИБЕЛИ
ПОРУЧИКА ТЕНГИНСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА
МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА**

Роман

СТИХОТВОРЕНИЯ

Редакторы *Ю. Розенблюм, О. Ларкина*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технические редакторы
Г. Такташова, Н. Кошелева

Корректоры
Б. Тумян, Т. Филиппова

ИБ № 6270

Сдано в набор 23.04.90. Подписано в печать 29.12.90. Формат 84×108[1]/32. Бумага типогр. № 2. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 18,06. Уч.-изд. л. 18,25. Тираж 75 000 экз. Изд. № I-3919. Заказ 901. Цена 4 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Диапозитивы изготовлены в Можайском полиграфкомбинате В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93. Отпечатано в Ленинградской типографии № 2 головном предприятии ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Государственного комитета СССР по печати. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.


4 р. 50 к.